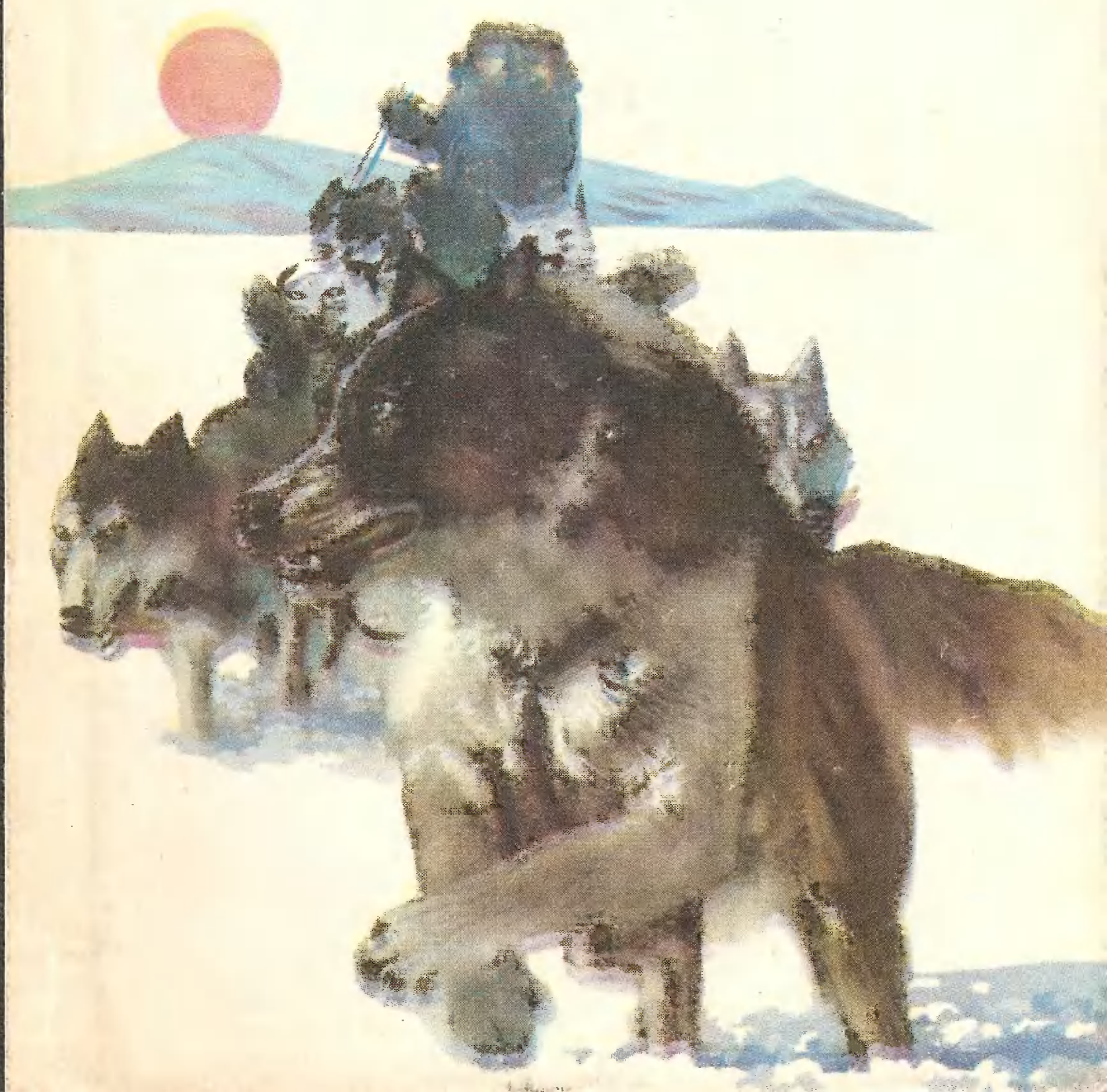




БОРИС ВОРОБЬЕВ

ДЕСЯТЬ БАЛЛОВ ПО БОФОРТУ



Scan Kreyder - 06.04.2016
STERLITAMAK

БОРИС ВОРОБЬЕВ

**ДЕСЯТЬ БАЛЛОВ
ПО БОФОРТУ**

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1979

№2
В75

В $\frac{70302-209}{078(02)-79} 246-79.$

© Издательство «Молодая гвардия» 1979 г.



**ПРИБОЙ
У КОТОМАРИ**

ПРОЛОГ

Девять человек.

Шестеро — в кубрике, где нельзя по-настоящему разогнуться, двое — в машинном отделении за переборкой, девятый — в рубке наверху.

Но трое последних недолго останутся с нами. Они лишь высадут шестерых на темный и мокрый берег и уведут судно обратно.

Это случится позднее; пока же эти трое заняты своими делами и своими мыслями.

И тот, что находится в рубке, и двое других, в машине, думают сразу о многих вещах:

о течении, которое все время сносит судно с курса;
о минах в черной воде;

о приливе, который независимо от твоего желания начнется ровно через три часа и к которому нужно успеть, потому что только с ним и возможно подойти к берегу;

о пушках и пулеметах на берегу, которые при малейшей оплошности разнесут судно в щепки.

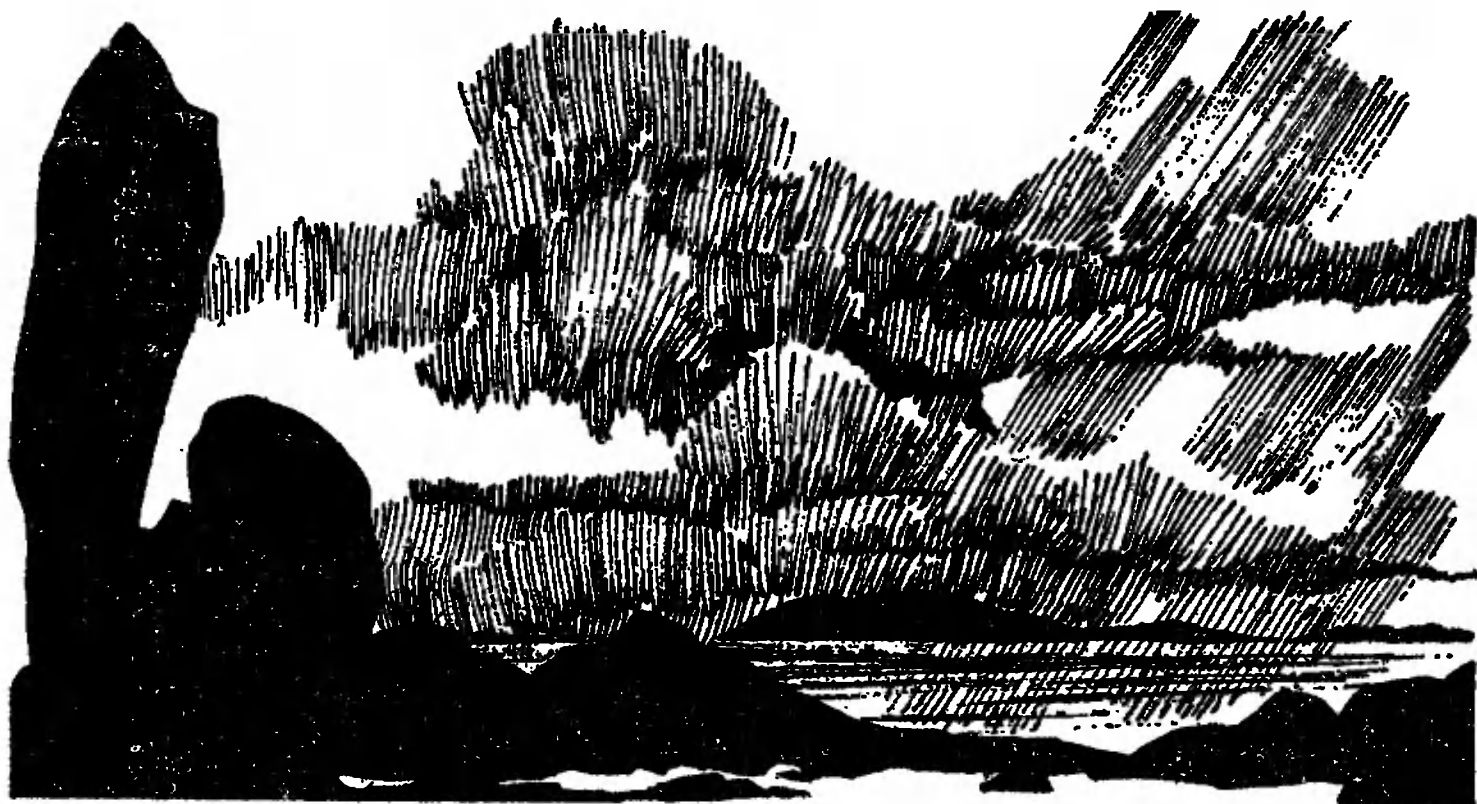
Мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе этих троих. Может быть, один из тысячи взрывов, прокатившихся в ту ночь над Великим океаном, был взрывом под днищем их судна; может быть, им удалось возвратиться домой.

Теперь о шестерых.

Они молоды и полны сил. Старшему из них тридцать, младшему — двадцать три. Шесть мужчин: старший лейтенант Сергей Баландин, главный старшина Влас Шергин, старшина первой статьи Федор Калинушкин, сержант Владимир Одинцов, старший матрос Иван Рында, матрос Мунко Лапцуй.

Запомним их, ибо они окончили свой путь. И ни земля, ни море не сохранили их могил.

Мы расскажем о них все, что знаем.



1

— В кубрике!

Металлический голос прозвучал над самым ухом. Разморенный духотой, Баландин не сразу сообразил, что призыв обращен к ним. Чтобы осмыслить это, ему понадобилась целая секунда. Неразборчивое бормотанье в переговорной трубе свидетельствовало о том, что наверху недовольны затянувшейся паузой и готовятся повторить вызов. Баландин наклонился к раструбу.

— Есть в кубрике!

— Старшего в рубку!

Трап. Пять ступенек. Распахнутый прямоугольник двери был едва светлее душной внутренности кубрика.

Крутая зыбь накатывалась из темного пространства океана. Волны с шипением обтекали пузатое тело бота, пробивали клюзы, обдавая водяной пылью палубу и окна наглухо задраенной рубки. Вдохнув соленого влажного ветра, Баландин открыл дверь.

В рубке, освещенной лишь фосфоресцирующим светом приборов, горбился над штурвалом старшина бота.

Протяжно скрипели штуртросы.

Качка здесь ощущалась явственнее, чем внизу, и Баландину пришлось прислониться к стене.

Ничто не изматывает нервы так, как неизвестность. И ничто не тянется так убийственно долго, как ожидание. Самый сильный человек в таком положении рано или поздно начинает испытывать то состояние устало-

сти и внутреннего распада, когда не помогают ни курево, ни попытки отвлечься от тревожных мыслей, ни разговоры вслух с самим собой.

Уже несколько часов бот шел к невидимому в ночи берегу, и в рубке старшина в тысячный раз глядел на хронометр. Роковая медлительность стрелок могла свести с ума хоть кого. Поэтому каждый раз, глянув на хронометр, старшина стискивал зубы и, как от врага, отводил ненавидящий взгляд от медного, холодно светящегося круга.

Старшина устал. У него сводило руки и ноги, ныла натруженная поясница. Звенело в голове. Минуты слабости, когда хотелось нагнуться к переговорной трубе и вызвать помощника, наступали все чаще. Но старшина пересиливал себя. Повисая временами на штурвале, он упорно вел бот к той условной точке в океане, координаты которой были известны только ему.

— Зыбь, — не оборачиваясь, проговорил старшина. — Хуже нет этой зыби.

Баландин молчал, вглядываясь из-за плеча старшины в черные рубочные окна. Он понимал старшину: его ответственность, его раздраженность и усталость, его одиночество в этой тесной и низкой рубке, где, советуясь только с самим собой, старшина принимает решения и сам выполняет их; его напряжение в единоборстве с ночным океаном, когда на сотни миль вокруг нет ни створных огней, ни заранее отмеченных фарватеров, когда каждый звук за бортом кажется подозрительным и вызывает стеснение в груди. Но Баландин также знал, что старшина позвал его сюда не для того, чтобы жаловаться на трудности, и ждал, когда тот наконец заговорит.

— Слышь, старлей? — старшина снял одну руку со штурвала и извлек откуда-то сложенную вчетверо карту. Поднес ее к сиявшему мертвенным светом нактоузу. — Смотри. В точку мы не успеваем. Сносит, как котят. Но можно сделать финт ушами. Вот эту отметку видишь? Ноль целых хрен десятых? Камни. Перепрыгнуть мы их сейчас не перепрыгнем. Но, — старшина вернул на курс рыскнувший бот, — скоро пойдет вода, и тогда чем черт не шутит. Перескочим — наше дело в шляпе. Попробуем, старлей, а?

— А что, не успеваем — точно?

— Как в аптеке! Течение. И ветер в морду.

«Так, — подумал Баландин, — только этого не хватало: не успеваем! Это значит, что надо либо срочно возвращаться, либо решаться на предложение старшины. Впрочем, возвращение невозможно: они все равно не успеют убраться до рассвета, и их расстреляет любой корабль. Стало быть, придется рисковать. А велик ли риск? Велик. Если бот сядет на камни, утром их выловят из воды, как зайцев в половодье. Хотя... Сколько от камней до берега? Не больше двух миль. От силы — две с половиной. Добраться на шлюпке раз плюнуть. Но бот! Японцы вмиг учуют, откуда дует ветер, и поднимут трамтарарам. Тогда заказывай деревянные бушлаты. А если проскочим? И почему бы не проскочить, в конце концов! Боту нужно всего полметра под киль. Будет полметра. Приливы здесь большие, не то что на Балтике. Только бы старшина не подкачал. Не должен. Старморнач¹ за него как за себя ручался...»

— Когда будем у камней?

— Часа через два, — ответил старшина, понимая, что его предложение принято, и проникаясь симпатией к стоявшему рядом разведчику, за молчаливой внешностью которого угадывалось спокойствие видавшего виды человека. — Через два часа дошлепаем, старлей.

— Может, сменить? — предложил Баландин. — Отдохнешь пока.

— Спасибо, старлей. Только я штурвал, как и жепу, в чужие руки не отдаю. Не обижайся. Иди лучше сам покемарь, я в случае чего звякну.

Он отвернулся от Баландина и стал перекладывать штурвал, выводя нос бота на новый курс.

Баландин спустился в кубрик.

— Что там, командир? — это спрашивал Федор Калинушкин.

— Не успеваем. Пойдем напрямую.

— Прямо даже галки не летают, командир.

Баландин сел на старое место. Он понимал, что разведчики ждут от него более конкретных объяснений, и коротко пересказал им содержание разговора в рубке. Разведчики выслушали его молча. Со стороны могло показаться, что они не оценили серьезности положения, но

¹ Старморнач — старший морской начальник.

Баландин хорошо знал истинную причину такой сдержанности. Люди, чьи силуэты едва угадывались в темноте кубрика, столько раз за свою жизнь бывали в различных переделках, что уже давно приучились сдерживать эмоции. Но каждый из них — и это Баландин тоже знал — в глубине души сейчас по-своему переживал его слова.

Однако молчание длилось недолго. Из угла снова слышался хриловатый голос неугомонного Калинушкина, который пытался вызвать на разговор сидевшего рядом Лапцуя.

— Мунко, а почему ненцев самоедами звали?

— Дураки звали.

— Так уж и дураки?

Лапцуй не отзывается. Но от Калинушкина отделаться нелегко.

— А жен у тебя сколько было?

— Одна жена, сколько.

— Одна? — недоверчиво переспрашивает Калинушкин. — А ты любил свою жену, Мунко?

— Ну, любил.

— А бил тогда зачем? Помнишь, рассказывал? — в голосе Калинушкина слышится торжество человека, уличившего ближнего в смертном грехе.

— Надо было, и бил...

Против такого аргумента возразить нечего, и Калинушкин умолкает, погрузившись в философию чужой жизни.

«Отбери ребят поотчаянней, — вспомнились Баландину слова начальника разведки. — Чтоб не моргнув в огонь и в воду. Не к теще идешь — к черту на рога...»

Новый человек, начальник разведки, потому так и говорит. Отчаянных во взводе нет. На отчаянных воду возят. А у него североморцы. Матросы. Всю войну на Севере отгрохали, на скалах Мурмана. Немецких горных егерей вокруг пальца обводили. А уж те — дай бог каждому — вояки были... Пришлось попотеть, когда отбирал. Взвод — двадцать пять человек, ребята один к одному. И самолюбие у всех. Но отобрал. Асы высшей квалификации.

Баландин довольно улыбнулся, представив себе лица тех, кто вместе с ним томился сейчас в духоте и тесноте кубрика.

Ближе других к Баландину сидел главный старшина

Влас Шергин. Этот человек с лицом гладиатора занимал в душе старшего лейтенанта особое место. Больше того — они были друзьями. Четыре года назад, в самом начале войны, Шергин спас Баландина, когда тот, раненный, барахтался в воде рядом с торпедированным кораблем. С той поры ничто не разлучало их.

Родом из поморского села, Шергин из тридцати лет своей жизни почти двадцать провел на море. Он мог бы рассказать о многом. О том, как десяти лет от роду нанимался покрутчиком¹ к деревенским богатеям. Как ходил за тюленями на промысловой шхуне. Как тонул, смытый за борт штормовой волной. Как один зимовал на острове, питаясь водорослями и ракушками. Море калечило и мордовало его, но он не расставался с ним и любил, как однолюб любит женщину. На флот Шергина призвали перед войной. Отслужив два года на крейсере, он был переведен боцманом на «морской охотник», где Баландин был помощником командира.

Почти двухметровый, спокойный и уравновешенный, Шергин обладал мощью и подвижностью медведя. В разведотряде он сдружился с Калинушкиным. Они прекрасно дополняли друг друга, и достоинства каждого из них были лучшей гарантией против всяких неудач.

Под стать Шергину был и Калинушкин, закадычный друг боцмана и неременный соучастник во всех его делах. Баландин любил этого дерзкого, насмешливого и удачливого парня. Сын керченского биндюжника, Калинушкин унаследовал от отца его хватку, его удаль, размах и склонность к горлопанству, которым славятся представители этой отмирающей профессии и которое, кстати говоря, не имеет ничего общего с тем, что называется «подрать горло» или «почесать язык». Горлопанство биндюжников — это знак принадлежности к неспокойному и предприимчивому цеху людей, привыкших надеяться на себя, на свою находчивость во всех случаях жизни, умеющих показать товар лицом, не лезущих за словом в карман, а всегда держащих его, как и кнут, наготове. Это качество приобретенное — такое же, как угрюмость палача, общительность коробейника или словоохотливость комедианта. Но комедиантом или палачом, равно как и биндюжником, может стать не каждый, поэтому словоохотливость первого, угрюмость второго

¹ Покрутчик (поморск.) — батрак.

и горлопанство третьего так или иначе отражают свойства этих натур.

Такого же рода было и горлопанство Калинушкина. Он был трибуном по рождению, демагогом в лучшем значении этого слова, и страсти кипели в нем, словно смола в котлах для грешников. Изливалась эта смола частенько, однако ни врагов, ни недоброжелателей Федор не нажил. Искренность его слов и поступков не оставляли у людей места для низменных чувств. Флот Калинушкин любил самозабвенно и был одним из лучших дальномерщиков эскадры. Начальство ценило его, но «фитилями» не обходило, ибо часто обнаруживалось, что ленты бескозырки у Калинушкина намного длиннее уставных, что из самой бескозырки изъята пружина, и бескозырка напоминает скорее блин, чем форменный головной убор, что брюки у Федора шире допустимого. За все это полагалось наказание, и Федора наказывали. Но, увы, его пристрастия оставались незыблемыми: появляясь под розовыми свечами цветущих каштанов Петровского парка, он, как и прежде, шокировал патрулей и длиной лент на бескозырке, и шириной брюк.

На флоте, а затем в разведке Калинушкин был своего рода знаменитостью. Бессменный чемпион по боксу, он поражал всех феноменальной реакцией. Про него ходили легенды. Рассказывали, например, что он потехи ради ловил ртом летящих бабочек. Было это правдой или вымыслом — Баландин не знал, зато он не раз становился свидетелем того, как именно реакция выручала Калинушкина из самых отчаянных положений. Он всегда ухитрялся сделать необходимое на секунду раньше противника. Среди разведчиков не было равных Калинушкину по части добывания «языков». Как и Шергин, Калинушкин был одним из тех, с кем Баландин встретил войну и с кем не расставался все эти трудные и жестокие годы.

Впрочем, не уступал Калинушкину в популярности и Мунко Лапцуй, ненец из Ямальской тундры. Его присутствие в группе избавляло разведчиков от всяких случайностей и неожиданностей. Мунко был глаза и уши группы, ее недремлющей первобытной душой.

С неизменной трубочкой в зубах и ремненным арканом у пояса он появлялся и исчезал, как тень. Оленевод и охотник, он был сыном своего племени: мог сутками не есть, с терпеливостью стойка переносил холод

и жару, не знал усталости. Он жил, казалось, как и все люди, но на самом деле у него не было своей жизни. Дитя природы, он жил ее жизнью, как олень в тундре, рыба в озерах, птицы в небе. В его раскосых непроницаемых глазах покоилось равнодушие татарского владельца, а ленивая медлительность тела заставляла думать о медлительности мысли и души. То и другое было обманчивым. Глаза Мунко видели и подмечали все, а его сухое тело могло в любой момент сократиться с упругостью и стремительностью тетивы. Лишь один недостаток числился за ним: нарушая неписаный закон разведчиков, он ни за что на свете не соглашался расстаться с трубкой и курил ее, казалось, днем и ночью. Ни уговоры, ни угрозы начальства отчислить Мунко из разведки на него не действовали. В конце концов на немца махнули рукой, прикрывшись для видимости тем, что Мунко-де пользуется не спичками, а кресалом. Все понимали, что разница между ними небольшая, но даже у самых ярых гонителей не достало духу лишить разведзвод его знаменитого следопыта.

Четвертым в списке стоял Иван Рында, самый молодой и внушающий Баландину некоторые опасения. Нет, Баландин не сомневался в Рынде как в разведчике, иначе он не включил бы его в группу; его опасения были иного свойства. Баландина давно настораживали замкнутость Рынды и его неистовость в бою.

Тихий и ничем не выделяющийся в обычных условиях, он преображался в предвкушении любого риска, любого рейда в тыл, становился нетерпеливым и жестким. Его смелости и дерзости удивлялись даже старые разведчики. Баландин знал, что у этого белорусского парня была в жизни трагедия: на глазах Ивана немцы зверски убили его мать и сестру. Это и ожесточило Рынду, и он при каждом удобном случае пускался на такие рискованные дела, которые не могли быть оправданы ни обстановкой, ни человеческой логикой.

Баландин не сомневался, что Рында вызовется добровольцем. И не ошибся. Однако сначала не хотел зачислять его в группу. Но, взвесив все, переменил решение. Рында был первоклассным сапером и подрывником, и это обстоятельство перетянуло чашу весов на его сторону.

Как бы там ни было, а в предстоящей операции Рынде отводилась определенная роль, и Баландин

был уверен, что разведчик справится с ней великолепно.

Пятым был радист, и, думая о нем, Баландин вспомнил те события, которые предшествовали появлению этого человека в разведывае.

Все началось два дня назад.

— Садись, старший лейтенант, и вникай, — сказал начальник разведки, когда, поднятый среди ночи, Баландин прибыл в штаб. Он пододвинул ближе карту. — Обстановка, скажу я тебе, пиковая. Нехорошая обстановка. Сегодня получена шифровка: флот готовит десант на острова. Куда будет направлен первый удар, думаю, тебе понятно. Сюда. — Начальник разведки ткнул обкуренным пальцем в то место на карте, где красные стрелы, как клещи, обхватывали зелено-коричневое пятно. — Островок, чтоб его приподняло да шлепнуло! Змей Горыныч, а не островок. Как они его брать собираются — ума не приложу. Каждый метр пристрелян. Но это не наше с тобой дело. У нас, старлей, загвоздка похлестче. Видишь ли, десант может высадиться только в одном месте — на юге. Здесь подходящие глубины, и ДБ¹ подойдут прямо к берегу. Но именно здесь и торчит этот чирей!

— Какой чирей? — хмуро спросил Баландин. Он никак не мог согреться со сна, хотя ночь была теплая. Чтобы как-нибудь унять дрожь, он закурил огромную самокрутку.

— Танкер! Не слышал разве?

— Нет, — признался Баландин.

— Э-э, брат, ты счастливчик, на готовенькое прибыл. А я знаешь сколько порток здесь протер? Роту одеть можно было! И всю эту азиатчину насквозь знаю. Народ, я тебе скажу! Так слушай. Вот тут, милях в трех от берега, сидит на рифах наш танкер. Наш, понимаешь? История эта старая, довоенная и до конца не выясненная, но одно установлено точно: судно вылезло на камни не по своей вине. Японцы специально переставили навигационные знаки, что и привело к аварии. Ну команду, естественно, интернировали, а на танкере какая-то умная японская голова догадалась поставить пушки. Ничего номер, а? Батарея, вынесенная в море. Форт. И скажу тебе: он нам всю картину вот как портит!

¹ ДБ — десантные баржи.

Вникни: не сегодня-завтра корабли повезут десант, а тут этот дредноут как кость в горле.

— Задача, — сказал Баландин.

— Задача! Короче, нам приказано уничтожить пушки. Комфлота крепко надеется на нас.

— Задача, — повторил Баландин.

— Можно было бы использовать авиацию, и такие предложения были, но вся закавыка в том, что танкер находится в зоне действия береговых зенитных батарей. А их там понатыкано что поганок в лесу. Самолеты где взлетят, там и сядут. В общем, старлей, ты назначен командиром группы. Бери кого хочешь, но пушки уничтожь. Ясно? И еще. По сведениям, на острове базируются гидросамолеты. Не тебе объяснять, какую опасность они представляют для десанта. Надо разыскать их и... — Начальник разведки рубанул рукой воздух.

— А где они, эти самолеты?

— Точно не установлено. Но если покумекать, догадаться можно. На острове три озера. Вот, вот и вот. Два, как видишь, так себе, лужи, а третье перспективное. Большое, а самое главное — вытянуто как по заказу. Факт?! И немаловажный, если учесть, что для разбега гидросамолету нужно не меньше километра. А теперь прикинь и сделай выводы. Здесь они, субчики, больше деваться им некуда!

— Когда планируется выход?

— Завтра в ночь. Срок, конечно, жесткий, но больше нам не дают. Положение на фронте крайне напряженное. Наши войска в Хингане испытывают невероятные трудности. Нет воды. Технику приходится тащить на руках. Но армия продолжает наступление, и флот не вправе тормозить его. — Начальник разведки посмотрел на часы: — Сейчас три сорок, и мы дадим людям доспать, но не позже полудня состав группы должен быть определен. Врать не буду: операция, прямо скажем, смертельная, поэтому пойдут только добровольцы. Пять-шесть человек, включая тебя. Людей ты знаешь, тебе и карты в руки. Отбери ребят поотчаянней. Не беспокойся лишь о радисте. Радиста тебе дают из штаба.

— Я благодарю начальство за заботу, — сказал Баландин, — но радист имеется. Классный. Проверенный и перепроверенный. И заменять его я не собираюсь.

— Не горячись, старлей. Горячность в нашем деле хуже чесотки. Ты куда идешь? В тыл. К японцам идешь,

дурья твоя голова. А что ты знаешь по-японски, кроме «банзай»? Ничего не знаешь. И радист твой перепроверенный ничего не знает. Может, «языка» придется брать — что вы с ним делать будете? Кукарекать? А мы тебе спеца даем. Мало того, что ключом, как дятел, стучит, еще и японский знает. А насчет проверенный или непроверенный можешь не сомневаться. Плохого не дадим.

Возразить было нечего. Да и незачем. Все возражения разбивались об один-единственный аргумент: из разведчиков действительно никто не знал японского. Но эта простая мысль даже не пришла Баландину в голову. Действуя в силу инерции, он ни на миг не задумался о том, что перед ними новый противник. Не немцы.

— Ладно, — сказал начальник разведки, наблюдавший всю гамму владевших Баландиным чувств, — вижу: понял. Тогда давай дальше. Высаживать вас придется с мотобота. Лучше бы с подлодки, но в тех условиях это дохлое дело. У острова сплошные банки¹ и почти восьмиметровая высота приливной волны. В проливах, кроме того, сильнейшие глубинные течения. Прет, как в трубу. Ну и мин они, конечно, набросали кругом. Так что лучше мотобота ничего не придумаешь. Осадка у него как у корыта, пройдет хоть по мслководью, хоть по минным полям. Ход, правда, маловат, но, как говорится, тише едешь — дальше будешь. Старшина бота предупрежден. Он, кстати, толковый мужик, так что ты в случае чего прислушивайся. Вот такие пироги, старлей... Есть вопросы?

— Два. Связь и возвращение.

— Связь будешь поддерживать на волне восемьдесят пять. Но особенно не вылезай, засекут как миленького. Ну а снимать — снимем. Бот будет ждать вас через сутки от нуля до четырех вот у этого мыска. Но четыре — это крайний срок. Нужно управиться пораньше. Здесь хоть и недалеко, но если вас обнаружат — пиши пропало. Пойдете на дно и «мама» сказать не успеете. Что еще?

— Все ясно, — ответил Баландин, хотя в тот момент еще не представлял, как можно одним наскоком уничтожить и самолеты, и пушки.

¹ Б а н к а — отмель.

— Тогда иди поспи, если можешь, а к тринадцати ноль-ноль чтоб как штык. Со всеми гавриками. И с планом. Тут у меня кое-какие соображения имеются, но и ты подумай. Как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Перед выходом все обмозгуем вместе.

Спать, конечно, Баландин не лег. Не до сна было. Сидел над картой, смолил сигарку за сигаркой, думал, прикидывал. В конце концов решил: действовать двумя группами. Одна взрывает пушки, другая тем временем разыскивает и уничтожает самолеты. В ходе операции, естественно, могли возникнуть неожиданности и осложнения, но здесь Баландин целиком и полностью полагался на тех, кто следующей ночью вместе с ним отправится в поиск. Досадовал же командир разведчиков лишь на то, что им не удастся «проиграть» операцию. Нет времени. И тут ничего не попишешь: если на все дают только сутки — значит, действительно припекло...

Утром Баландин построил взвод. Сказал, что надо. Вызвались чуть ли не все. А кто не вызвался, на тех ко-со не смотрели. Тут дело такое — добровольное. Трудно было отбирать. Но отобрал. А на радиста глаза под-нять боялся, хотя и понимал: ничего тут не поделаешь. И оттого родилась в душе неприязнь к человеку, которого не знал и не видел, и, когда тот пришел, Баландин встретил его хмуро и недоверчиво.

Новый радист был низкоросл. Защитная вылинявшая форма сидела на нем мешковато и нескладно, словно под ней было не живое человеческое тело, а муляж. Мятые погоны с засаленными лычками топорщились на плечах радиста как ненужные принадлежности, что вызвало особое недовольство Баландина.

«Куда с таким в тыл?! — раздраженно подумал он. — Нянчайся с ним там...»

Сгоряча Баландин решил немедленно отправиться в штаб и со всей решительностью воспротивиться против такого назначения, но вовремя одумался. Тем временем новенький снял с плеч ящик с рацией, аккуратно поставил его рядом с тумбочкой дневального и вскинул руку к пилотке:

— Товарищ старший лейтенант! Сержант Одинцов явился в ваше распоряжение!

— Явился не запылился, — насмешливо откликнулся со своей койки наблюдавший за сценой Калинушкин. — Обмотки-то куда дел, пехота?

— Отставить, старшина! — оборвал Калинушкина Баландин. При всей несимпатии, возникшей у него к новому радисту, он не мог позволить, чтобы так, во всеуслышание, подрывали авторитет армии. К тому же Баландину неожиданно понравилась реакция сержанта на слова задиристого разведчика. Собственно, реакции никакой и не было. Сержант словно бы не расслышал реплики, и эта невозмутимость могла быть отражением некоторых особенностей его характера.

«А он не так уж и прост, — подумал Баландин, чувствуя, как помаленьку улетучивается его неприязнь. — Во всяком случае, на пустой крючок не клюнул».

— Располагайтесь, сержант, — сказал он. — Коек много, можете выбирать любую. Полчаса вам на все устройства, а потом поговорим о делах.

— Слушаюсь! — ответил радист и, подцепив с поларацию, направился к дальней койке.

— Единоличничек, — тотчас же прокомментировал его действия Калинушкин. — Кулак тамбовский.

Баландин усмехнулся. Он знал, что Калинушкин не питает к радисту никаких определенных чувств, а ворчит в силу врожденной привычки. Правда, он знал и другое: Калинушкина задело такое откровенное невнимание к его персоне, и теперь старшина будет при всяком удобном случае приставать к новичку. Но, судя по всему, удовлетворения он не получит.

Через час Баландин знал о радисте все. Самое смешное заключалось в том, что Одинцов действительно оказался тамбовским. И хотя в Тамбове он только родился, а всю жизнь прожил на Дальнем Востоке, совпадение было настолько поразительным, что Баландин засомневался: не пронюхал ли Калинушкин каким-то образом о некоторых подробностях биографии радиста? Но этого не могло быть, и Баландину оставалось только удивляться всегдашней удачливости пронырливого старшины.

Как бы там ни было, а свое открытие Баландин сохранил в тайне. Ибо, узнай о нем Калинушкин, кто знает, куда бы завела его непомерная гордыня...

Беседа с радистом успокоила Баландина. Одинцов оказался тертым калачом: воевал, прыгал в тыл с парашютом, имел награды. Настораживало Баландина лишь одно: по его мнению, Одинцов слишком восторженно отзывался о японцах и Японии. Конечно, сержан-

та можно было понять. Недоучившийся студент-японист, он радовался возможности увидеть кое-что своими глазами. Но понимал ли он всю сложность и ответственность операции?

В этом Баландин не был убежден, и, думая сейчас о радисте, он испытывал чувство некоторой неуверенности, которое не возникало у него, когда он думал об остальных...

2

Шорох. Как будто кто-то вкрадчивый и осторожный снаружи поскребся в борт. Так терлась шуга в Баренцевом море. Но так же скреблись о корпус подводной лодки минрепы, когда осенью сорок третьего группу высаживали в Бек-фиорде.

Баландин подобрался. Легкое движение в кубрике подсказало ему, что остальные разведчики тоже оторвались от своих дум и прислушиваются к донесшемуся звуку. Камни? Топляк? Или, быть может, мина, и следующее прикосновение будет смертельным?

И снова шорох. И вслед за тем частые подрагивания корпуса. И скрежет уже под днищем, словно бот тащит по песку. Рифы. Стало быть, они уже у камней, и старшина лавирует среди них в кромешной тьме, полагаясь на нюх и везение. А им пока что остается ждать. Надеяться и ждать.

— Надеть пояса, — приказал Баландин.

Он подумал, что надо бы подняться в рубку и хотя бы своим присутствием помочь старшине, но сразу же отказался от своего намерения, вспомнив недавний разговор со старшиной и его упорное нежелание кому бы то ни было доверить руль. Этот человек был из тех, кто в минуты опасности надеется только на себя. И предлагать ему помощь — значит мешать.

Скрежет под ногами нарастал. Удары в корпус участились, потом бот содрогнулся и, покачиваясь, как будто завис на невидимом балансира, в следующую минуту соскользнув с него. Снова наступила тишина. Баландин понял, что они перескочили рифы. Теперь можно было идти в рубку.

— Полный марьяж, старлей! — встретил его старшина. — Готовь своих, на полчаса делов осталось. Вода хорошая, приткнись прямо к берегу. Пять минут вам на все тары-бары. Мне еще назад столько же топать.

Дай бог до света управиться. Не успею — прямым ходом в рай угожу.

Баландин посмотрел на хронометр.

«Полчаса. Значит, в ноль пятьдесят. Самая темень. В такую темень никуда не сунешься — напорешься на мину или еще на какую-нибудь хреновину. Придется часа два ждать на берегу. Пока не посветлеет... Плохо, что они не знают обстановку. Очень плохо. Хуже нет действовать вслепую. Чуть-чуть промахнешься — и все накроется...»

— Жарища, — проговорил старшина, — упарился, как мышь. — Он протянул руку и поднял смотровое стекло.

Гул океана заполнил рубку. Он казался однообразным лишь поначалу, в первые минуты; потом стали различимы по отдельности все шумы огромного океанского тела: тяжелые всплески волн, протяжные вздохи, прерываемые каким-то бульканьем и шипеньем, словно по соседству с ботом выпускали пары паровозы, далекие, похожие на орудийную канонаду раскаты.

— Повезло с погодой, — опять сказал старшина. — Кабы посильнее ветер — ни в жисть не подойти. Однако пора, старлей, берег скоро. Вон наверху темнеет, видишь? Скалы, должно.

Баландин нагнулся к стеклу.

Впереди была темнота, но, присмотревшись, он различил в ней еще более плотные очертания. Это действительно могли быть скалы.

— Наката не слышно, — сказал он.

— Ветер в задницу, — ответил старшина. — Относит. Иди, старлей, не сомневайся. Берег, я тебе говорю!

Баландин спустился в кубрик.

— Смекаю, что приехали, командир? — поинтересовался Калинушкин.

— Правильно смекаешь. Быстро, ребята! Разбирай каждый свое — и наверх. Не торопись, сержант, — сказал он, видя, что Одинцов порывается протиснуться вперед. — Сначала мы.

— Бережете? — с ехидством спросил Одинцов.

— Не тебя, дурья голова. Рацию, — ответил откуда-то из темноты Калинушкин. Даже сейчас он оставался верен себе — был насмешлив и беспечен.

Берег надвинулся, как зверь Апокалипсиса — неотвратимый, бесформенный, безгласный.

Сгрудившись у рубки, разведчики напряженно

всматривались в него. Пока все шло без сучка без задоринки, но кто мог знать, что делается там, в темноте? Может быть, именно сейчас, как не раз бывало, матово засветится над головой шар ракеты, раскромсает темень и берег оживет от мертвой тиши и ударит в лицо огнем и громом...

Стали видны буруны. Теперь только двухсотметровая полоса прибоя отделяла их от цели. Бот подбросило, швырнуло вниз, закрутило. Но старшина был начеку и не дал развернуть судно. С шипеньем разбрасывая волны, оно приближалось к берегу.

Толчок, клокотание воды за кормой, свистящий шепот из рубки:

— Пошел, ребята!..

Бесшумный прыжок Шергина, мгновенное раздумье Мунко. И снова шепот:

— Удачи тебе, старлей!..

Захлебывающиеся выхлопы дизеля, запах перегоревшего соляра. Медленно и неуклюже, словно рептилия, бот сполз в море, и ночь поглотила его.

Шестеро остались на берегу.

3

На рассвете пошел дождь. Мелкий и частый, будто его просеяли сквозь сито. Он падал невесомо, с монотонным шуршанием, покрывая лица и одежду серебристо-тусклой холодной пылью. Завернувшись в маскхалаты, разведчики сидели среди валунов, сами похожие на камни своей неподвижностью. В сумраке полурассвета серели лица с темными впадинами закрытых глаз.

Часы показывали три. Надо было уходить с берега. Баландин подкрутил завод часов и тронул за плечо сидевшего рядом Шергина. Тот сразу открыл глаза, секунду смотрел на Баландина, потом неувловимым движением перекинул к нему свое могучее, свитое из одних мышц тело.

— Пора, Влас. Поднимай ребят.

— Они не спят, командир.

— Взрывчатка не отсыреет? Дождь, кажется, зарядил на весь день.

— Все в норме. Своими руками увязывал.

— Тогда двинулись. А то валяемся, как котики на лежбище, подходи и бей палкой.

— Местечко невеселое, что и говорить...

Это было опасно — пересекать открытый, просматриваемый со всех сторон пляж, заваленный камнями и плавником. Ноги срывались с ослизлых бревен и обкатанных водой голышей, и разведчики продвигались медленно, часто останавливаясь, прислушиваясь и приглядываясь к застойной рассветной тишине. Неясное движение мнилось в густой тени нависших над головой скал; валуны казались фигурами людей. Невдалеке маячил темный обрывистый берег, и они спешили к нему, чтобы укрыться в его лощинах и гребнях.

Пляж кончился; глазам предстала узкая, идеально ровная, как нейтральная полоса на границе, песчаная лента — верхний урез воды, на котором не росло ни былинки. Любой предмет на песке отпечатывался словно на фотографии. Один за другим, гуськом, они перешли полосу, а потом тщательно заровняли песок.

Обрыв был рядом — гигантский срез, на котором видны были напластования и птичьи норы, источившие серо-коричневый твердый грунт. Наверху обрыва плотной стеной стояла мокрая от дождя трава. По болотистому непропуску они поднялись на обрыв. И остановились: в пяти шагах из травы высывалась ржавая сеть колючего заграждения.

— Физкульт-привет! — сказал Калинушкин.

Картина была знакомая. Такая проволока опоясывала весь земной шар, и было бы чудом не встретить ее здесь. Они молча разглядывали проволоку. По виду безобидная, напоминавшая засохшие стебли дикой розы, она наверняка таила в себе разного рода сюрпризы. Задень ненароком один из шипов — и где-нибудь в километре отсюда зазвонит звонок. А может обойтись и без звонка: сработает замаскированная ловушка, и от человека останутся воспоминания. По части таких ловушек великими мастерами были немцы.

— Понакрутили, в гробу я их видел, — с расстановкой сказал Рында.

— А ты думал, тебе парадный трап вывалят? — усмехнулся Калинушкин.

— Полундра! — остановил их Шергин. — А ну сбавь обороты!

— Давай, Ваня, — сказал Баландин.

Он не стал торопить Рынду и напоминать ему о том, что скоро совсем рассветет и тогда их могут заметить, —

разведчик знал это и без него. Развязав мешок, он уже доставал из него штангу миноискателя. Состыковав трети, Рында подсоединил к штанге рамку, надел наушники. Затем повернулся к товарищам, махнул рукой.

— Ложись! — приказал Баландин.

Теперь все зависело от Рынды, от его умения и осторожности. Все, вся операция. И, следя за тем, как он приближается к проволоке, Баландин страстно желал, чтобы слепая судьба на этот раз прозрела.

Минуты шли. Светлело все заметней. Мир обретал привычную форму: трава перестала казаться лесом, а камни на берегу — людьми. Где-то пискнула пичуга, ей отозвалась другая. Потом они с порханием вырвались откуда-то и, едва различимые, закачались на упругом стебле. Из травы слышался характерный хруст — Рында резал проволоку. Пичуги вздернули хвосты, но не улетали. Неожиданно для себя Баландин загадал: если он просчитает до десяти и пташки не упорхнут — все будет хорошо. Он начал считать не торопясь, стараясь быть честным. Хруст не смолкал, пичуги тревожно крутили головами. Заканчивая счет, Баландин для верности выдержал паузу, но птички продолжали раскачиваться на стебле. И когда они все-таки улетели, он проводил их благодарным взглядом, словно удача и в самом деле зависела от каприза этих пернатых существ.

Хруст прекратился — видно, Рында уже сделал проход и теперь шарил миноискателем на той стороне заграждений.

«Еще пятнадцать минут, — думал Баландин. — Если через пятнадцать минут Иван не закончит, мы влипли. Будет светло как днем. Нас запеленгуют с любой сопки. Правда, дождь расходится и работает на нас, но все равно надо закончить через пятнадцать минут. Потому что за «колючкой» — как пить дать траншеи. А их при свете не проскочишь...»

Подполз Рында. Он был перемазан землей, как проходчик.

— Готово, командир...

Через десять минут они лежали в ложинке за проволокой. Пелена дождя застилала все вокруг, и это радовало Баландина: у них появились шансы проскочить траншеи с ходу. Но сначала требовалось выяснить, где они и как охраняются.

— Мунко! — позвал он.

Ненец подполз, проворный, как ящерица.

— Траншеи, — сказал Баландин.

Скуластое, темное лицо Мунко ничего не выразило. Он скинул со спины мешок и тенью скользнул в траву. Она сомкнулась за ним, как вода за ныряльщиком.

И снова ожидание — тягостное и мучительное, когда можно лишь гадать, чем обернутся события. Впрочем, предпосылки для оптимизма имелись. И довольно весомые. Во-первых, думал Баландин, японцы вряд ли серьезно относятся к мысли о заброске кого бы то ни было на остров. Скорее всего такая возможность кажется им невероятной. Они слишком уверены в своей недосыгаемости, чтобы думать о диверсантах. Военное нападение, десант, налет авиации, наконец, — это еще куда ни шло. Но только не диверсанты. Однако война идет, и с этим нужно считаться. Готовность, конечно, повышенная, иначе и быть не может. Во-вторых, погода. В такую слякоть никому не хочется лишней раз высываться наружу. Тем более сидеть в окопах. Часовые? Часовые, разумеется, стоят. Но часовые были и у немцев... В-третьих, Мунко. Здесь почти стопроцентная гарантия. Ненец — прирожденный пластун и следопыт. Если понадобится, пролезет в игольное ушко. Правда, от случайностей никто не застрахован, но шансов на то, чтобы остаться незамеченным, у Мунко больше.

Словом, тактическая обстановка Баландина обнадеживала. Зато отдаленные перспективы представлялись ему скрытыми мраком неизвестности. Танкер, самолеты... Ладно, танкер — на худой конец им известно, где он. А самолеты? Их еще надо отыскать на острове и что-то сделать, чтобы они не взлетели. Что? Взорвать? Сжечь? Но разведчиков только шестеро. Двое, как минимум, займутся танкером. Радиста можно не считать, его дело рация. Значит, трое. Почти ничего, если учесть, что самолетов не один и не два. А в запасе всего лишь ночь. Одна ночь, потому что днем все равно ничего не сделаешь. Днем хорошо бы поспать. Хотя бы часа два. И поесть — сил им понадобится много...

Появился Мунко — бесшумно и внезапно, будто снял с головы шапку-невидимку.

— Что, Мунко? — нетерпеливо спросил Баландин.

— Траншеи. Две. Солдат нет. Был часовой.

— Был?! — Баландин невольно бросил взгляд на

пояс ненца, на котором в костяных ножнах висел нож. — Ты снял часового?!

Картина, которую он себе представил, была ужасна: убитый часовой, которого — прячь не прячь — обнаруживают, суматоха, разрезанная проволока, облава...

Глаза Мунко сузились еще больше:

— Дождь. Холодно. Часовой ушел, командир.

Раскаиваться было поздно. Холодок в голосе Мунко не оставлял сомнений: ненец обиделся. А кто бы не обиделся? Хорош командир: подумать, что такой опытный разведчик, как Мунко, мог убить часового и подставить их под удар! Но и Мунко тоже хорош — бухнул так, словно дело уже сделано. Тут кто хочешь схватится за голову... Значит, часовой ушел... Неплохо, неплохо. Похоже, японцы и в самом деле не ждут гостей, если часовые разгуливают как хотят. Но радоваться рано. Часовой как ушел, так и придет — не станет же он до конца смены торчать в блиндаже. За такие дела по головке не гладят. Так что нужно считать, что часовой на месте, и не надеяться на сладкую жизнь...

Часовой действительно был на месте — они убедились в этом, едва разглядели траншею. Он стоял неподвижно, как пугало на огороде, и штык тускло поблескивал у него над головой. И хотя Баландин был готов к такому продолжению, в нем закипела злоба на часового.

«Черт бы тебя побрал, дурак прилежный, — с ненавистью думал он. — Выставился! Не мог еще пять минут посидеть в своем вшивом блиндаже!..»

Но часовому было ровным счетом наплевать на эти проклятия. Он стоял в прежней позе и даже не догадывался, что родился под счастливой звездой, ибо те, кто мог умертвить его в мгновение ока, больше всего на свете не хотели этого. Шепот Мунко почти слился с шелестом дождя:

— Там поворот, командир...

Путь до него показался шестерым вечностью. Траншея поворачивала почти под прямым углом, и за выступом они могли скрыться от часового.

Мунко первым спрыгнул на дно. Вытащив нож, он встал на повороте, прильнув к стенке траншеи, не сводя глаз с часового. Помогая друг другу, разведчики спускались в траншею. С обеих сторон в нее выходили

двери блиндажей, и каждая из дверей могла в любой момент распахнуться.

Шергин еще оставался наверху, когда разведчики услышали тихий возглас Мунко:

— Командир!

Баландин одним прыжком встал рядом с ненцем, осторожно выглянул. Сердце заколотилось где-то у горла: часовой медленно шел по траншее, серо-зеленый и неясный, как призрак.

«Заметил? Нет, идет будто на прогулке. Надоело стоять на одном месте. Дойдет или остановится?..»

Часовой не останавливался. До него оставалось десять метров. Восемь. Пять. Сейчас он дойдет до угла и увидит... Нет, он ничего не увидит, потому что раньше умрет...

Мунко отвел руку с ножом, готовый метнуться и ударить. Но не метнулся, удивленно глядя на Одинцова, который вдруг шагнул вперед и, пошатываясь, пошел навстречу часовому.

— Томарэ! ¹ — громко и испуганно сказал тот.

— Нани о донаттэ иру ка? ² — ответил Одинцов. И Баландин не узнал его голоса.

— Тосиро, омаэ ка? ³

— Кутабарэ! ⁴ — грубо сказал Одинцов. Согнувшись пополам, он уперся рукой в стенку, и разведчики услышали такой звук, будто заклокотала засорившаяся раковина. Что-то с громкими всплесками полилось на землю.

— Коно яро, мата нондэ кита на! ⁵ — брезгливо сказал часовой. — Соко ни кисама но као о цукондэ яри-тай! ⁶ — Он повернулся и пошел назад.

Одинцова продолжало рвать. Его прямо-таки выворачивало. Ошеломленные разведчики стояли не дыша, и, когда Одинцов вернулся к ним, ни у кого не нашлось слов.

— Скорее! — сказал радист, пряча за пазуху пустую фляжку. — Пока этот чистюля не вернулся.

Они помогли спуститься Шергину и быстро пошли

¹ Стой!

² Чего орешь?

³ Это ты, Тосиро?

⁴ Иди к черту!

⁵ Опять нажрался, вонючий дьявол!

⁶ Мордой бы тебя в это дерьмо!



В дальний конец траншеи, над которым нависал спасительный полог еще вовсю зеленой травы.

Они шли уже больше часа—молча, ступая след в след, как лоси, идущие на водопой. Впереди Мунко, за ним остальные: Баландин, Одинцов, Рында, Калинушкин, Шергин. Последний —тяжеловесный и громадный, с резиновой надувной лодкой за плечами — и впрямь напоминал матерого лося-самца, замыкавшего строй, охранявшего его от всех превратностей и случайностей.

Новый день наступил, но солнце не смогло прорвать плотную завесу дождя и туч; его лучи преломлялись где-то в высоте и, отраженные, возвращались к своему светилу, так и не достигнув покрова земли, не озарив ее тайн, красот и бедствий.

Станный и чудесный мир расстилался вокруг, и они с удивлением и несмелой радостью, от которой давно отвыкли и которая, как упорный росток, пробивалась сейчас наружу, смотрели на этот мир: на траву выше их роста, блестящую от дождя и трепетавшую от каких-то тайных внутренних содроганий; на гигантские папоротники и хвощи, непривычные и чуждые глазу, будившие смутные воспоминания о миллионолетних бессловесных эпохах, о гадах в морях девона, в чьих неповоротливых мозгах уже созревала дерзостная мысль о переселении в иную юдоль; на невиданные цветы, тяжелые головки которых тускло мерцали под темными и влажными сводами стоявшей, как лес, травы.

В этом мире не было и не могло быть войны. Храмы не оскверняют, а это был храм тишины, спокойствия и высоких дум, и мысли каждого из шестерых возвращались к тому высокому, что было в их жизни и что не состоялось; что выражало ее средоточие и смысл; от чего пронзительной и светлой печалью занимались сердца и одухотворялись лица.

И каждый из шестерых старался подольше удерживать в памяти дорогие картины, словно предчувствуя наступление той ночи, во тьме которой померкнут краски, растворятся звуки, исчезнут лики, образы — все...

Приноравливаясь к валкому, скользящему шагу Мунко, Баландин старался не сбиться с ритма и время от времени незаметно поглядывал на компас. Но всякий раз убеждался, что его опасения напрасны: Мунко вел отряд как по нитке. Способность ненца вслепую выдерживать маршрут вызывала изумление.

Вспоминая прошлое, возвращаясь к временам трехлетней позиционной войны на Севере, Баландин пытался припомнить хоть один случай, когда бы Мунко ошибся. Бессменный проводник разведчиков, ненец всегда оказывался на высоте. В пургу ли, в туман, которым так славится теплое Кольское побережье, летом и зимой Мунко находил дорогу, как находят ее вожаки птичьих стай, и беспокойство Баландина было лишь данью опыту городского жителя, привыкшего на каждом шагу встречать стрелки и указатели. Всерьез же Баландин думал лишь об одном — об отдыхе.

Нагруженные взрывчаткой, продуктами и оружием, не спавшие уже больше суток, вымокшие и грязные, разведчики представляли невеселое зрелище. А основные события ждали их впереди, и вопрос об отдыхе, хотя бы кратковременном, становился насущной необходимостью.

Но пока Баландин откладывал его осуществление. Оглядывая открывавшуюся за очередным поворотом местность, он не находил мало-мальски пригодного угла, где бы можно было расположиться и со спокойным сердцем поспать. Он грезил о бастионе, о неприступной Бастилии, а кругом была только трава. Высокая, густая, годившаяся разве что на силос. Поэтому, когда Мунко вдруг согнулся и полез куда-то вниз, Баландин понял, что им в конце концов повезло.

Он не ошибся.

Глубокая и узкая котловина — классический средне-русский овраг, по глинистым склонам которого журчали ручьи, тянулся на добрую сотню метров. Все та же трава росла на дне котловины, но не это было главным. Бастионы существовали! Ибо только так можно было назвать высокую, вдававшуюся в овраг площадку, крутые бока которой напоминали своей монолитностью башню. Заросли корявого и прочного кустарника не хуже спиралей знаменитых МЗП¹ преграждали подступы к площадке. При случае здесь можно было задержать полк.

С трудом выдирая ноги из ветвей кустарника, они поднялись наверх и по краю оврага прошли на площадку. И лишь теперь в полной мере оценили ее достоин-

¹ МЗП — малозаметные препятствия. Проволочные, хитроумно сплетенные спирали.

ства: открывавшийся с высоты обзор, идеальную скрытность и потенциальные возможности площадки как позиции.

— Шабаш!¹ — сказал Баландин.

И это знакомое любому моряку слово напомнило им многое: довоенный Кронштадт, могучие обводы стоящего на рейде «Марата», ряды шлюпок на воде, над планширами которых отлаженно и четко, как звенья коленчатого вала, мелькают обнаженные торсы гребцов, бешеный темп, кипенье воды под форштевнями, лес вскинутых на валец весел, с которых в лицо летят брызги, толпы людей на набережных...

— Да-а, — протянул Калинушкин, стаскивая с плеч вещмешок, — была жизнь, командир... Эх, помню в Петергофе! Придешь в парк, а там — мама родная! — ну все тебе: и раки, и воблушка, и лучшее в мире пиво под названием «бочковое». Сядешь за столик, а кругом фонтаны и девушки в белых платьях. Сидишь как у Христа за пазухой! Помнишь, Влас?

— Насчет Христа не знаю, а уж девушек ты не пропускал! Тебя медом не корми — дай за коленочку подержаться, — засмеялся Шергин.

— Где уж нам, — скромно сказал Калинушкин. — Мне бы вашу комплекцию, Влас Зосимович! А я что? Как говорил командир нашего славного «бобика»: семь лет на флоте и все на кливершкоте...

Хитрый разведчик явно приbedнялся. Он как раз не принадлежал к категории тех людей, относительно которых была сложена поговорка, но, как всякий везунчик, любил иногда поплакаться и повздыхать. Если же следовать истине, то многие женщины довоенного Кронштадта так или иначе принимали участие в судьбе Калинушкина.

Знакомые у него имелись во всех сферах. Официантки бесплатно кормили его. В ларьках ему отпускали пиво в кредит. Медсестры в санчасти выписывали освобождения по любому случаю. И даже на гарнизонной гауптвахте уборщица снабжала его папиросами. Женщинам нравился отзывчивый и веселый нрав Калинушкина, и они тянулись к нему. Им казалось, что без их хлопот и ухаживаний Федор пропадет. Он не разубеж-

¹ «Шабаш!» — одна из команд, подаваемых во время шлюпочных гонок.

дал их, принимая заботы как должное. Наверное, многие женщины любили его и мечтали прибрать к рукам, но от семейных уз Федор шарахался, как необъезженный жеребец от упряжи. Так он был создан. Постоянство тяготило его; женщины это чувствовали и прощали ему все измены и увлечения.

Лишь один раз Калинушкин чуть не влюбился. Она работала билетершей в горсаду, а ему как раз понадобились билеты на аттракцион. Он пришел в горсад с друзьями, они стояли позади и жаждали прокатиться на самолетах.

Деньги у Калинушкина были, но он хотел еще раз продемонстрировать друзьям свою неотразимость. И попросил билеты в кредит. Она отказала. Слова оправдания в данном случае никакой роли не играли: за спиной стояли «кореша», которые могли стать свидетелями его поражения. Калинушкин не колебался ни секунды. Окошечко в кассе было узкое, а плечи у Федора — широкие. Он загородил ими кассу и, отстегнув часы, протянул их в окошко. Она посмотрела на него и вернула часы вместе с билетами. Вечером он провожал ее. Они шли по гулкой булыжной мостовой, и он вдохновенно рассказывал ей о пассатах и муссонах, о шквалах и альбатросах в грозовых тучах, о смуглолицых женщинах далеких южных морей. В подъезде он сделал попытку поцеловать ее, но она вырвалась и убежала.

Их роман длился ровно три недели. Дождаться воскресений у Калинушкина не хватало сил, и он ходил в «самоволку». За это полагалось двадцать суток ареста с содержанием на гауптвахте, но Федор рисковал не задумываясь.

Но однажды он встретил ее в парке с курсантом. Наверное, у нее ничего не было с тем парнем, но «измена» смертельно обидела Калинушкина. Он назвал курсанта салагой и толкнул его. Курсант не знал о громких титулах Калинушкина и полез в бой. Нокаут последовал на первой минуте. Вспоминая потом эту историю, Калинушкин во всем винил соблазнителя-курсанта. А что касается девушки, то он признавался, что она ему действительно нравилась...

Зная по опыту, что сейчас начнутся душещипательные воспоминания, Баландин сказал:

— Разговорчики отставить! Пятнадцать минут на

прием пищи — и спать. Всем. Дежурить буду я. Подъем — в двенадцать ноль-ноль.

Когда ели, Калинушкин, отправляя в рот румяный кусок американской колбасы, спросил:

— А правда, командир, что союзники ее из опилок делают? Мне один баталер¹ в Питере травил.

— Неправда, — ответил Баландин. — У твоего баталера в голове опилки.

— Я ему то же сказал, а он мне загнул что-то насчет круговорота элементов в природе. В будущем, говорит, все будет делаться из подсобного материала. Лежит доска, к примеру. Ты ее в аппарат особый. Кнопку чик — получай бифштекс с кровью. Даже водку, говорит, из нефти делать станут. Тут уж я натурально не поверил.

Одинцов засмеялся.

— Про колбасу поверил, а про водку нет?

Калинушкин, как конь, повел на радиста фиолетовым огненным глазом.

— Колбаса, серый ты человек, для желудка. Он гвозди переваривает. А водка для души. С нее и спрос особый. Хотя для кого как. Для тебя небось лучшая рыба — колбаса, а, пехота?

— Угадал. Дают — не мохаю и ем не охаю, — ответил Одинцов, игнорируя выпад Калинушкина. — Очень даже полезный продукт.

— Продукт! — передразнил Калинушкин радиста. — Ты еще про мануфактуру вспомни! До чего ж ты скучный человек, сержант, ну прямо божья коровка!

Чтобы остановить готовую вспыхнуть перепалку, Баландину пришлось опять применить власть командира.

— Спать! — приказал он. — А по тебе, Федор, «губа» плачет. Давно не сидел? Могу похлопотать, когда вернемся.

— Данке шён, командир. У начальства всегда так: чуть что — сразу «губа». Как будто нет других методов воспитательной работы...

Но вскоре все затихло на площадке. Никакие труды и потрясения не могли заглушить в молодых организмах потребность в отдыхе, и, разморенные сытной едой

¹ Б а т а л е р — матрос хозяйственной службы.

и навалившейся усталостью, разведчики уснули. Их сон был непродолжителен, но глубок, и это краткое отдохновение, это недолгое пребывание на грани реальности и небытия восстановило их силы и приблизило к событиям, которым уже был задан ход, которые назревали медленно, но неотвратно.

4

В бинокль танкер был виден как на ладони.

Зажатый рифами, он лежал с небольшим дифферентом на корму, отчего казалось, что судно пытается и не может вытащить из воды свое громоздкое железное тело. Над танкером ярусами кружились чайки. Время от времени они устраивали на воде баталии из-за какого-нибудь огрызка, брошенного с борта, и поднимали такой крик, будто их уже настиг день страшного суда. Потом птицы успокаивались, вновь взмывали в воздух, усаживались плотными рядами вдоль бортов, не обращая внимания на снующих по палубе людей. Война сюда еще не дошла, и птицы были непуганы.

Баландин подрегулировал резкость.

Итак, четыре пушки: две на носу, две ближе к корме. Пулеметы на мостике не в счет, с ними можно разделаться походя. Главное — пушки. Интересно, какой калибр они поставили? Кажется, неплохо видно, но точно не определишь. Здешний воздух так пропитан водой, что даже цейсовские линзы отпотевают, как обыкновенные стекла. Сотки? Вряд ли. Сотка — это уже внушительное орудие, и ее надо ставить основательно. Скорее всего — семидесятипятимиллиметровки. Или даже сорокапятки. Что ж, батарея таких пушек, вынесенная на три мили в море, совсем неплохо. Действительно, не дурак придумал. Начальник разведки прав: авиации здесь делать нечего. При такой погоде и плотности зенитного огня с берега шансы на прицельное бомбометание практически равны нулю. Зенитчики угробят самолеты... И ведь как стоит, стерва, — точно на пути десанта! Ни с какой стороны не обойти, расколошматит из пушек за милую душу...

Баландин опустил бинокль и обвел взглядом лежащих рядом разведчиков. Они тоже разглядывали танкер — Шергин упорно, не отрывая бинокля от глаз; Калинушкин, наоборот, то и дело протирает линзы; лицо

Ивана Рынды выражало почти детскую заинтересованность; Одинцов смотрел в окуляры, не прислоняя бинокль к лицу, словно следил за представлением в театре; один Мунко, как видно, не доверял технике, полагаясь на дальнзоркие рысьи глаза, — бинокль болтался у него на груди.

Кого послать? Впрочем, едва оформившись, вопрос уже звучал риторически. Роли были распределены давно, но Баландину нужна была пауза, чтобы еще раз и окончательно утвердиться в правильности выбора и сказать об этом вслух. Пойдут, конечно, Влас и Калинушкин. Лучше их никто не сделает того, что предстоит сделать. Шергин с его силой при необходимости голыми руками согнет орудийное дуло, а сверхреакции Федора завидовали в свое время все флотские боксеры. Подрывное дело оба знают как таблицу умножения, и ко всему прочему — закадычные друзья. Все правильно, Влас и Калинушкин.

Баландин положил бинокль на камень перед собой и знаками подозвал обоих разведчиков. Когда те подползли, спросил, кивая на танкер:

— Как думаете, какие там пушки?

— Трехдюймовки, — тотчас отозвался Калинушкин. Это было в его манере — говорить и действовать так, словно он находился на ринге, где на размышление даются доли секунды.

— Точно, — подтвердил Шергин. — Большие без хорошего фундамента не поставишь.

— Вашими бы устами... — усмехнулся Баландин, довольный, однако, тем, что мнение разведчиков совпадает с его собственным. — Значит, говорите, трехдюймовки? Я тоже так думаю. А теперь давайте кумекать вместе. — Баландин помолчал, собираясь с мыслями. — На танкер пойдете вы. Сейчас полный прилив, так что время на размышление у вас есть. Готовьте лодку, заряды, кошки¹. С отливом двинетесь.

— Вопросов нет, командир. Есть предложение. — Калинушкин, как примерный ученик, поднял руку.

— Давай.

— До отлива, командир, что до морковкина загоненья — шесть часов. А там темень как в канатном ящике. На нашей галоше шибко не разбежишься, в темноте

¹ К о ш к а — небольшой четырехпалый якорь с тросом.

зальет того гляди. А чуток просчитаешься — вовсе в море унесет. Вот я и думаю: может, пораньше отчалить? Часиков в восемнадцать. Как раз и темнеть начнет. В такую хлябь нас ни один дальномер не засечет, ручаюсь как представитель бэчэ четыре¹.

— Хорошо, — сказал Баландин, — кладем полтора часа на всю дорогу. Значит, к двадцати часам доберетесь. А там что будете делать? Возле танкера болтаться или, может, сразу к японцам полезете?

— Зачем к японцам, командир? Вон на том камушке отлежимся. — Калинушкин показал на хорошо различимую глыбу, торчащую из воды в кабельтове² от танкера, размером и формой напоминающую ту, на которой стоит в Ленинграде конный Петр. — Оттуда в любой момент в гости собраться можно.

Баландин задумался.

План Калинушкина был очень неплох. Действительно, вместо того чтобы нырять в темноте на утлой лодчонке, можно было простым способом снять этот вопрос с повестки дня. Единственная угроза — что лодку заметят. Опять риск? А что лучше: ожидание опасности, которую предвидишь, или полное неведение? К тому же Калинушкин прав: дождь, видимость нулевая. Разглядеть крохотную шлюпку будет трудно. Все равно что искать иголку в стогу.

— Влас?

— Чего думать, командир! Федор в яблочко попал.

— Заряды связать успеете?

— Черта свяжем, не то что заряды!

«Ну вот, — подумал Баландин, — вот и начинается. Сколько раз уже это было? Не вспомнить. И все равно чувствуешь себя как на вышке, с которой нужно прыгнуть».

Он отчетливо представлял себе все трудности, которые ожидали Шергина и Калинушкина.

Нелегко будет добраться до танкера. Волна порядочная, потом еще рифы перевалить надо. А там — танкер, железный скользкий борт. Не по трапу подняться. И за спиной автоматы и взрывчатка. Правда, на Севере было и потруднее, когда доты с моря брали. Из воды —

¹ БЧ-4 — четвертая боевая часть на корабле, наблюдения и связи.

² Кабельтов — морская мера длины, около 185 метров.

и прямо на скалы. Как альпинисты. Егеря генерала Дитла остались тогда с носом... Когда японцы выставляют часовых? По логике — с темнотой. Значит, часов с девятнадцати. А сменяют? Через два часа? Три? Гадай не гадай — не узнаешь. Надо прикинуть оба варианта. И сколько их, этих часовых. Двое? А если больше? В общем, как всегда, уравнение со многими неизвестными...

Калинушкин и Шергин вязали заряды. Брали толстые шашки, связывали их по десять штук, вставляли внутрь капсули. Вес зарядов получался солидным — пуд.

Четырехсотграммовые шашки, похожие на куски хозяйственного мыла, в руках Шергина казались детскими кубиками. Привыкший возиться с разного рода узлами и канатами, боцман работал споро, изредка бросая недовольные взгляды на Калинушкина, который, обычно сноровистый и разворотливый, на этот раз еле-еле шевелил руками. Такое положение вещей добросовестного Шергина не устраивало, и он наконец не вытерпел:

— Чухайся, Федор, чухайся! Не картошку на камбузе чистишь.

Калинушкин посмотрел на друга безмятежным, обезоруживающим взором.

— Ты в судьбу веришь, боцман? — неожиданно спросил он.

— Здравсьте, я ваша тетя! Это тебе зачем?

— Да так, для общего кругозора. Вдруг шлепнут? Так и не узнаю вашего отношения к тайнам природы.

— Я тебе шлепну! — разозлился Шергин. — Я тебя так шлепну, что ни одна санчасть не склеит!

— А все-таки? — не отставал Калинушкин. — Веришь или нет?

— Не верю. И тебе не советую... Ну куда ты капсуль суешь! Куда, я тебя спрашиваю?!

— А хоть бы и посоветовал, — невозмутимо продолжал Калинушкин. — Мне цыганка в Керчи нагадала, что я в двадцать пять лет мослы отброшу. Как видишь, третий год в женихах переживаю.

— Чего тогда треплешься? «Шлепнут», «шлепнут»!..

— К слову пришлось. Жалко, если дуба врежем. Молодыми и красивыми.

— Тьфу! Дурак был, дураком и остался! На кой ляд

ты тогда мелким бесом перед командиром юлил? Боялся, что не возьмет, вспомнит, как ты в Бек-фиорде выпендривался?

— Дробь¹, боцман! Был грех, правда, боялся. Командир, сам знаешь, скажет — и точка. А куда я без вас?..

— Ну и не чирикай. Тебя за хвост не дергают, ты и не чирикай.

Негромкий свист прервал их разговор. Разведчики переглянулись.

— Мунко, — сказал Шергин. — Стряслось что-то.

Пригибаясь, они нырнули в заросли и через минуту были на площадке. Все, кто находился там, сгрудившись, напряженно всматривались в противоположный конец оврага.

— Что, командир?

Баландин молча показал рукой вниз.

Раздвинув траву, Шергин и Калинушкин посмотрели в образовавшийся просвет. В нем, как в прицеле, четко обозначилась фигура человека. Балансируя руками, человек осторожно спускался по скользкому склону в овраг.

— Солдат, — прошептал Мунко, чьи зоркие глаза уже разглядели то, чего еще не видели остальные.

Солдат с грехом пополам одолел склон и теперь шел по дну оврага. Из травы виднелись лишь его плечи и голова.

Баландин сомневался всего мгновение. Такой случай упускать было нельзя. «Язык» сам шел в руки.

Мунко глядел выжидающе. Баландин кивнул. Ненец снял с пояса свернутый в кольца аркан и скользнул в траву.

Солдат уже прошел половину оврага и приближался к тому месту, где, поворачивая, тропинка упиралась одной стороной в подножие площадки и где, они знали, его поджидал Мунко. Теперь разведчики видели солдата хорошо — от обмоток до какой-то легкомысленной шапочки на голове. Солдат был безоружен, а в руках нес что-то похожее на обыкновенную уздечку.

— Тоже мне, жокей! — хмыкнул Калинушкин. — Иди, иди, сейчас Мунко заделает тебе козью морду!

Они не видели ненца, взмаха его руки: просто из травы вылетела стремительная серая змея и упала на

¹ «Д р о б ы» — команда, означающая прекращение огня.

плечи солдата. Он рухнул как подкошенный и отчаянно забился, пытаясь сбросить с шеи аркан. Но Мунко не давал ему слабины и уже подтаскивал к себе солдата.

— Помоги, Влас, — сказал Баландин.

Шергин юзом скатился с площадки.

— Кино, — сказал восхищенно Калинушкин. — Раздва — и ваших нет. Ковбой, а не человек! Командир, мои сто грамм — Мунко. Премия от Балтфлота.

Отдуваясь, на площадку поднялся Шергин. На руках он, как ребенка, нес скрученного арканом солдата. Во рту у пленного торчал кляп — кусок его же обмотки. Черные раскосые глаза солдата были открыты. Он переводил их с одного разведчика на другого — без страха, скорее с удивлением.

— Выньте у него эту тряпку, — велел Баландин.

— Заорет, командир, — усомнился Рында. — Пусть немного очухается.

— Заорет — по кумполу, — сказал Калинушкин, недвусмысленно подбрасывая на ладони гранату.

— Выньте, — повторил Баландин. — Развязывать пока подождем, а портянку выньте.

Кляп вынули и усадили пленного поудобней.

— Спроси у него, кто он такой, — спросил Баландин.

Радист перевел пленному вопрос. Тот повертел шеей, на которой уже вспухал сине-багровый рубец, потом быстро заговорил. Разведчики как один уставились на радиста, следя за выражением его лица. Только Мунко сидел на корточках в отдалении и лениво посматривал по сторонам. Пленный замолчал. Одинцов спросил еще о чем-то и повернулся к Баландину. Он был явно растерян.

— Это не японец, товарищ старший лейтенант. Кореец. Его зовут Ун Да Син. Он ездовой. А здесь искал лошадь.

У разведчиков вытянулись лица, а Шергин даже плюнул с досады. Нестроевой пленный, конечно, не был подарком. Ладно бы писарь, штабист какой, а то — ездовой! Что он мог знать, кроме сена и лошадей?

— Я же говорил — жокей, — презрительно сказал Калинушкин. — Он и весит-то тридцать два с пистолетом!

«Да, не повезло, — подумал Баландин. — На кой черт нам этот конюх?» Но все равно спросил:

— Знает ли он, где самолеты?

Выслушав Одинцова, пленный утвердительно кивнул. Кивок был понятен и без перевода, и разведчики посмотрели на пленного уже с интересом.

— Плакали твои сто грамм, Федор.

— Шут с ними, командир! Я Мунко и закуску бесплатно выставлю!

Пленный снова заговорил — возбужденно, пробуя даже жестикулировать.

— Развяжите его, — приказал Баландин.

Одинцов едва успевал переводить:

— Самолеты недалеко, километрах в восьми. Там озеро. Пятнадцать машин. Летчики живут там же, в казарме. Все они — камикадзе. Ун Да Син часто бывает там. Возит летчикам продукты и белье. Он ненавидит японцев. Они убили его брата. Это было еще до войны, когда строились укрепления на островах. Их строили китайцы и корейцы. Потом рабочих уничтожали — вывозили ночью в море и топили. Ун с братом работали на соседнем острове. Весь их отряд тоже утопили. Четыре тысячи человек. Ун спасся чудом. Его подобрал в море рыбаки. Так он попал сюда. У него не было ни документов, ни жилья, и он стал батраком. Потом пошел в армию вместо сына хозяина. Он не мог отказаться: хозяин грозил его выдать. Тогда бы Уна расстреляли.

— Ничего себе житуха, — сказал Калинушкин. — Либо к рыбам на корм, либо к стенке. Ну и паразиты!

— Самурай, он самурай и есть. Сам себе кишки выпускает, не то что другому. Фашист, в общем, — заключил Рында.

Разведчики замолчали, глядя на пленного с откровенной жалостью. Даже они, сами убивавшие и видевшие убийства, были поражены жестокостью услышанного. Молчал и пленный. Его руки нервно шарили по одежде, а по смуглому, отмеченному печатью страданий лицу пробегали мгновенные судороги. Казалось, корейца терзают какие-то тайные видения.

— Как охраняются самолеты? — прервал Баландин молчание.

— Хорошо. Кроме летчиков, караульный взвод. Пулеметы на вышках. У плотины — в дотах.

— Плотина?

— Да. Там есть плотина.

Баландин едва сдержал радость. Плотина, плоти-

на... Это уже было кое-что. Вернее — все. План отчетливо складывался в голове.

Самолеты уничтожать не придется. Нет надобности жечь или взрывать эти летающие лодки, когда можно взорвать плотину. Уровень озера упадет, и самолеты обсохнут, как киты на отмели. Впрочем, обязательно ли взрывать? Раз существует плотина, существуют и шлюзы. Это элементарно. И стало быть, их можно открыть. Вопрос — какие шлюзы? Плотина скорее всего самодельная. Значит, и шлюзы простейшие. Клинкеты. Обыкновенные задвижки и шпиндели. Тоже элементарно, как закон Архимеда. Но здесь-то и зарыта собака. Допустим, откроем клинкеты. Ну и что? Ну потечет водичка и будет течь до второго пришествия. А дальше? Озеро большое, за час не вытечет. Рано или поздно придут солдаты и закроют клинкеты. И постараются узнать, кто их открыл... Нет, плотину надо взрывать. Ухнуть так, чтобы всем чертям стало тошно. Тогда попробуй заделай. Тут на неделю работы, а за неделю можно десять десантов высадить...

Баландин ликовал. Проблема решалась просто и, как ему казалось, наилучшим образом. Самолеты не поднимутся. К утру от озера останется грязная лужа. Правда, горячие головы наверняка попробуют взлететь. Пусть взлетают! На здоровье! Садиться все равно некуда. Разве что в океан. А это — гроб с музыкой...

Но радость неожиданно померкла. Простая мысль обдала Баландина холодом. Взрывчатка! У них не хватит взрывчатки! Плотина — не пушки. Чтобы своротить ее, нужен центнер тола. Если даже заложить в плотину все, что у них есть, они пробьют только дырку. Дырку, которую можно заткнуть задом. Все летит кувырком, весь план. План, в котором не было изъянов. И вот извольте бриться — взрывчатка!..

Баландин испытывал полную опустошенность. Как гипнотизер после сеанса, вложивший в заключительный номер все силы души и тела, он отрешенно смотрел перед собой, и в его потрясенном мозгу не возникало никаких мыслей.

Подошел Мунко, сел рядом с пленным, стал сматывать аркан. Баландин машинально следил за движениями ненца. Какой-то неясный образ мелькнул в дальних далях сознания. Исчез. Вновь возник, неуловимый, как нетопырь. Баландин напряженно думал. Он уже

знал, что расстановка сил изменилась, что в цепи событий появилось новое звено, но не мог понять, чем вызвана такая неожиданная перемена. Не хватало какой-то детали, чтобы неясная пока мысль приобрела видимые контуры.

Мунко смотал аркан, засунул его за пояс. Снял пилотку, изнанкой вытер мокрое лицо. Прямые жесткие волосы ненца рассыпались, как солома. И тут Баландин уразумел: Мунко! Если обрядить ненца подобающим образом, он сойдет за стопроцентного японца! Выход, черт побери! Плотина всё-таки взлетит, или он ровным счетом ни в чем не смыслит!..

План был предельно прост и на первый взгляд совершенно невыполним, ибо в его основе лежала невероятная мысль. Или почти невероятная. Но Баландин не думал так. Как игрок, на которого снизошло наитие, он в один миг объял внутренним взором и видимое пространство, и отдаленные перспективы. И сделал ставку.

Итак, они отпускают пленного. Именно отпускают, потому что никто, кроме него, не принесет обмундирование для Мунко. Можно, конечно, раздеть корейца, но проку от этого никакого. Даже переодетый, Мунко один ничего не сделает. А пленный знает все: и где самолеты, и как туда добраться, и как пройти посты. И только вдвоем они смогут сделать невозможное — добыть взрывчатку и взорвать плотину.

Это был предел мечтаний; в душе же Баландин не сомневался, что товарищи не согласятся с его предложением. Но на этот случай у него имелось свое собственное мнение. И доводы, которые он считал немаловажными. Он изложил план. Разведчики выслушали Баландина внимательно, но он сразу понял, что никто из них не верит в серьезность его затеи.

— Сказки, командир! — решительно сказал Калинушкин. — Про белого бычка. Разжалобил нас этот жокей. Да отпусти мы его, он через час полк сюда приведет! Кореец! Он нам паспорт показывал? Припечет — арапом назовешься!

— Не вернется он, командир, — поддержал Калинушкина Рында. — Что он — дурак?

— Должен вернуться! — убежденно сказал Баландин. — Надо только растолковать ему все. Не забудьте, что Корея была захвачена японцами. Для самураев ко-

рейцы, как и китайцы, — низшая раса. Это во-первых. Во-вторых — брат. Не думаю, чтобы это было выдумкой. Такие штучки японцы проделывают не впервые. В свое время они уничтожили строителей бактериологических лабораторий в Маньчжурии. Так что, если подумать как следует, Ун должен вернуться. Ему терять все равно нечего.

— Шкуру, командир. Завалится — из него же кишмиш сделают.

— Все будет зависеть от него самого. А ты что скажешь, Влас?

Боцман сосредоточенно соскабливал грязь с сапога.

— Отпустить недолго, командир. Только гарантий, что он вернется, — с гулькин нос. Все это правильно — низшая раса, брат. Однако Иван тоже прав, жить пленному хочется. Продать, может, и не продаст, но чтоб вернулся... Тут характер нужен. А что он за человек? Лучше самим все сделать.

— Как? — спросил Баландин. — Ты же слышал: пятнадцать машин. Как ты их сожжешь? Туда пробраться чего стоит — охрана, летчики, пулеметы. Ну одну, ну две машины от силы сожжем. А остальные? Пока будешь мотаться от самолета к самолету, подстрелят, как чирка. А плотина — дело верное.

— А я и не спору. Но в нашем положении дороже синица в руках, чем журавль в небе. А если продаст? Представляешь?

Баландин представлял. Неудача с корейцем означала полный провал операции и несомненную гибель группы. Японцы не выпустят их живыми. Они здесь как в мышеловке. Но еще не дернули за крючок. Однако дверца может захлопнуться в любую минуту. И не опередят ли они события, отпустив пленного?

Все это Баландин понимал. Очень хорошо, без всяких натяжек и иллюзий. И тем не менее настойчивая мысль о возможности взорвать плотину не покидала его.

Нет гарантий, как говорит Шергин? Есть. Пусть небольшие, но есть. Человек, у которого отняли родную землю и убили брата, не может питать верноподданнических чувств к захватчикам и убийцам. С этим надо считаться. Верно: жить хочется всем, и проще всего предположить, что кореец удерет, если отпустить его. А если вернется? Если он смелый человек?

Рассуждая так, Баландин внимательно присматри-

вался к пленному. Тот сидел, поджав под себя ноги, глядя на разведчиков без страха и тревоги.

Баландин видел многих пленных. И неплохо знал их психологию. Как правило, они раскрывались в первые же минуты. Цепляясь за жизнь, большинство из них заискивали, торговались, юлили и в конце концов без утайки рассказывали обо всем. Некоторые не говорили ничего. Но таких было немного. Такие чаще всего вели себя нагло: пытались угрожать, выставляли нелепые и невыполнимые требования, становились в позу. Собственно, это было то же торгашество, лишь прикрытое громкими словами.

Кореец не походил ни на тех, ни на других. В нем не чувствовалось ни заискивания, ни готовности лизать сапоги тех, от кого зависела его жизнь, ни угодливого мельтешения. Встретив взгляд Баландина, он не отвел глаз, ничем не выразил своего беспокойства.

«Нет, он не трус, — подумал Баландин. — И не предатель. Те ведут себя по-другому. На этого парня можно положиться...»

Назвав пленного «парнем», Баландин только теперь заметил, что тот действительно молод.

«Ему нет и тридцати. Он мой ровесник, если не моложе. Наверное, его тоже где-то ждет мать. Его и брата...»

Баландин больше не колебался.

«Нельзя думать о людях хуже, чем они есть. Иначе можно разувериться во всем. Даже среди немцев были честные и порядочные ребята. Как тот ефрейтор, который приполз однажды к нам в траншеи. Он ничего не принес с собой, никаких документов. Просто он сказал, что ненавидит войну и Гитлера. Его накрыло миной, когда он выступал по радио. Его и операторов. Вместе с установкой...»

— Сержант, — сказал Баландин, — объясни ему все. Все — от альфы до омеги.

— Зря, командир, — сказал Калинушкин. — Как бы локти не пришлось кусать.

— Не каркай, — оборвал его Шергин. — Не один ты кусать будешь. Поживем — увидим.

— Поживешь тут... — пробормотал Калинушкин.

Шергин молча показал ему похожий на гирию кулак.

Одинцов говорил долго. Кореец слушал не перебивая. Когда радист остановился, он некоторое время

молчал, потом что-то сказал — решительно и резко. Одинцов обернулся к разведчикам:

— Он согласен. Он принесет одежду и пойдет с Мунко. Он просит верить ему.

— Хорошо, — сказал Баландин. — Пусть идет. Мы будем ждать его здесь.

Никогда Баландин не испытывал такого нервного напряжения, как в эти нескончаемые минуты, когда, лежа у края площадки, он, не отрываясь, смотрел в дальний конец оврага, куда сбегала блестящая от дождя тропинка. Час назад на ней появился человек; по ней он ушел обратно и теперь должен был появиться вновь. Или не появиться.

Временами Баландин готов был раскаяться в содеянном, и только затаенная надежда, как рефрен звучащая в нем, удерживала его от последнего шага. Да и чем могло помочь это запоздалое раскаяние? Оставалось одно — ждать. Ожидание стало уделом всех шестерых, и никто из них не мог сказать, что грядет с ним — успех или ярость последней отчаянной схватки.

Ун Да Син появился неожиданно. Мунко успел лишь предупреждающе поднять руку, а кореец уже скатился в овраг и, не разбирая дороги, устремился к площадке. Шуршала и волновалась раздвигаемая быстрым телом трава. Сверху казалось, что по дну катится сорвавшийся с обрыва камень.

— Во прет! — удивился Рында. — Как наскипидаренный!

— Застукали, — убежденно сказал Калинушкин. — Чтоб мне сдохнуть, застукали!

Все невольно сжали в руках автоматы, ожидая увидеть тех, кто нагнал на корейца такого страха. Но склон был пуст. Кореец между тем уже взбирался на площадку. Слышалось его тяжелое дыхание и чавканье размокшей земли под ногами. Затем над краем площадки показалось его лицо — мокрое и тревожное. Однако эта тревога исчезла с физиономии корейца, едва он увидел разведчиков. Одним махом преодолев последние метры, он протянул Баландину перетянутый ремнем узел.

— Что случилось, сержант? Почему он мчался как угорелый?

Радист перевел вопрос.

Кореец принялся объяснять, возбужденно блестя глазами и показывая рукой назад.

— Факт, застукали, — сказал Калинушкин.

— Да подожди ты! — остановил его Одинцов. — Никто никого не застукал. Просто Ун боялся, что мы не дождемся его. Ему пришлось запрягать лошадь, и он задержался.

— Какую еще лошадь? — спросил Баландин.

— Он приехал на лошади. Повозка осталась вон там, за оврагом. Он говорит, что на озеро лучше ехать. Если они придут пешком, их могут спросить, зачем они пришли. А так никто не спросит, все привыкли, что Ун приезжает на лошади.

— Молоток! — сказал Калинушкин. — Не гляди, что глаз узкий, а котелок варит. Слышь, Ун? Котелок, говорю, у тебя варганит что надо. Тебя бы к нам на Балтфлот. Адмиралом. Пошел бы в адмиралы, Ун?

— Ну что ты талдычишь? — с неудовольствием сказал Шергин. — Ему же твои слова как мертвому припарки.

— Много ты знаешь, боцман! Кровь из носа: насчет адмирала он усек. Усек, Ун?

Кореец вежливо улыбнулся.

— Видал! — обрадовался Калинушкин. — А ты говоришь!

Баландин все еще держал узел в руках. Напряжение схлынуло, он предчувствовал удачу и не боялся отпугнуть ее неосторожным словом или поспешностью. Однако времени было в обрез. День клонился к закату, а еще ничего не было сделано.

Баландин протянул узел Мунко.

— Давай, — сказал он, — облачайся.

Мунко взял узел и скрылся в траве. Когда он появился оттуда, разведчики не могли удержаться от смеха: ненец выглядел как заправский японец. Форма пришлась ему впору и была, что называется, к лицу.

— Ну, Мунко! — только и вымолвил Шергин.

А Калинушкин фертм прошелся перед ненцем, кланяясь и разводя руками:

— Комси-комса! Наше вам с кисточкой!

Кривляние Калинушкина не понравилось Мунко. Он посмотрел на него потемневшим взглядом:

— Не знаешь ты жизни, Федор! Глупый, как сибир-

ко гуся! — В устах ненца эти слова звучали как самое сильное ругательство.

— Вот те раз! — притворно удивился Калинушкин. — К нему с уважением, а он тебя матом! Какого-то сибико придумал.

— Сибико — это самка, — сказал Одинцов.

Разведчики снова засмеялись, на этот раз над Калинушкиным.

— Ладно, — пригрозил тот, — я ему эту гусыню припомню! Не мог по-человечески обозвать, змей!

— Все, — сказал Баландин, жестом прерывая веселье. — Порезвились, и хватит. — Он достал из-за пазухи планшетку с картой. — Где твоё озеро, Ун?

Кореец помедлил, прикидывая, потом ткнул пальцем в нижний обрез карты.

— Так, — протянул Баландин. — По прямой — километров десять. Учитывая рельеф и вид транспорта, кладем два часа. А? — Он посмотрел на разведчиков. Те согласно кивнули. — Отлично, — продолжал Баландин, — поспеют как раз к темноте. А нам что ни темней, то лучше. Теперь главное — взрывчатка. Ун, что можно раздобыть на озере?

— Он говорит, — перевел Одинцов, — что не знает, есть ли там тол. Но бомбы есть. В складе на берегу.

— Что в лоб, что по лбу, — сказал Шергин. — Бомбы даже лучше. Две дуры килограмм по полста — и хватит. А для затравки пяток шашек с собой возьмут.

«Лошадь кстати, — подумал Баландин. — На себе бомбы не попрешь».

— Далеко от склада до плотины?

— Не очень. Ун говорит, что можно доехать за час.

— Добро. Теперь слушай внимательно, Мунко. Приедете — пусть Ун тебя куда-нибудь спрячет. Маскарад маскарадом, но лучше не лезть на глаза. Дальше. Склад берите ночью, когда все уснут. Часового хочешь не хочешь — придется снимать. Дождись смены и снимай. Тогда у вас часа два, а может, три в запасе будет, смотря через сколько они сменяются. Грузите бомбы — и к плотине. Ну а там сами сообразите, что к чему. Да не забудьте колеса обмотать. Чтобы ни стуку, ни скрипу, понял?

— Понял, командир.

— Тогда собирайтесь. Влас, давай шашки и шнуры.

— Лучше целый заряд взять, командир. У нас есть готовые.

— Неси. Заряд так заряд.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал вдруг Одинцов, — а если к Мунко кто-нибудь пристанет? Разговорчивый какой-нибудь, вроде того в траншее? А Мунко по-японски ни слова.

— Это уж точно, — сказал Калинушкин. — Ни в зуб ногой.

Баландин пожал плечами.

— Тут ничего не поделаешь, сержант. Будем надеяться, что любителей поговорить не найдется. А потом с ним Ун. Догадается, как выкрутиться в случае чего.

— Командир, — подал голос Рында, — а пусть Мунко зубы завяжет. Болят, мол, зубы, отвалите.

— А что? Верно, — сказал Шергин. — Иван молчит, молчит, а скажет — так в точку. Замотай чем-нибудь, Мунко, и мычи, если прицепятся.

Баландин засмеялся.

— Придется замотать, Мунко. Все правильно, ни одна собака не догадается. — Он стряхнул с планшета дождевые капли. — И вот что еще. Надо по возможности блокировать подступы к озеру. На тот случай, если Влас и Федор управятся раньше Мунко. А это без сомнений. Хорошо бы, конечно, сработать синхронно, но чудес не бывает. Плотина у черта на куличках, а танкер рядом. Когда пушки взлетят, заварушка, сами знаете, какая поднимется. Тут и надо помочь Мунко. — Баландин опять смахнул капли с планшета. — Озеро — вот оно. И две дороги. Эта и эта. Первая так себе, вроде тропинки, а вторая грунтовка, хоть на машине кати. Но место для засады есть. Мост. Видите? Устроен — лучше не придумаешь. Слева болото, справа — море. Мост заминировем. Это по твоей части, Иван. Сделаешь что надо и, если попрут, рванешь. Не попрут — еще лучше. А тропку мы с сержантом оседлаем. Сбор здесь, на площадке. Крайний срок — четыре ноль-ноль. Иначе не выберемся. Судно будет ждать вот за этим мысом. Все. Как с зарядами, Влас?

— На полчаса работы.

— Закругляйтесь. Проверь все: кошки, тросá, лодку. Мунко, готов?

— Готов, командир.

— Отправляйтесь. Берешь? — спросил Баландин, видя, что Мунко засовывает за пояс аркан.

— Ненец без тынзея — какой ненец?

— Ну смотри.

— Лакамбой, командир. Прощай!..

Дорога петляла между сопок, взбиралась на пологие гладкие вершины, ныряла в овраги, пересекала многочисленные речки и ручьи. Воды на бродах было немного; виднелось усеянное галькой дно и камни на нем, среди которых шныряла серебристая стремительная форель.

Лошадь входила в воду безбоязненно, с шумом расплескивала ее; светлые струи мутнели; форель молнией кидалась в стороны и пропадала в холодной глубине.

Ун, не оборачиваясь, правил лошадью; свесив ноги, Мунко сидел позади корейца, погруженный, казалось, в созерцание открывавшихся видов. Он думал, и мысли его были короткими и простыми.

Он думал о тундре. С тех пор как он знал себя, он знал тундру — ее неоглядность летом, белые снега зимой, перекочевки, оленье аргиши, косяки крикливых птиц, дымные чумы, в которых всегда пахнет шкурами и рыбой и где женщины ждут мужчин, чтобы накормить их и отдать им свои ласки.

Он вспомнил жену Ванойти и разговор с Калинушкиным. И рассердился на него. Глупый человек Федор. Не знает жизни. Такой жены, как Ванойти, нет ни у кого в стойбище. Большой калым дал за Ванойти Мунко. Десять оленей дал. Лучшие торбаса шьет Ванойти. Все женщины завидуют. Двое детей у них. Оба — хасава нгацекы¹, крепыши. Хорошо. Охотниками будут. Старшему уже десять весен. Когда Мунко вернется, он научит сына стрелять из ружья. И бросать тынзей. Они пойдут в тундру и там поймают оленя. И он покажет сыну, как надо колоть оленя. С одного удара, чтобы не мучить. Покажет, как подрезать сухожилия и снимать шкуру. Мужчина все должен знать. Мужчина — охотник. Пусть растут сыновья. Хорошо. Он спокоен. Ванойти хорошая жена. Он вернется. Они будут сидеть в чуме, пить спирт, есть печень, и он расскажет

¹ Хасава нгацекы (ненецк.) — мальчик.

Ванойти, как воевал. А если бил он ее —так что? Все бьют. Ванойти — нгамзани пеля, часть его плоти. Разве не знает этого Федор? Глупый Федор. Как сибикогуся. И жизнь плохо знает. Совсем не знает. Командир знает, Влас знает, а Федор нет...

Эта мысль вернула Мунко хорошее расположение духа. Он вытащил трубку и стал сосать ее. Потом потихоньку запел, прикрыв глаза и покачиваясь в такт движению повозки.

Он пел старую песню о старике и старухе, у которых было семь сыновей. Первый сын — Харюци, второй сын Вануйта, третий сын волк, еще один сын — лесной медведь, еще сын — белый медведь, еще сын — росомаха, еще один сын — Минлей¹. И отпустил старик своих сыновей в разные места. Харюци и Вануйте он дал оленей. Сыну-волку сказал: «Ты кормись оленями Харюци и Вануйты». Лесному медведю сказал: «На земле питайся». Белому медведю сказал: «Иди к морю, в воде живи!» Росомахе сказал: «Ты ведь не можешь живых зверей добывать, где найдешь падшего зверя — его и съешь! Добудут Вануйта и Харюци в слопец² песка — его съешь!» Минлею сказал: «Ты своим путем иди. С разными птицами ведь справишься».

Затем расплодились они. Опять разделились. Харюци разделил своих сыновей на десять родов. Вануйта своих сыновей тоже на десять родов разделил. И другие разделили. Так стало много ненцев...

Заунывный речитатив наводил на корейца тоску. Он несколько раз с беспокойством оглядывался, но Мунко не замечал его взглядов. Он пел уже о другом, о том, что видел вокруг: о лошади, которая везла их, о траве, цепляющейся за ноги, о пугливых рыбах в воде.

Его нисколько не тревожило то, куда они едут и что их там ждет. Он знал: они приедут, и он сделает все, о чем говорит командир, — возьмет бомбы и взорвет плотину. О, савá!³ Командир хороший ненец⁴. Настоящий хасава⁵. Очень смелый, однако. Не бережет себя. Плохо, что не бережет. Убить могут. Тогда прервется род.

¹ Минлей — мифическая птица.

² Слопец — ловушка.

³ О, савá! — возглас, выражающий в разных случаях разные эмоции.

⁴ Ненец — человек.

⁵ Хасава — мужчина.

Мысль о собственной смерти не отягощала сознание Мунко. Ненец не может умереть на чужой земле — в этом он был твердо уверен. Его отец умер в тундре. И отец его отца. И все ненцы, каких он знал, умирали в тундре. Так было всегда. Покойник хочет в свою землю. Только отступники умирают на чужбине. Но и она не принимает их. И тени изгоев приходят по ночам в стойбища и бродят вокруг чумов. И тогда лают собаки, которые видят их. Нет, он не умрет на чужой земле. Янггу¹.

И когда, миновав очередной овраг, повозка выехала к озеру, ничто не дрогнуло в языческой душе ненца. Он лишь сильнее сощурил глаза, запечатлевая подробности незнакомой жизни.

Стемнялось. В мутной пелене дождя озеро — сильно вытянутый, с голыми берегами овал — выглядело безжизненно и уныло.

Несколько домов стояло на берегу; за ними, как арка моста, вздымалась гофрированная крыша ангара, а еще дальше виднелись самолеты — серо-зеленые неподвижные силуэты, к которым от берега тянулись длинные настилы деревянных пирсов. Людей на берегу не было; дождь с тихим монотонным звоном падал в озеро. Они подъехали к шлагбауму. Как и все шлагбаумы в мире, он был выкрашен в черно-белый цвет, от которого рябило в глазах.

Не слезая с повозки, Ун крикнул. В запотевшем окне караульной будки мелькнуло чье-то лицо. Прислонив к глазам ладонь, человек за окном несколько мгновений рассматривал повозку. Потом скрипнула дверь, и из будки вышел солдат. Вобрав голову в поднятый воротник плаща, он, ни слова не говоря, поднял шлагбаум. Пропустив повозку, солдат закрыл шлагбаум и снова укрылся в будке.

Они тронулись дальше. Ун обернулся и подбадрывающе кивнул Мунко. Ненец ответил ему неразборчивым возгласом.

Во всем деле Мунко не нравилось лишь одно — повязка, которая, как женский платок, закрывала половину его лица. Она раздражала ненца.

«Глупый человек Иван, — размышлял он. — Придумал тряпку. Зачем придумал? Нельзя разве без тряпки? Ванойти смеялась бы над ним».

¹ Янггу — нет.

Самолюбие ненца страдало, и он с удовольствием снял бы повязку, но, вспоминая наказ Баландина, терпел и делал вид, что выдумка товарищей никак не задевает его. Проехав метров сто вдоль берега, Ун свернул к длинному бревенчатому бараку. Окна барака были темные, но изнутри доносились громкие голоса, выкрики и нестройное пение.

— Содзюся¹, — сказал кореец и красноречиво щелкнул пальцем по горлу. Мунко понял его.

— Спирт, — сказал он. — Хорошо.

Они миновали барак, еще раз свернули и остановились у небольшого сарая с навесом. Ун спрыгнул с повозки, ввел лошадь под навес. Открыл дверь, знаком пригласил Мунко за собой. Сарай был наполовину набит сеном. Притворив дверь, кореец, не мешкая, принялся разгребать сено. Он, словно крот в землю, вгрызался в плотно спрессованную пахучую массу, и скоро из лаза торчали лишь стоптанные подошвы его ботинок. Затем исчезли и они. Несколько минут в сарае слышались возня и сопение, потом из норы показалось вспотевшее, усыпанное сенной трухой лицо Уна. Поднявшись, он выразительно посмотрел на Мунко. Ненец подошел, поправил на поясе нож, без колебаний полез в нору. Ун что-то сказал вслед и стал забрасывать лаз. Звякнула щеколда, и в сарае наступила тишина.

5

Солдат Доихара Сэйдзи считал себя настоящим японцем.

Он обожал несравненного микадо, почитал законы и священную гору Фудзи, не прелюбодействовал и свято верил в великое будущее горячо любимой О-я-симы². Правда, он не был самураем, и ему не разрешалось носить мечи, но в этом были виноваты неудачливые предки, оставившие в наследство Доихара мотыгу вместо самурайских мечей. Впрочем, Доихара не был в особой обиде на предков: по крайней мере, ему не придется делать харакири, ведь он всего-навсего простой иттохэй — солдат первого разряда. И он всегда довольствовался тем, что имел.

¹ Содзюся — летчики.

² О-я-сима — древнее название Японии.

Когда началась война на Тихом океане и Доихара призвали в армию, он воспринял оба события с невозмутимостью человека, давно ожидавшего их. Он не сомневался в победе. Ведь храбрые японские моряки и летчики в первый же день войны утопили в Пирл-Харборе чуть ли не весь американский флот, а через несколько месяцев отняли у англичан Гонконг и Сингапур. Нет, такая война не могла затянуться надолго, и Доихара искренне жалел, когда стало известно, что полк переводят на север. Триумф и лавры доставались другим.

Однако вскоре выяснилось, что славу делить не пришлось. Союзники перешли в наступление, войска императора несли тяжелые потери, и Доихара возблагодарил всемилостивую и всеблагую Аматерасу¹ за чудесное спасение.

Конечно, жизнь на Курилах была не из легких, но она вполне устраивала Доихара. Русские воевали далеко на западе, и единственное, от чего страдал Доихара, так это от скверного курильского климата. Особенно зимой, когда неделями мела пурга — то ледяная, то с мокрым снегом. В таких условиях немудрено было заработать ревматизм, а Доихара находился уже в том возрасте, когда люди начинают заботиться о здоровье. Но худшее поджидало Доихара впереди.

В восемнадцатый год эры Сёва² возле острова потерпел крушение русский танкер. В казармах поговаривали, что дело обошлось не без вмешательства соотечественников Доихара, будто бы переставивших навигационные знаки, но сам Доихара не верил разговорам. Русские всегда были плохими моряками. И уж конечно, они сами вылезли на рифы.

Как бы там ни было, а целехонький танкер плотно сидел на камнях, и это обстоятельство сыграло роковую роль в жизни солдата Доихара Сэйдзи.

Неизвестно, кому пришла в голову мысль поставить на танкер пушки, но скоро они стояли там. Танкер превратился в форт, четыре орудия которого обслуживали пятьдесят артиллеристов, в том числе и заряжающий Доихара.

Настали трудные времена. Море редко бывало спо-

¹ Аматерасу — богиня солнца, главное божество древней японской религии — синтоизма.

² Соответствует 1943 году.

койным, и пятьдесят человек жили среди постоянного грохота обрушивавшихся на танкер волн. В сильные штормы корпус судна гудел, словно барабан, по которому били громовики¹, скрежетал и раскачивался. Особенно страшно было по ночам, когда волны, казалось, вот-вот сорвут танкер с каменного основания и повергнут в холодную бездну, разверзшуюся прямо за тонким железом бортов. В такие ночи Доихара молился.

А недавно началась война с русскими.

Они, оказывается, победили, хотя поручик Хата неоднократно говорил, что немцы разобьют Россию, и теперь перебросили войска сюда, чтобы помочь американцам и англичанам. Но им не удастся взять даже острова, потому что таких укреплений не взять никому. Русские напрасно потеряют время, а из-за их упрямства Доихара придется неизвестно сколько торчать на этом железном гробу...

Такие не очень веселые мысли владели солдатом Доихара Сэйдзи, час назад заступившим часовым. Расхаживая взад-вперед по мокрой и скользкой палубе, он то и дело вытирал лицо и с нетерпением ожидал смены. Где-то в темноте, на другом конце танкера, находился второй часовой, и Доихара с удовольствием составил бы ему компанию, но он трепетал при мысли, что поручик Хата выйдет проверять посты и не застанет Доихара на месте. Тогда ему несдобровать, потому что рука у поручика тяжелая. И вообще он черствый и бездушный человек. Замучил солдат никому не нужными учениями и тревогами, придирается по каждому пустяку. Даже сейчас, на посту, нельзя чувствовать себя спокойно, потому что не знаешь, когда поручику взбредет в голову проверить караулы. Смешно подумать, что на танкер могут напасть! Однако поручик прожужжал об этом все уши. Говорят, он страдает бессонницей, вот и выдумывает всякое, чтобы не скучать по ночам. Разве возможно пробраться на танкер?! Даже ниндзя², эти ужасные демоны в человеческом обличье, которые могут летать по воздуху и ходить по воде, не отважились бы на такой безрассудный поступок. Но что поделаешь, поручик Хата не верит в ти-

¹ Громовики — по японскому народному поверью, черти устрашающего вида, которые бьют в огромные барабаны.

² Ниндзя — члены религиозно-террористической организации средневековой Японии. Молва приписывала им сверхъестественные способности.

шину, и Доихара приходится мокнуть и мерзнуть, выстаивая положенные два часа.

Вздохнув, Доихара подошел к одной из пушек и сел у щита, поставив арисаку¹ между колен. Сталь щита холодила спину, но все же у пушки было теплее, чем на открытом месте. Доихара стал думать о доме.

Только в армии он по-настоящему оценил, что значит своя семья и свое жилище, куда можно возвратиться после трудов, подсесть к хибати² и наслаждаться покоем и теплом. И даже выпить чуточку сакэ, а потом лечь спать с собственной женой и сколько хочется ласкать ее горячее и покорное тело.

Доихара опять вздохнул.

Что ни говори, а мужчине трудно без женщины. А здесь нет даже публичных девок, и солдаты буквально озверели. Пока их не засунули в эту коробку, было легче. Девок привозили часто, но он, Доихара, ни разу не ходил в эти дома, где холостые и женатые с одинаковым бесстыдством предавались блуду...

Постепенно мысли Доихара приняли иное направление; он вспомнил, что уже настала ночь осеннего полнолуния, любимого праздника всех японцев, и с завистью подумал о тех, кто встречает его под родной крышей. В деревне сейчас в каждом доме горят разноцветные бумажные фонарики, и хозяева уже поставили в фарфоровые чашки рис и сакэ — пищу и питье для мертвых, потому что сегодняшней праздник — это праздник поминовения усопших. Их души три дня гостили на земле и сегодня возвращаются в свой мир. И нужно получше проводить их.

Здесь Доихара задремал, и ему представилась деревня, огни на полуночных улицах и праздничная шумящая толпа...

Внезапно сон отлетел от него: он увидел ниндзя. Чернее мрака, окружавшего танкер, тот возник над бортом, на мгновение замер и вслед за тем бесшумно спрыгнул на палубу.

Доихара затрясло. Он знал, почему появился ниндзя: демоны являются всегда, стоит только подумать о них. А это к несчастью. Забыв о винтовке и о своих обязанностях, Доихара как замороженный следил за призрачной, едва шевелящейся тенью. Его напряжение

¹ А р и с а к а — японская винтовка.

² Х и б а т и — бронзовая или медная жаровня.

было столь велико, что он не заметил, как появился второй ниндзя. Доихара догадался об этом минутой спустя, когда тень у борта вдруг увеличилась, странно задрожала и неожиданно распалась на две, одна из которых тотчас пропала в темноте, а вторая направилась прямо к Доихара. И хотя его скрывала пушка, он знал, что это плохая защита — ведь ниндзя видят в темноте, и, оцепенев, безвольно ждал своей участи.

Ниндзя приближался.

Он двигался медленно, но плавно и легко, будто не шел по мокрому железу, а скользил над ним. Иногда он останавливался, как останавливается змея, подкрадывающаяся к лягушке, затем опять начинал медленно и плавно скользить. Наконец он приблизился настолько, что Доихара расслышал его дыхание. Нужно было только протянуть руку, чтобы коснуться ниндзя. И тут произошло такое, от чего у Доихара захватило дух: ниндзя вдруг споткнулся! Он даже взмахнул руками, стараясь не упасть, и сдавленно зарычал то ли от боли, то ли от неожиданности.

Доихара не видел предмета, вставшего на пути ниндзя, но знал, что на том месте над палубой торчит железный вентиляционный грибок. Это о него споткнулся ниндзя. Выходит, он не заметил препятствия? Но тогда что же это за ниндзя?! Настоящие ниндзя видят в темноте как днем, а этот споткнулся да еще зарычал, словно его прижгли раскаленным железом!..

Кровь отхлынула от щек Доихара. Только теперь он начал понимать происходящее. Перед его мысленным взором встало грозное лицо неумолимого поручика Хата, и это видение пересилило все страхи. Доихара вновь осознал себя настоящим японцем и верным солдатом императора. Сжав арисаку, он стремительно поднялся и, как на плацу, сделал выпад.

Он почувствовал, как штык вошел во что-то мягкое. В плоть. И это было последним земным ощущением солдата Доихара. Он не успел принять исходного положения: вырванная какой-то страшной силой, арисака отлетела в сторону, и Доихара услышал хруст собственных костей. Та же сила, которая перед этим вырвала у него из рук винтовку, сдавила его горло, и он умер прежде, чем обмякшее тело свалилось на палубу.

...Отпустив японца, Шергин разогнулся и прислушался. На танкере все было по-прежнему спокойно.

Бились волны, порывами налетал ветер, и в один из промежутков Шергину показалось, что он услышал короткий не то всхлип, не то стон, донесшийся с кормы танкера, куда минуту назад ушел Федор Калинушкин. Звук был неясен и мимолетен, но Шергин нисколько не сомневался в его происхождении: там, в темноте, только что умер или умирал человек. Кто — этого Шергин не знал. Он был уверен в друге, но собственная оплошность поколебала его уверенность и заставила разведчика замереть в ожидании. С секунды на секунду тишина могла взорваться, и это означало бы, что Калинушкину не удалось снять часового; в одинаковой мере события могли сохранить свой первоначальный ход, и это значило бы, что Федор жив и сейчас пробирается назад.

Прошла минута и другая. Недра корабля безмолвствовали. Шергин перевел дух, и тотчас острая боль пронзила бок и отдалась во всем теле. Оно налилось слабостью, на лице разведчика выступил холодный пот. Чтобы не упасть, Шергин ухватился за щит пушки и сполз по нему на палубу. Перед глазами поплыли радужные круги. Стиснув зубы, Влас усилием воли удерживал уходящее сознание. Постепенно слабость стала проходить, оставалась только боль. Шергин расстегнул ватник, задрал гимнастерку, сунул под тельняшку руку. Нащупал рану. Она была мягка и нежна, как тело устрицы. Кровь вытекала из нее тонким горячим ручейком.

Зажав рану ладонью, Шергин другой рукой вытащил из кармана индивидуальный пакет. Зубами разорвал его, приложил к ране тампон, стал туго наматывать бинт. Ему казалось, что под марлей тлеет кучка горячих угольев.

Шорох за спиной заставил Шергина позабыть о боли. Конечно, это мог быть только Калинушкин, однако на всякий случай разведчик вытащил нож. Но тут же спрятал его, услышав негромкий условный свист.

Шергин ответил. Темный силуэт выскользнул из-за пушки и приблизился к нему.

— Ну? — спросил Шергин.

— Капут махен, — коротко ответил Федор. Его, видимо, удивила странная поза Шергина. Он опустился рядом с ним на корточки и, разглядев повязку, встревоженно спросил:

— Ты что?

— Пропорол, сволочь, — Шергин кивнул на труп Доихара.

— Сильно?

— Сильно не сильно, Федя, а дырка, вот она. Помоги замотать и тащи заряды. Придет смена, нам с тобой крышка.

Перевязав боцмана, Калинушкин помог ему подняться.

— Водка у тебя? — хрипло спросил Шергин.

— В мешке.

— Неси.

Калинушкин мгновенно растворился в темноте.

Шергин посмотрел на часы. Было половина третьего. Смена могла появиться или через полчаса, или в четыре.

Вилка, подумал Шергин, и поди догадайся, когда будет накрытие. Придется рассчитывать на худшее, и, стало быть, у нас есть только полчаса. Даже меньше, потому что нужно успеть спуститься в лодку. Значит, минут двадцать. Хватит. Заряды готовы, а вставить трубки и поджечь шнуры — минутное дело. Федор еще раз прогуляется на корму, а он управится здесь. Заряды четырехкилограммовые, от пушек останутся головешки... Вот только бок. Надо же так нарваться! Как последний салага! Но кто думал, что этот косоглазый станет прятаться, вместо того чтобы караулить! Выскочил как черт из коробки. Хорошо, хоть не в точку попал. С перепугу, видно...

Появился Калинушкин, волоча мешок с зарядами.

— На, — он протянул Шергину флягу.

Шергин отвинтил крышку и сделал несколько больших глотков. Водка была холодная и оттого почти безвкусная, и Шергин пожалел, что во фляге не спирт. Спирт лучше всего заглушает боль и действует быстрее, а для него сейчас главное — продержаться эти двадцать минут. А там можно будет просто бултыхнуться за борт, Федор выловит.

Они быстро приготовили заряды.

— Давай на корму, Федя, — сказал Шергин. — Поджигай и вали назад. Времени у нас, сам знаешь, кот наплакал.

— Знаю, — отозвался Калинушкин.

Взяв заряды, он уже собирался юркнуть в темноту,

но не успел: ослепительно белый, почти космический свет вспыхнул у них над головами, опережая вой сирены и беспорядочные выкрики вскакивающих по тревоге людей.

6

Ун вел лошадь под уздцы. На дороге то и дело встречались лужи и колдобины, и кореец первым вступал в них, нащупывая ногами колею и осторожно направляя лошадь.

В двух шагах впереди ничего нельзя было разобрать, но это не особенно беспокоило корейца. Он хорошо знал дорогу и мог бы пройти по ней с завязанными глазами. Его тревожило другое — шум, который они создавали. Несмотря на все старания Уна, перед каждой ямой до предела замедлявшего движение, лошадь шлепала по лужам, как слон по болоту. Да и повозка гремела, точно железная, когда колеса наезжали на камень или срывались в особенно глубокую рытвину.

Правда, пока это было неопасно, но скоро они должны были обогнуть озеро, и тогда часовой с плотины мог услышать шум.

«Нужно остановиться в лощине, — думал Ун. — Оттуда до плотины не больше половины ли¹. Я подожду, а тем временем русский убьет часового. Тогда мы подъедем и заложим бомбы...»

Сложные чувства владели корейцем.

С того момента, когда его, связанного, притащили на площадку и он увидел бесстрастные и суровые лица незнакомых людей, одетых в пятнистую невиданную одежду, он понял, что его путь каким-то неведомым образом пересекся с их судьбами.

От незнакомцев веяло такой силой, таким спокойствием и скрытой опасностью, что, будь познания корейца обширнее, он принял бы этих людей за существ с иной планеты. Но такая мысль не приходила ему в голову. Он был неграмотным крестьянином и не подозревал о многообразии и бесконечности вселенной, равно как и о существовании многих высоких понятий и категорий. Если бы у него спросили, что заставило его согласиться на участие в смертельном и рискованном

¹ Ли — мера длины, около 400 метров.

деле, он не ответил бы. Не думая о сути и взаимосвязи явлений, он следовал какому-то внутреннему позыву, который внушал ему уверенность в правде его решений и поступков. И эту правду он впервые почувствовал в голосе и прочел в глазах никогда им ранее не виданных людей. Он мог бы не вернуться к ним и даже предать их, но не сделал ни того, ни другого, и, шагая по темной дороге, проваливаясь в рытвины и ухабы, вымокший и уставший от непривычного внутреннего напряжения, он тем не менее перебарывал его и думал лишь о конечной цели так внезапно свалившегося на него дела.

Он не сомневался в успехе. Только случайность или чрезвычайные обстоятельства могли помешать им выполнить задуманное. Но никаких помех пока не было и, как ему казалось, не предвиделось. Они все сделали чисто. Никто не видел, когда они выехали. Ун не такой дурак, чтобы ехать старой дорогой. Он провел лошадь по воде, а на ней следов не остается. Склад они закрыли, а труп часового спрятали. Его можно искать хоть до конца жизни. А кровь смоем дождь. Летчики в казарме? Они тоже ничего не видели. Они перепились и ёрланили свои песни. А что им делать еще? Их ожидает последний полет. Их нагрузят бомбами, и они спикируют на палубы кораблей. Они сумасшедшие, эти летчики. У них у всех белые глаза... Часовой на плотине? Русский убьет его. Это не человек, а демон. Часовой у склада даже не вскрикнул, когда русский ударил его ножом. Так будет и на плотине. Никто не увидит их. Ночь. Солдаты спят, а когда бомбы взорвутся, Ун и русский будут уже далеко. Он отомстит за брата. И за всех тех, кого японцы утопили в ту страшную сентябрьскую ночь, воспоминания о которой преследуют его, как кошмар.

...Ун был третьим ребенком в семье. А всего детей было восемь, и, конечно, семье жилось нелегко. Но все же у них был свой чиб¹ и крохотное поле, на котором они выращивали чумизу и гаолян. После работы все собирались в доме, ели лук и бобы, а потом женщины садились плести соломенные сандалии для продажи, а мужчины собирались у себя, чтобы покурить и послушать рассказы отца.

Так шли годы, и ничего не менялось в деревне, но

¹ Ч и б и — небольшой корейский дом.

однажды из города приехал чиновник и объявил о мобилизации. Япония готовилась к войне, и нужно было строить укрепления. На работы забирались все здоровые мужчины от восемнадцати до сорока пяти лет. Так Ун с братом оказались на островах.

Вместе с другими рабочими они долбили твердую, как камень, землю, рыли котлованы, пробивали тоннели и подземные переходы. Работали с утра и до вечера, и с утра и до вечера их охраняли молчаливые солдаты с короткими винтовками за спиной. Иногда на стройку приезжали какие-то военные, и в такие дни рабочим совсем не давали разогнуться.

Ночью в бараках кое-кто поговаривал, что надо бежать со стройки, но таких слушали с недоверием и опаской. Да и как можно было убежать с острова, когда кругом было море. Единственное, чем утешали себя измученные непосильной работой люди, так это воспоминания о прежней жизни, которая теперь казалась им раем. Ун с братом спали на нарах рядом, и бывало, что всю ночь они проводили за разговорами о далеком доме, о сестрах и братьях, оставшихся в родной деревне.

Так было и в ту темную душную ночь. Уже почти все спали, когда в барак пришли солдаты. Они подняли рабочих, вывели их на улицу и строем повели куда-то. Пронесся слух, что всех отправляют на родину, и люди радостно переговаривались, не замечая ни дождя, ни порывов ветра. Колонну привели на берег. Желтые фонари раскачивались над пирсом, возле которого темнел силуэт причаленной баржи.

Рабочих посадили в трюм. Он был сырой и холодный, но на это никто не обращал внимания. Всем хотелось домой, под синее небо. Трюм закрыли, над головой прогрохотали по палубе солдатские ботинки, и катер потащил баржу в море. Волны швыряли ее, и скоро у большинства начались приступы морской болезни. Стоны людей заглушались хлюпаньем волн, грохотом и скрипом расшатанных переборок. Никто не знал, сколько уже прошло времени; никто ни о чем не думал. Прижавшись друг к другу, люди отупело дожидались конца своих мучений.

И вдруг кто-то закричал, что в трюм прибывает вода. Поднялась паника. Все вскочили и стали колотить в переборки. Многие бросились к люку. Но он был за-

крыт снаружи. А вода прибывала. Теперь уже все слышали ее зловещее клокотанье. Вопли людей, которых обуял ужас смерти, слились в один звериный вой.

Оторванный в суматохе от брата, Ун вместе с другими метался и кричал в темноте трюма, пытаясь найти хоть какую-нибудь лазейку. Но ее не было. Повсюду Ун натыкался на железо.

Баржа погружалась. Вода уже доходила до груди и продолжала прибывать. Не выдержав ее напора, со звоном лопнула одна из переборок. Ун устремился к пролому. Чьи-то руки цеплялись за него, но он отдирали их от себя, с безумной яростью пробиваясь вперед. Срывая с тела куски кожи, он протиснулся в пролом. Здесь, за переборкой, вода доходила уже до потолка, и, плавая в ней, Ун случайно уцепился за какой-то рычаг. Он рванул его и с бешеной радостью ощутил, как над головой открылась узкая горловина, в которую со свистом устремился оставшийся в барже воздух...

Над морем стояла кромешная тьма. Баржа уже едва возвышалась над водой, и Ун, не раздумывая, прыгнул за борт. Он плыл до тех пор, пока не почувствовал, что силы и сознание оставляют его. Некоторое время он еще пытался удержаться на воде, но тут в голове у него вспух и лопнул раскаленный добела шар...

Очнулся он на берегу. Возле Уна, рассматривая его хитрыми сощуренными глазами, сидел пожилой японец. Когда Ун подкрепился чашкой горячей сакэ, японец рассказал ему, как он на своем кавасаки подобрал Уна в море. Видимо, японец догадывался кое о чем и раздумывал, как ему поступить. Он не собирался укрывать Уна, но времена наступали тяжелые, ему требовался бесплатный работник. Так Ун сделался батраком. А когда сына хозяина призвали в армию, вместо него пошел служить Ун. Чиновников, получивших от хозяина Уна солидный куш, не интересовало ни прошлое вновь испеченного рекрута, ни тем более его будущее...

Не догадываясь о переживаниях своего помощника и провожатого, Мунко сидел на повозке и следил за тем, чтобы бомбы не бились друг о друга, когда колеса проваливались в очередную рытвину. Ненец был доволен. Он наконец-то развязал и выбросил повязку и снова чувствовал себя мужчиной.

Все идет так, как сказал командир. Они приехали, и Ун спрятал Мунко. Хорошую нору сделал. Тепло в

ней, как в чуме. Мунко не замерз, пока дожидался. А потом Ун пришел и повел его к складу. Часовой глупый. Сидел как хабэвко¹ под снегом. И умер как глупец. Они открыли дверь и взяли бомбы. И теперь едут. Долго, однако. Командир беспокоиться будет. Но разве виноват Мунко? Даже старуха Парнэ² не увидит сейчас дорогу. Только Ун видит. Настоящий человек Ун. Мужчина.

Повозка внезапно остановилась. Думая, что они приехали, Мунко соскочил на землю. Уна не было видно. Мунко наугад двинулся вперед и натолкнулся на корейца. Тот стоял рядом с лошадью, зажимая ей морду руками. Разглядев Мунко, он прижал к губам палец.

Мунко затаил дыхание. Сначала он ничего не услышал, но спустя мгновение сквозь шелест дождя до слуха донеслись чьи-то громкие голоса. Кто-то шел навстречу повозке.

Медлить было нельзя. Ун потянул лошадь в сторону. Не чувствуя под ногами наезженной дороги, она заупрямилась, замотала головой, пытаясь вырваться из рук ездового. Но Ун был начеку. Он быстро схватил лошадь за нижнюю губу и с силой перекрутил ее. Подчиняясь боли, лошадь послушно пошла за корейцем. Въехав в траву, они остановились и замерли. Загородив собой корейца, Мунко вытащил нож. Судя по голосам, двое или трое людей прошли мимо них и стали удаляться. Немного подождав, Ун снова вывел лошадь на дорогу. Мунко занял свое место на повозке, и они поехали дальше.

Встреча насторожила и обеспокоила обоих. Но в отличие от Мунко, устремившего все внимание вперед, Ун думал теперь и о тыле. Он знал определенно, что им встретились солдаты, караульные с плотины, которым что-то понадобилось на озере. Они могли вернуться в любое время и помешать диверсии. Их приход мог явиться той самой случайностью, которую кореец в своих планах практически скидывал со счета.

Была и еще одна причина для беспокойства. Солдаты могли задержаться на озере, и тогда Ун рисковал

¹ Хабэвко — куропатка.

² Парнэ — богиня тьмы у ненцев. Представлялась в образе хромой, некрасивой старухи.

столкнуться с ними на обратном пути. Конечно, он будет наготове и постарается первым обнаружить солдат, но может случиться и наоборот. Тогда при всем желании он не отвертится. Ездовой, без надобности путешествующий ночью, — одного этого хватит для обвинения. Когда же взлетит плотина, с ним и вовсе перестанут церемониться. А средства развязать ему язык у японцев найдутся...

Но, несмотря ни на что, намерения Уна не изменились. Он лишь чаще оглядывался назад, всматриваясь и вслушиваясь в окружающий дорогу мрак. Наконец, различив что-то, снова свернул на обочину. Повозка накренилась, подпрыгнула раз-другой и встала.

Мунко почувствовал на своем локте руку Уна. Ненец спрыгнул, и они сошлись в темноте, точно заговорщики.

Плотина была где-то рядом. Ее с головой выдавал шум падающей с высоты воды. Но, видно, перепад уровней и напор были небольшими, потому что плеск перекрывало ровное мощное гудение, словно поблизости вертелись крыльчатки вентиляторов или насосов. Впрочем, так могло и быть, если, кроме плотины, здесь располагалась еще и водокачка.

Показав рукой в направлении шума, кореец изобразил затем шагающего часового и дотронулся до висевшего на поясе Мунко ножа. Разведчик понял его. Откинув с головы капюшон мажхалата, он скрылся в темноте. Ун достал из повозки торбусовсом, подвесил ее лошади на шею и приготовился ждать.

Долго разыскивать плотину не пришлось. Преодолев кочковатое болотце, Мунко, не задерживаясь, перемахнул через какую-то канаву и уперся в начало дамбы. Здесь он залег и стал вслушиваться в плески и гудение.

Но вскоре он понял, что выбрал неудачное место. Он видел только начало плотины, вернее, один из ее концов; другой же был скрыт от него. Подумав, Мунко решил перебраться к середине дамбы, но вспомнил, что этого сделать не удастся: под дамбой проходила река. Оставалось одно — подняться наверх.

Распластываясь, вжимаясь в дерн, ненец, как паук по стене, пополз по откосу. Через минуту разведчик оказался у цели. Один только шаг отделял его от верхнего основания усеченной земляной пирамиды. Если ча-

совой находился поблизости, этот шаг мог оказаться для Мунко последним. И он не торопил события.

Прислонившись ухом к земле, он старался уловить хотя бы малейшее колебание почвы, которое бы подсказало ему местоположение часового. Гудение мешало ненцу, но он заставил себя не обращать на него внимания, весь сосредоточившись на одном. Однако ни единый звук не выдавал присутствия поблизости человека.

И тогда Мунко решил выглянуть. Его голова поднялась над краем дамбы, словно над бруствером. Но как ни кратковременно было это движение, кошачьи глаза ненца успели разглядеть часового. Тот бесформенным черным силуэтом маячил в дальнем конце дамбы.

Мунко позволил себе расслабиться. Теперь, незамеченный и невидимый, он мог играть с часовым как кошка с мышью. Но не больше, потому что снять его Мунко не мог: ни он, ни оставшийся на дороге кореец не знали, когда японцы сменяют посты, и всякий риск по этой причине был равносителен самоубийству. Только это и спасало часового от немедленной и мгновенной смерти. Как ни велико было искушение Мунко расправиться с постовым, он приказал себе пока не думать об этом. Человек, которого он должен был убить, еще спал в караульном помещении и вряд ли предчувствовал, что смерть уже поджидает его.

Время над плотиной остановилось. Разгоряченное тело Мунко начало остывать, разведчика мучила жажда. Рядом текла река, но Мунко старался не думать о ее прохладной живительной влаге. Любое неосторожное движение могло выдать ненца с головой, а он согласился бы умереть, чем провалить задание. Он лизал мокрую траву и, не сводя с часового глаз, дожидался прихода смены.

Вместе с ожиданием росло беспокойство о корейце, который в полном неведении сидел сейчас под дождем и нервы которого могли не выдержать выпавшей на их долю нагрузки. А без помощи корейца задача Мунко усложнялась во много раз. Но, вспоминая все, что сделал Ун за прошедший день, Мунко успокаивался и вновь принимался лизать траву.

Часовой между тем уже не стоял на месте, а расхаживал взад-вперед по дамбе и проявлял все признаки нетерпения, которые проявляют караульные, когда смена задерживается. Японец проходил так близко от

Мунко, что тот явственно ощущал исходящий от часового тяжелый запах мокрой одежды, давно не стиранного белья и немытого тела. Чужие запахи раздражали Мунко, и он едва сдерживался, чтобы не отворачиваться при приближении часового.

Наконец впереди слышались шаги и голоса. Часовой что-то крикнул и трусцой поспешил навстречу идущим. Процедура смены заняла не больше минуты. Скороговоркой были сказаны обязательные фразы, и новый караульный занял свое место, завистливо провожая смененного, который, забыв о том, что перенесенных невзгодах, шагнул за разводящим к караульному помещению, где его ожидали несколько часов безмятежного сна.

Мунко воспрянул. Вынув из-под пилотки какую-то тряпицу, он насухо вытер руки и достал нож.

7

Добравшись до моста, Иван Рында с обстоятельностью, которой всегда отличались его действия, осмотрел «объект». Мост был как мост — полтора десятка бревен, скрепленных квадратными железными скобами. Расположен он был и в самом деле удачно: справа от дороги начинался обрыв, слева лежали болотистые непропуски.

«Сюда бы пулеметик, — подумал Иван, — можно было бы дров наломать».

Окончив осмотр, он занялся делом — вынул и стал налаживать самодельную мину. «Самodelки» были страстью Ивана. Еще в партизанском отряде он без конца мастерил их и достиг в этом занятии выдающихся результатов. Его тяжелые руки оказались специально созданными для возни с проводками и взрывателями. Через эти руки прошли тысячи мин, гранат и снарядов, и ни один взрыватель в них не сработал преждевременно.

Установив мину, Иван выбрал местечко посуше и лег, положив рядом автомат и две «лимонки» на всякий случай. Несколько минут он ворочался в траве, устраиваясь поудобнее, и наконец уgomонился. И сразу же до смерти захотел курить. Чтобы как-то отвлечься от мысли о куреве, Иван достал самодельный наборный мундштук и по старой партизанской привычке принялся грызть горьковатый, пахнущий табаком черенок.

Конечно, если бы не святой закон разведчиков — не курить на задании — он бы высосал втихую махорочный «гвоздик», тем более что в такой глуши и под таким дождем ни один самый чуткий нос не унюхал бы дыма. Но уговор, как говорят, дороже денег, и Иван стойко переносил муки табачного голода. Гораздо больше его не устраивало само задание. Подумаешь, заминировать мост! Он не считал это событием и с горячностью молодости завидовал Калинушкину и Шергину. У тех действительно было дело.

Еще днем, когда они наблюдали за танкером, Иван в глубине души надеялся, что взрывать пушки пошлют его. Он уже представлял, как лезет на борт, как снимает часового и закладывает заряды. Но командир рассудил по-своему. Послал Калинушкина и Власа, и по этому поводу Иван ничего не мог возразить. Ребята что надо, кому хочешь рога свернут. Но с пушками лучше управился бы он. С плотиной дело другое. Тут как ни крути, а Мунко никем не заменишь. Вылитый самурай.

Иван вспомнил кислую физиономию ненца, когда тот, наряженный, предстал перед разведчиками, и рассмеялся. Картина!

Но командир рисковал. А если бы тот фрукт не вернулся? Сливай воду — их взяли бы голыми руками. Ну не совсем, конечно, голыми, кое-кого и они бы «уговорили», не маленькие. Но ведь вернулся! И с Мунко поехал. Может, там и продаст? Нет, не продаст. По морде видно. За брата мстит. Командир сразу все понял. А они, как бараны, упирались. Командиру бы орден за это. Получит, дай только вернуться. И им что-нибудь обломится, по «Звездочке» как пить дать.

Иван подумал о «Звездочке» не случайно. Была у него такая «хитрая» примета — желать одного, а говорить о другом. Этим он как бы приманивал к себе удачу, убеждал себя в том, что сбудется то, о чем по-малкиваешь.

Ему, например, хотелось иметь медаль «За отвагу». Была у него и «Звездочка», и «Знамя» было, а «За отвагу» не было. Не представляли Ивана к этой почетной медали. Один раз даже к «Славе» представили, да не утвердил какой-то штабист наверху. Сопливый еще, сказал. Командир жалобу писал, а потом его ранило. Так и накрылась «Слава». И даже медалью не замени-

ли, тыловые крысы. Поползали бы сами на брюхе, небось подобрели бы...

Передумав обо всем, Иван начал томиться. Ни одного постороннего звука не слышалось вокруг, ни единой живой души не ощущалось возле. Шумело под обрывом море, сыпал и сыпал дождь.

А между тем лишь минуты отделяли шестерых людей от роковых событий, от того момента, когда непрочная цепь причин и следствий начнет раскручиваться, словно сорванная с катков танковая гусеница.

Уже готовился к обходу постов японский поручик.

Уже Мунко, сняв часового, закладывал в плотину бомбы.

Уже навстречу своей судьбе ехал по темной дороге кореец Ун.

Но еще не спал в своем бронеколпаке прикованный к пулемету солдат-камикадзе, который через несколько минут пошлет в грудь Мунко смертельную очередь.

Еще стояли в ангарах холодные танки, которые встретит у моста двадцатитрехлетний Иван Рында.

Еще не была дослана в ствол миномета мина, которая ранит Баландина.

Но эти минуты истекали, и, когда последняя канула в вечность, над миром грянули автоматы. Они гремели, как набат, как аккорды торжественного реквиема, оплакивая мертвых и прославляя живых...

Боль и отчаяние захлестнули душу Ивана Рынды.

Обратившись в ту сторону, где над морем, как следы метеоров, метались и гасли на лету огненно-белые трассы, он по грохоту и доносившимся крикам пытался представить себе ход так неожиданно начавшегося боя.

Еще минуту назад ничто не предвещало его; теперь же боевые звуки становились все громче и ожесточеннее, все беспощадней и сильнее; и эта беспощадность, это непрерывное нарастание огня не могли продолжаться вечно. Они требовали исхода, и этим смертным истечением могла стать только гибель Калинушкина и Шергина. Что могли сделать двое, пусть сильных и отважных людей, против сорока или пятидесяти солдат, поднятых среди ночи, растерянных и напуганных, преодолевших сейчас этот страх и растерянность и потому злых и одержимых жаждой расплаты?

Но сердце Ивана, ожесточившееся в войне, испепеленное огнем бесчисленных страданий и потерь, вос-

ставало против гибели близких и дорогих ему людей, и он с надеждой вслушивался в шум и грохотанье схватки, шепча страстные и неразборчивые слова.

Треск и гул в океане достигли той силы, по которой можно было определить, что развязка приближается. Затем и гул и треск смолкли, и сердце Ивана сжалось от предчувствия и безысходной тоски. Он не хотел верить, что все уже предрешено там, на танкере, и не знал, что в эти минуты Калинушкин переползает на другую позицию, а почти теряющий сознание, окровавленный Шергин спускается по трапу в теснины артиллерийского погреба.

Теперь время не тянулось — летело. Тьма уступила место предрассветному сумраку. Светлые полосы тут и там засветились на небе, и стали видны пунктирные струи отвесно падающего дождя.

Остров ожил. Смутный гул, словно гул начинающегося землетрясения, зародился в его недрах, вырываясь и выплескиваясь наружу в дальних и ближних концах молчавшего дотоле массива. То был гул спешно передвигавшихся людских масс, застигнутых взрывами и занимавших теперь свои места в капонирах, в траншеях, у амбразур, где, слепо уставясь в сумрак, людей дожидались мертвые и потому бесполезные пока агрегаты войны. Им требовались цель и программа, и они уже задавались им, но лязг орудийных замков и скрипы поворотных устройств и механизмов не слышались за расстоянием; все вбирал в себя и заполнял низкий, как рокот моря, гул.

Когда же умолкнувшие было крики вновь огласили ночь, их заглушила ярость одинокой автоматной очереди.

Трагичность ее стаккато потрясла Ивана. Только обреченное существо могло издать такой высокий и безысходный звук. И когда он внезапно оборвался, тишина обрушилась на мир, как обвал. Ее безмолвие заполнило земные пространства и сферы, и стали слышны торжествующие клики победителей. Они множились и нарастали, когда хлябь океана разверзлась. Белый протуберанец поднялся над притихшей водой и с немыслимой быстротой рванулся в небо. Мгновение был виден его кометный, дрожащий и вихляющийся хвост, затем над морем прокатился и упал удар чудовищной силы.

И сердце Ивана облилось кровью, и слезы оросили лицо...

И как продолжение, неподалеку длинно и зло ударил автомат. Иван замер. Он еще надеялся, что эта очередь была случайной, но вскоре надежды покинули его: автомат заработал как заведенный, к нему присоединился другой, и отзвуки новой схватки коснулись обостренного слуха разведчика.

Сомнений не оставалось: бой вели Баландин и Одинцов. И тогда Рында поднялся. Беспольный и никому не нужный мост, у которого он провел в бездействии столько часов, был ненавистен ему. Как некое существо, от которого исходили все неудачи и зло. И, яростно погрозив его ослизлым сваям и бревнам, Иван ринулся туда, где, перебивая друг друга, строчили и строчили автоматы.

Он не пробежал и двадцати шагов: вдруг все сместилось и стало не собой — и гром стрельбы, и гул движения. И словно занавес упал сверху, отгородив полмира, впитав в себя его дыхание и пульсации. Из-за спины дохнуло гарью; призрачный колеблющийся свет прорвал мокрую серую мглу и заметался под небом. И тяжелый лязг возник вдали, приближаясь и нарастая, как рев камнепада...

8

Молва не ошибалась, утверждая, что поручик Хата не спит по ночам. Единственного отпрыска древней самурайской фамилии действительно мучила бессонница.

Пять лет, проведенных без отпуска в казармах и казематах среди серого солдатского быдла, основательно расшатали нервную систему поручика. Редкие и по большей части случайные развлечения не компенсировали хронической усталости. Мало чем помогали и офицерские клубы. Любой вечер там, как правило, кончался попойкой, а среди офицеров почти невозможно было найти по-настоящему культурного человека. Войне не предвиделось конца, и кадры все чаще пополнялись наспех обученными унтер-офицерами, большинство из которых были абсолютными невеждами и солдафонами. Поручик Хата сторонился их. Свое одиночество он восполнял поэзией. У него была чувствительная, экзальтированная

натура, а божественная гармония старинных танка¹ как нельзя лучше способствовала его душевному настрою. Поэтому поручик повсюду возил с собой изящные пергаментные томики, украшавшие некогда стены семейной библиотеки.

Надо ли говорить, что на танкере чтение стало единственной отрадой и страстью поручика Хата? Конечно, днем у него не было для этого времени. Все отнимали дела. Солдаты, лишённые последних удовольствий, все больше и больше распускались, появились случаи вольнодумства и невыполнения приказаний, и поручику приходилось железной рукой приводить непокорных к повиновению. Он до предела насытил программу занятий, справедливо полагая, что загруженному человеку не придет в голову раздумывать о сложностях и противоречиях бытия, и целыми днями муштровал солдат, отрабатывая учебные задания.

Зато ночью, когда измученные солдаты укладывались спать, поручик запирался в своей каюте и, отрешившись от всего земного, погружался в чарующий мир поэтических образов. Засыпал он обычно перед рассветом, а нередко и вовсе не смыкал глаз; однако, появляясь утром на палубе, бывал неизменно свеж и непроницаем. Побеждают лишь сильные. Кто слаб — пусть уйдет в вечность. Так считал поручик Хата, так повелевал Бусидо, закон самураев...

Этой темной и ненастной ночью поручик по обыкновению не спал. Снаружи завывал ветер, и шумело на рифах море, но поручик не замечал неистовства стихий. Удобно расположившись в глубоком кожаном кресле, оставшемся в каюте от старых хозяев, он наслаждался безукоризненным строем и напевностью стихов. Ноги поручика, укутанные толстым футоном², согревала анка³, тепло от нее приятно растекалось по всему телу. Время от времени поручик откладывал книгу в сторону и, прикрыв глаза, осмысливал прочитанное.

Как песок сквозь пальцы, текли минуты, часы. Угасала и вновь возрождалась жизнь, гибла осмеянная и поруганная любовь, рушились святые узы товарищества, предавалась анафеме добродетель. Миром прави-

¹ Т а н к а — японские пятистишия.

² Ф у т о н — род стеганого одеяла.

³ А н к а — небольшая переносная жаровня.

ло зло. Люди безбоязненно творили грехи, а искупления не было. Поэт, живший тысячу лет назад, хорошо понимал это. Но поэт призывал убить зло в человеческой душе, и это было ошибкой. Ибо, убивая в человеке зло, лишаешь его силы. А что может бессильный?..

Поручик захлопнул книгу. Надо было идти проверять посты. Не хотелось вылезать из футона и выходить на дождь и ветер, но поручик решительно подавил всякие колебания. Долг превыше всего. С этих скотов солдат нельзя спускать глаз, так и норовят сделать какую-нибудь гадость. Плохо ухаживают за оружием, отлынивают от всякой работы, а в последнее время дело дошло до того, что стали спать на посту. Правда, пойманные на всю жизнь запомнят полученный урок — каждому из них дали по сто палок, — однако это вряд ли научит остальных. Нужны более действенные меры, и он, поручик Хата, прибегнет к ним. В следующий раз виновных просто-напросто обезглавят...

Поручик жестко усмехнулся, словно уже видел лежащие в корзине отрубленные головы, затем стал одеваться. Проверив напоследок, исправно ли действует фонарик, он вышел из каюты.

Тяжелый шум накатывающихся на судно валов заложил уши. Было темно, как в мешке, однако, присмотревшись, поручик различил в темном месиве волн более светлые участки — рифы, вокруг которых вздымались белые каскады брызг. Рифы сопротивлялись напору ветра и воды, но время от времени какая-нибудь крупная волна переваливала через барьер и ударяла в танкер. Судно вздрагивало. Дрожь доходила до палубы, и в разных местах на ней начинало что-то скрежетать, перекачиваться, елозить.

Постояв у двери и освоившись с новой обстановкой, поручик осторожно спустился по трапу на палубу.

Дьявольская ночь... Видно, не в духе старик Сумиёси¹ — в таких волнах могут резвиться разве что каппа...²

Знакомый с детства по рассказам бабки образ пучеглазого, чешуйчатого и перепончатого водяного четко предстал в живом воображении поручика. Впрочем, вряд ли и каппа сейчас удержится на плаву — такие волны вышвырнут хоть кого. И тогда крышка водяному: ведь вода, которую он, как величайшую драгоценность, хра-

¹ Сумиёси — бог, повелитель морских волн.

² Каппа — японский водяной.

нит в ямке на голове, выльется, и каппа потеряет свою силу. Как этот русский танкер.

Поручик прищелкнул пальцами. Ему понравилось пришедшее в голову сравнение. Кстати, почему бы не закодировать танкер — «Мертвый каппа»? Оригинально и в чисто японском духе. Нужно будет подсказать это дуракам, сидящим в штабе, у которых при рождении кастрировали всякое чувство поэзии...

Здесь мысли поручика прервались, потому что он вдруг уяснил, что двигается явно в северо-западном направлении. А только сумасшедший или невежда, незнакомый с магией чисел и звезд, рискнет выбрать — да еще ночью! — северо-запад — направление, всегда считавшееся несчастливым, открытым для вторжения демонических сил.

Хата остановился. Еще не поздно было вернуться назад и проследовать привычным маршрутом, но поручик был настолько же упрям, насколько и суеверен. Не в привычках самурая сворачивать с избранного пути. К тому же это довольно забавно, — появиться с той стороны, откуда тебя не ждут. Часовые наверняка наложат в штаны. Но если они спят — горе им!..

Соблазн захватить часовых спящими заставил поручика позабыть о приметах и магии. Не раздумывая больше о последствиях, он двинулся дальше.

Тьма как будто до предела сгустилась над танкером, но поручик свободно ориентировался среди встречающихся на его пути препятствий. Фонарик он не зажигал — свет понадобится ему в последний момент, чтобы осветить заспанные, дрожащие хари и насладиться мгновенным страхом в вытаращенных, бессмысленных глазах часовых. О, это будет превосходный спектакль!

Из темноты, словно скала, надвинулся массивный силуэт ходовой рубки. Поручик уже не шел, а крался, и, едва в густой тени проступили очертания оружейных стволов, он замер, как легавая, делающая стойку. Ноздри поручика трепетали, он с трудом сдерживал дыхание, стараясь расслышать шаги часового или увидеть его самого. Но возле пушек не угадывалось никакого движения.

«Спит, — со злобной радостью подумал поручик. — Спит, ублюдок!» Он был почти счастлив оттого, что его предположения сбывались и что на этот раз никакие си-

лы не спасут преступника. Довольно слунтяйства! Утром перед строем произведут экзекуцию. Пора напомнить не только солдатам, но и кое-кому наверху, что решительные поступки были всегда в традициях нации ямато... Но где же все-таки часовой?

Поручик обошел первое орудие. Никого. Зато у второго он тотчас наткнулся на того, кого искал. Привалившись плечом к станине орудия, часовой спал как убитый. Он сидел на корточках, согнувшись в три погибели, но, видимо, не испытывал никакого неудобства. Винтовка валялась рядом, и это обстоятельство вызвало особую ярость поручика.

Негодяй! И такой мрази дозволили защищать интересы империи!

Бешенство душило поручика. Он шагнул к часовому и изо всех сил ударил его ногой в бок. Он ясно услышал, как екнула селезенка в утробе спящего, но часовой не пошевелился. Он лишь бесчувственно мотнул головой.

Поручик не верил себе. От такого удара пробудился бы мертвый, а этот троглодит только рыгает как обожравшаяся свинья! Пьян?! Ну, конечно, пьян! Фельдфебель Кавамото давно предупреждал, что солдаты неизвестно где достают сакэ и напиваются, но он пропустил тогда слова фельдфебеля мимо ушей. В таких условиях даже солдатам необходима разрядка. Но пить на посту!

Вконец разъяренный, поручик схватил часового за волосы и направил ему в лицо свет фонаря. То, что он увидел, было неправдоподобно, чудовищно, кошмарно: солдат был мертв. Об этом свидетельствовали страшная гримаса на лице и рана на шее, из которой ровной струей била густая черная кровь...

Поручик Хата почувствовал себя на грани безумия. К горлу подступила дурнота. Он с ужасом отдернул руку. Потеряв равновесие, труп запрокинулся навзничь, гулко стукнувшись головой о палубу. Поручик смотрел на него остановившимися расширенными глазами. Он был как в столбняке. Фонарик все еще горел в руке поручика, освещая большую темно-красную лужу, медленно растекавшуюся по палубе. Один из языков, извиваясь точно живой, пополз прямо к ногам поручика. Брезгливо передернувшись, Хата отступил назад. К нему возвращалась способность действовать и соображать. Он погасил фонарик и вытащил пистолет.

Итак, на танкере враги — демоны не оставляют таких страшных ран. Часовой убит недавно, кровь еще не запеклась. Идти на второй пост бессмысленно. С часовым там, вероятно, тоже покончено, и нет никакой гарантии, что в темноте сам не нарвешься на нож. Надо действовать быстро и решительно. Диверсантов наверняка немного, иначе они уже подняли бы шум. Это, конечно, русские, и, конечно, их интересуют пушки. Танкер для них как бельмо на глазу. Надо немедленно поднять тревогу. Стрелять? Глупо, только обнаружишь себя. А диверсанты, как известно, владеют оружием в совершенстве... Куда смотрит дежурный в рубке?! У него под носом убивают часовых, а эта скотина и ухом не ведет! Мерзавцы! Ни на кого нельзя положиться!.. Скорее в рубку! Включить прожекторы и объявить тревогу. Правда, освещать танкер ночью категорически запрещено, но он плевать хотел на эти запрещения. Как говорит фельдфебель Кавамото, козе не до любви, когда хозяин нож точит...

Перешагнув через труп часового, поручик кинулся к рубке, нащупал поручень трапа. Он опасался, что опоздает, но заставил себя не спешить, боясь сорваться и загреметь. Благополучно миновав трап и крыло мостика, поручик рывком открыл дверь рубки и, оттолкнув поднявшегося ему навстречу дежурного, включил рубильник...

9

А Мунко все не мог убить часового у плотины. Словно чувствуя взгляд ненца, солдат беспокойно озирался и никак не хотел подходить к краю, где в траве затаился разведчик. Всякий раз, пройдя в дальний конец дамбы, часовой поворачивал назад и, как заговоренный, останавливался у незримой черты, отделявшей его от смерти.

«Ну иди, чего не идешь?» — про себя твердил Мунко и поднимал нож, но японец поворачивал обратно.

Мунко опускал руку и вновь распластывался на земле.

«Придешь, однако», — думал он.

Но время шло, а часовой по-прежнему оставался вне досягаемости.

Мунко начал беспокоиться. Ночь давно вступила в свои права, а дело пока еще не сдвинулось с мертвой точки. Тогда, предприняв очередную безуспешную по-

пытку снять часового, ненец решился на отчаянный шаг — пробраться к противоположному концу плотины. Взяв нож в зубы, Мунко пополз по скользкому и крутому скосу. Насколько он длинен, разведчик не знал. Может быть, скоро дерн кончится и начнется бетонное тело плотины, а может, все перекрытие сделано из земли.

«Лучше из земли, — думал Мунко, — по камню плохо ползти, однако».

Но разочарование наступило гораздо раньше, чем Мунко предполагал: едва он прополз десяток метров, как рука наткнулась на какой-то столб. Сердце Мунко екнуло от предчувствия. Это не мог быть случайный столб, в таких местах просто так столбы не ставят.

Осторожно, словно отрастающие оленье рога, Мунко начал ощупывать столб. Его рука сантиметр за сантиметром продвигалась по шершавой поверхности, пока пальцы не наткнулись на острый и холодный шип. Мунко отдернул руку.

Заграждение. Проволока, которой он за глаза навиделся за годы войны. Три года она чуть ли не каждый день вставала на его пути, а теперь преграждала дорогу к единственному месту, где он мог без риска убить часового. Упрямого и из-за этого ставшего ненавистным часового.

Вдоль заграждения Мунко спустился вниз. Проволока тянулась и сюда, отгораживала подходы к плотине и пропадала в реке. Все было знакомо, и лишь электрический ток «забыли» подключить к проволоке ее создатели, не думая и не гадая, что когда-либо в их дом явится без приглашения русский разведчик.

А разведчика между тем терзал самый настоящий страх. Лежа у воды, Мунко мучительно искал выход из создавшегося положения. Подняться на дамбу он не мог — часовой сразу заметит его. Надеяться, что рано или поздно японец подойдет поближе, тоже не приходилось. И так уже был потерян час. Оставался последний путь — через реку.

Но здесь железная натура ненца не выдерживала. Он панически боялся воды. Это качество родилось вместе с ним и было неотъемлемой частью его существа, как и бесстрашие во всех других случаях. Весь народ Мунко боялся воды. Но боязнь эта была не страхом смерти, а боязнью самой по себе, объяснение которой выходило

за рамки общедоступного. Так в ужасе кричит мартышка, завидев ползущую в листве змею; так зверь бежит от пламени. И лишь одна-единственная сила способна победить эту боязнь — разум. И Мунко обратился к нему.

Медленно текла темная река. С этой стороны она подходила к плотине, и преграда сдерживала естественный ход потока, о чем свидетельствовали крутящиеся впадины воронок, то возникавших вдруг у краев, то также внезапно исчезающих. И что-то вечное было в уходах и приходах этих мгновенных образований, какая-то близкая связь.

Мунко безоглядно вступил в воду. Она облегла его тело, упорно и настойчиво толкала к подножию плотины, где, словно над входом в местный Аид, клубилась беспросветная тяжкая мгла. Как водолаз расставляя ноги, Мунко балансировал на илистом дне, шаг за шагом продвигаясь вперед. Вода медленно, но неуклонно поднималась. Сначала она плескалась на уровне пояса, потом мягко сдавила грудь и теперь подбиралась к горлу, ударяя в нос затхлым запахом тины. Собравшись с духом, Мунко оглянулся. Берега не было видно. По горло в воде, ненец стоял на середине реки, не отваживаясь ни вернуться назад, ни следовать дальше. Дно продолжало понижаться, а плавать Мунко не умел.

И все-таки он шагнул. И с головой ушел под воду, успев судорожно хватить ртом воздух. Этот запас и запас легких и вытолкнули его наружу. Он забарахтался в воде, нечеловеческим усилием сдерживая рвущийся из груди крик. Течение подхватило пенца и повлекло его к плотине. Погружаясь и выныривая, Мунко отчаянно боролся за жизнь.

Его спасла близость плотины. Протащив разведчика несколько метров, течение прибило его, полузахлебнувшегося, к дамбе, ударило обо что-то железное. Это «что-то» было флянцем трубы, заменявшей японцам один из шлюзов, и за него мертвой хваткой ухватился Мунко. Вода засасывала его в трубу, но ненец прилип к железу, как на присосках.

Отдышавшись, Мунко попробовал разобраться в сложившейся ситуации.

Он находился внутри огороженного проволокой пространства, почти у середины плотины. Часовой расхаживал где-то над ним, и ненцу надо было только поднять-

ся, чтобы рассчитаться с часовым за все. После того, что Мунко перенес, это не составило бы для него труда. Сложнее было выбраться из воды.

До верхнего края трубы Мунко не доставал, зато нижний, за который он держался, мог стать опорой для ног. Перехватившись поудобнее, ненец уперся коленом в нижний край. Подтянул другую ногу. Через минуту он уже стоял скрючившись внутри трубы, обдумывая дальнейшие действия. Нужно было выбраться на наружную поверхность трубы. Это могло показаться легким делом лишь со стороны. В действительности же торчавший из дамбы конец трубы был длиной не более полуметра, так что, когда Мунко попробовал перегнуться и лечь на него животом, из этого ничего не получилось. Его голова уперлась в дамбу, и он не смог полностью лечь на трубу, чтобы подтянуть затем ноги. Нужно было попробовать другой способ. Собравшись в комок, Мунко сильно оттолкнулся ногами и, переворачиваясь, как акробат, лег на трубу боком. Ему удалось удержаться на ней, и в следующий момент он уже карабкался по склону.

Часовой находился на месте. Он, точно челнок, ходил все тем же маршрутом, упорно не желая переступить известную только ему границу. Но в данный момент это уже не играло никакой роли. Его час пробил. Прикинув вероятную точку встречи, Мунко потянулся к ножу. Но пальцы не нащупали знакомых шероховатостей рукоятки. Ненец не верил себе, но факт оставался фактом: ножа на поясе не было. Видно, он оторвался и упал в воду, когда Мунко влезал на трубу. Правда, оставался пистолет, но Мунко не очень-то рассчитывал на него: в темноте удар мог прийтись не к месту. И тут ненец вспомнил об аркане. Свернутый в кольца, он торчал за поясом — прекрасный ремень из шкуры морского зайца, служивший Мунко, как и утерянный нож, многие годы. Конечно, разведчик не собирался повторять то, что он проделал днем с Уном, — рассчитывать на точный бросок ночью не приходилось, но все же захлест представлялся Мунко более надежным, чем удар пистолетом.

Вытащив аркан, Мунко проверил, не запутался ли он. Потом сложил ремень втрое и приготовился к схватке. Часовой приближался с дальнего конца плотины. За шумом льющейся из труб воды не слышно было его шагов, и солдат казался бесплотным, как бы парящим над землей. Дойдя до «границы», он повернулся и тем

же равномерным шагом пошел назад. Солдат был педантом, это роднило его с немцами и позволяло разведчику надеяться, что в нужный для него момент часовой не изменит своим правилам.

Японец возвращался. Держа аркан наготове, Мунко ждал, и, как только часовой, пройдя мимо, подставил спину, разведчик неслышно поднялся. Двумя кошачьими прыжками он догнал часового и, захлестнув арканом его горло, дернул к себе. Часовой захрипел и взмахнул руками. Винтовка съехала с его плеча и упала в грязь. Предсмертным сумасшедшим усилием японец пытался освободиться, но Мунко висел на нем, как клещ, все туже стягивая ремень аркана. Наконец тело солдата ослабло, и он повалился на землю, колотя ногами. Мунко всей тяжестью навалился ему на лицо...

Сбросив труп под откос, ненец, не задерживаясь ни на минуту, кинулся на дорогу. Он уже не надеялся застать корейца на месте. Однако Ун ждал его. Ужасный вид Мунко объяснил ему все, и он простил разведчику те сомнения и страхи, которых натерпелся, пребывая так долго в темноте и неизвестности.

Они подъехали к плотине. На узкую насыпь повозка не въехала бы, и им предстояло перенести бомбы на руках. Это была последняя помощь, которую Ун мог оказать разведчику, потому что корейцу надлежало возвращаться.

Они перенесли бомбы, и, когда холодные пятидесятикилограммовые чушки были положены на землю, настала минута прощания. Что могли сказать при этом незнакомые, не понимающие языка друг друга люди? Они не знали ни чужих обычаев, ни правил расставания и оттого испытывали неловкость, еще более сковывающую их. Но пережитое совместно уже роднило их: его нельзя было отбросить, и, понимая это, они протянули друг другу руки...

Оставшись один, Мунко принялся за работу. Он мог бы взорвать бомбы и так, но ему хотелось немного зарыть их, чтобы сила детонации пошла и вглубь, в земляное тело плотины. Он снял с винтовки убитого часового штык и, торопясь, стал копать траншею. Он чувствовал, что время истекает, но надеялся уложиться в срок.

Он вырыл подобие желоба и уложил туда бомбы. Достал завернутый в плащ-палатку заряд. Проверил

зажигательную трубку и шнур. Вынул спички. Кожаный кисет надежно защитил их от воды, и коробка была сухой и чистой. Разведчик уже готовился поджечь шнур, но рука остановилась на полпути: далеко на горизонте, словно огни сияния, в небо взметнулись узкие голубые лучи. И тотчас глухо ударили две очереди. Лучи погасли, но автоматы продолжали строчить — дробно, не переставая.

«Плохо, — тревожно подумал ненец. — Влас и Федька стреляют, однако...»

Все решали секунды. Где-то в темноте хлопнула дверь, раздались слова команды. Охрану поднимали по тревоге.

Сложив несколько спичек в пучок, Мунко поджег шнур. Капли дождя попадали на него, и слабо спрессованная пороховая сердцевина горела с шипением и треском. Мерцающая красная точка, похожая на огонек цветущего в ночи папоротника, быстро перемещалась к основанию шнура. Он укорачивался на глазах.

Ненец бросился прочь от плотины. Он был уже на берегу, когда земля под ним содрогнулась, и уши заложил ворвавшийся в них горячий вихрь. Еще висел в воздухе тяжелый гул взрыва, но уже новый звук возник и стал разрастаться над оглохшей ошеломленной землей — захлебывающийся рев устремившейся к освобождению воды.

Мунко остановился. Взглянув назад, где в темноте клокотал и кипел водоворот, он метнулся в заросли. Он раздвинул их, и, как будто дожидаясь только этого, из проема навстречу Мунко вылетела длинная огненная стрела и воткнулась ему в грудь.

Разящая сила опрокинула ненца. Он упал на мягкий сырой мох, ощущая торчащий из-под лопаток конец стрелы. Чужое темное небо предстало его глазам, и он смотрел в очертания незнакомых небес, еще не веря, что умирает, что этот низкий свод сомкнется скоро над окном его жизни.

А стрелы все летели и летели над ним. Японский пулеметчик, который сидел в бронеколпаке в десяти шагах от Мунко, всполошенный взрывом, все нажимал и нажимал на гашетку, посылая в ночь слепые очереди трассирующих пуль...

Знаете ли вы, что такое ночной бой на танкере? Когда против пятидесяти дерутся двое и один из них ранен и истекает кровью? Когда не остается никаких надежд, кроме одной — победить или умереть?

...Разбитые двумя автоматными очередями, погасли прожекторы. Тьма вновь сомкнулась над танкером. После света она стала еще непрогляднее и плотнее, но уже не безмолвствовала, а трещала и озарялась, точно небо в грозу.

Японцы стреляли наугад. Пули с визгом рикошетили от железа палубы, горохом били в щиты пушек. Перекрывая винтовочную пальбу, с мостика ударил пулемет. Синие-багровые клокочущие пламя на рыльце пулемета, похожее на пламя автогенной горелки, казалось приведенным в воздухе.

Невидимый пулеметчик водил стволом, словно брандспойтом. Одна из очередей с оглушающим грохотом ударила в щит, за которым укрылись разведчики.

— Ну-ка шурани его, Федя, — сказал Шергин таким тоном, будто они находились на стрельбище.

— Сейчас, боцман! Сейчас мы его прямым в челюсть!

Встав на одно колено, Калинушкин высунулся из-за щита. ППШ задрожал в его руках. Видимо, японец увидел вспышку, потому что он перестал беспорядочно поливать палубу, а перенес огонь на разведчика.

Смертоносные струи связали противников. Перевес в этой дуэли был явно на стороне японца: каждая очередь его крупнокалиберного пулемета могла в любой момент, как топором, перерубить Калинушкина. Но смерть пока щадила его, и внезапно все кончилось. Блуждающий огонь в вышине погас. Смолк перекрывающий все звуки грохот, и в наступившем звенящем вакууме было странно слышать непохожие на выстрелы хлопки арисак.

— Аут! — сказал Калинушкин, вставляя в автомат новый диск. — Слышь, боцман? Кранты самураю!

Шергин не ответил ему. Прислушиваясь к выстрелам и крикам в темноте, он с беспощадной ясностью представил себе неминуемую развязку. Японцев не меньше

полусотни. Пока они еще не знают, с кем имеют дело, но рано или поздно поймут, что против них только двое. И тогда полезут напропалую. Минут десять они с Федором продержатся, а там рукопашная и...

Он не стал думать дальше. Мысль более сильная, чем мысль о смерти, владела его сознанием. Пушки! Если их не взорвать теперь, то через десять минут будет поздно. Все пойдет прахом. Они погибнут, а пушки останутся целыми. И разнесут баржи с десантниками, как гнилые арбузы...

Огонь японцев вновь усилился. Теперь он стал более организованным, и это было верным признаком того, что солдаты готовятся к решительным действиям. Разведчики отвечали короткими очередями, лишь иногда выпуская лишний десяток пуль в то место, где, как им казалось, назревали какие-то события. Опять заработал пулемет, и под его прикрытием японцы стали сосредотачиваться для решительного броска.

Шергин стиснул локоть друга. Калинушкин обернул к нему лицо, на котором неистово сверкали белки цыганских глаз.

— Давай попросимся, Федя.

— Ты что надумал, боцман?

— Попрощаемся давай, говорю... Пора кончать эту богадельню.

— Говори толком!

— А разве я без толка? Снаряды-то под нами! Жахнуть парочку гранат — и амба! Ни костей, ни перышек!..

Калинушкин вплотную придвинулся к Шергину, вглядываясь в него так, словно видел впервые. За какие-нибудь полчаса Шергин сильно изменился: лицо его осунулось, глаза запали. Он часто и тяжело дышал, и Калинушкин понял, что боцман держится из последних сил.

«Эх, Влас, Влас... Фрицы нас не взяли, а тут... Ну ничего, боковы дети! Думаете, все?! Хрен вам!..»

— Ты прикрой меня, Федя...

— Давай, боцман! — яростно зашептал Калинушкин. — Сыпь! У-у, сучьи души!..

Уползая в темноту, Шергин слышал, как бешено заработал автомат Калинушкина.

Выпустив добрую половину диска, Федор заставил японцев залечь. Хуже было с пулеметом: расчет не жа-

лел патронов, как метлой подметая палубу. Выбрав удобный момент, Калинушкин переполз ко второму орудию. Здесь он разложил перед собой запасные диски и гранаты и стал ждать.

Он знал, что это его последняя позиция, но не думал о смерти. Эта мысль была для него сейчас глубоко безразлична, как и мысли о самом себе. Он ощущал себя каким-то посторонним существом, о котором не надо заботиться и переживать, потому что и заботы и переживания предназначались другим: Шергину, который полз где-то в темноте, задыхаясь от напряжения и боли, товарищам на берегу, которые молча и скорбно прислушиваются к перестрелке, женщинам, которых он любил и которые любили его, — всей той жизни, которая была, есть и будет... Время медленно текло сквозь него. Оно не замедлило свой бег, но его образы устойчиво удерживались в сознании, смешивались в общий мотив, в котором звучали радость, любовь и боль...

Пуля ударила его в плечо. Он содрогнулся, но не от удара, а от неожиданности и удивления перед случившимся. И впервые подумал, что может быть убит. Это ужаснуло его своими последствиями: Шергин еще не добрался до погреба. И не доберется, если его, Федора Калинушкина, убьют раньше времени. Все лопнет как мыльный пузырь...

Калинушкин вырвал из дыры в ватнике клоч ваты и заткнул им рану. Затем со злостью ударил по зашевелившимся японцам длинными очередями.

— Давай, давай! Подходи, гады! — сквозь зубы бормотал он и ругался страшными ругательствами, которые звучали сейчас как заклятья...

Добравшись до тамбура, Шергин отдраил дверь и ввалился в тесное помещение. Вниз вел крутой трап, но прежде чем спуститься, боцман ударами приклада заклинил за собой дверь.

Бой на палубе разгорался. Выстрелы слились в сплошной гул, и Шергин подумал, что на этот раз одному Федору долго не продержаться. Автомат Калинушкина бил не переставая, потом одна за другой гулко грохнули две гранаты.

«Окружили», — с болью и отчаяньем подумал Шергин, спускаясь по трапу.



Был миг затишья, когда боцману показалось, что наверху все кончено. Он остановился, но тут же автомат ударил вновь, и буйная, пьянящая радость охватила Шергина.

«Держись, Федя, держись, браток! — шептал он, преисполненный великой любви и благодарности к другу. — Я сейчас...»

Он наконец спустился, чувствуя неимоверную боль внизу живота. Казалось, к нему привесили пудовую гирию.

Освещенные лучом фонарика, из темноты трюма выступили штабеля ящиков. Тут же стояли уже готовые к применению снаряды.

— Годится! — вслух сказал Шергин.

Он положил фонарик на ящик и достал гранаты. Страх не было. Лишь неизбывная тоска по всему, что останется после, томила Шергина. Она была тяжела, как удушье.

Он поставил гранаты на боевой взвод. Матово поблескивающие головки снарядов притягивали к себе взгляд. Не отводя глаз от этого тусклого смертельного сверкания, Шергин поднял руки с гранатами. Он уже не слышал наступившей наверху тишины и не знал, что Федор Калинушкин умер, пробитый очередью из зенитного пулемета «гочкис», и что сейчас японцы глумятся над его телом. И только когда в дверь посыпались удары, он, не оборачиваясь, торжествующе сказал:

— Стучите, сволочи, стучите!

И с размаху опустил руки.

11

Жизнь едва теплилась в израненном, изуродованном теле Мунко. Остывающие члены уже не чувствовали ни холода просочившейся сквозь мох воды, ни горячего тепла крови, которая, смешиваясь с водой, пропитывала мох, уходила в землю. Вместе с ней погружался в небытие Мунко. Сознание то покидало ненца, то возвращалось вновь, и в эти краткие минуты просветления одна лишь мысль терзала его — мысль о том, что он умирает не на своей земле. Что дух его не обретет покоя, скитаясь по нивам чужой жизни. И нестерпимее становилась смертная мука, и боль от-

пускала онемевшее тело и сосредоточивалась в одном месте — в душе.

А ночь все длилась и длилась, и время умножало бессилие и страдания Мунко, ввергая в мрак и возвращая к свету. И все длиннее были промежутки тьмы, все реже билось разорванное железом, обескровленное сердце, все тише звучали мировые звуки и скоро смолкли совсем.

Иная музыка — торжественные и высокие хоры — грянула в высоте для него одного. Звучащая эфирная волна подняла Мунко с кровавого и холодного ложа и вознесла над ночью. Ослепительный свет блеснул в разрывах клубящихся туч, и он увидел тундру. Затихая, волна унеслась вдаль, за край земли, оставив Мунко посреди великого разнотравья.

Ни чума, ни дымка не виделось вокруг, и непохоже было, чтобы люди жили в этих местах, но Мунко знал, куда идти. Неведомая сила управляла им, влекла к закату горизонту, откуда исходил таинственный и странный зов.

День шел Мунко. А потом увидел озеро. Дикие гуси плавали в нем. И Мунко вошел в воду и стал гусем. И братья сказали ему: «Иди к вершине, обильной пищей, иди на место твое, где опадают перья весенних гусей, где осенние гуси надевают свои перья. Иди в город твой, висящий на конце жилы...»

И еще день шел Мунко. Река на пути. И стал он рыбой. И мать-нельма сказала ему: «Иди к берегу твоей извилистой протоки, иди на место твое, где дети наши и любовь наша. Иди в твой город, висящий на конце крапивной нити...»

Третий день идет Мунко. Олени встретились ему. И старый самец, в глазах которого отражалось небо, сказал: «Иди к пастбищу твоему. На место твое иди, где летний заяц и нежная женщина. Иди в твой город, висящий на ветках семи берез...»

На четвертый день вышел Мунко к другой реке. Черная вода текла в ней, черная трава росла на берегу, а за поворотом увидел Мунко черный чум. Удивился Мунко: сколько лет жил в тундре, не видел таких чумов. Остановился он. Тихо было возле чума. Ветер не дул в этих краях, вода не плескалась. Только кричала в реке невидимая птица гагара. Долго стоял

Мунко. Хотел уже войти в чум, посмотреть, но тут вышел к нему большой старик.

«Старый, однако, — подумал Мунко, — совсем белый».

— Вот ты пришел! — сказал старик.

И Мунко увидел его мертвое костяное лицо. И понял, что пришел на Монготта, реку Мертвых, где живет бог Нум — отец всех ненцев.

— Я миндумана¹, — ответил Мунко.

— О савá! — сказал старик. — Глаза Нума видели твой путь. В чум пойдем. Лаханако² будет. Язык оленя будет.

Черные постели³ лежали в чуме. Старик усадил Мунко напротив входа — на место почетного гостя. Поставил два блюда — с языками и кровью. Уселся сам.

— Ешь, однако.

Мунко взял язык, обмакнул в кровь, стал жевать нежное, терпкое и солоноватое от крови мясо.

«Вера такая⁴, — думал он. — Ненцы всегда ели мясо с кровью. Нельзя в тундре без крови, кости мягкими станут...»

Старик с одобрением глядел на него.

— Ты хорошо воевал, — сказал старик. — Нум видел твои дела. Ты сын своего отца.

— Слабого оленя догоняет сармик⁵. В моем роду не было слабых.

— О савá! — откликнулся старик. — Не было! Все улетели к верхним людям⁶. Ты последний. Худо, однако. Закончится род.

— Семя мое в детях живет.

— Сколько пешек⁷ замерзает в буран? Дети твои малы. А буранов в жизни много.

— Вырастут дети. Ванойти хорошая мать.

— О савá! — сказал старик.

Они доели языки и допили кровь. Старик поднялся: — Пойдем, однако.

Они вышли из чума.

¹ Я миндумана (ненецк.) — по земле жизни я пришел.

² Лаханако — разговор.

³ Постели — оленьи шкуры.

⁴ Вера такая — обычай такой.

⁵ Сармик — волк.

⁶ Улететь к верхним людям — умереть.

⁷ Пешка — новорожденный олень.

— В тебе больше сил, хахая нями¹, — сказал старик, — взойди на высокое место, покричи оленей. Три раза покричи, больше не надо.

Поднялся Мунко на холм, смотрит — нигде ни одного оленя нет. Однако прокричал три раза. Взглянул — из-за реки бегут три черных оленя. В воду бросились, поплыли. На берег вылезли.

Стал старик запрягать оленей. Левого вперед выдвинул, пелекового² запряг, третьего в середину поставил. Постель положил в нарту.

— Три года меня не будет, а ты на четвертый год выходи ко мне навстречу.

Только эти слова и сказал старик. И прах поднялся над тундрой, и свист многих крыльев наполнил ее: звери бежали прочь, и птицы летели на другую сторону. Они так сильно махали крыльями, что погас огонь в чуме. А кто не успевал убежать и улететь — падали под копыта черных оленей.

Три года как три дня прошло. Живет Мунко в чуме, сам не знает, живой он или мертвый.

Вечером загремела нарта.

«Должно быть, старик», — думает Мунко. Только подумал — анас³ показался. Нум, как сыч, сидит, совсем костяным сделался.

— Как съездил? — спросил его Мунко.

— К брату ездил. К Падури⁴. Хороших бегунов⁵ дал брат. Садись, поедem на место твое.

Попрыск⁶ ехали. В полдень увидели одного дикого оленя.

Старик сказал:

— Изготовь твой лук, хахая нями.

— Где ж возьму его? — спросил Мунко.

— Разве не видишь, — сказал старик, — в нарте твой лук.

Изготовил лук Мунко. Выстрелил. Дикий олень упал. Подъехали они к тому дикому оленю — стрела шею его пополам разрубила.

Старик опять сказал:

¹ Хахая нями — мой младший брат.

² Пелековый — правый.

³ Анас — нартовый поезд, аргиш.

⁴ Падури — бог, покровитель оленей.

⁵ Бегун — быстрый олень.

⁶ Попрыск — пробег оленя от остановки до остановки.

— Изрядная сила у тебя, мой брат.

Съели они печень оленя. Остальное в нарты положили, дальше поехали. Еще попрыск гнали. Пристали олени, хромать начали. Старик бросал им кровь¹ из копыт.

К берегу приехали. Желтый лед лежал на воде. Снова удивился Мунко: сколько лет жил в тундре, не видел льда летом. Спросил у старика.

— Это мой мост. По этому мосту я хожу к людям; и это не лед, а железо.

За мостом снова трава пошла, знакомые места стали встречаться. Старые чумовища² увидел Мунко, а еще дальше — сломанные опрокинутые нарты, торчащие к небу тюры³ и олени мертвые головы. Догадался, что старик привез его к родовому хальмеру⁴. Отец похоронен тут. И отец отца. И все мужчины рода.

— Слезай, — сказал старик. — На земле предков умрешь. Нум будет твоим самбаной⁵.

Старик поднял бубен. Солнце и луна были нарисованы на нем и ребра оленя.

Трижды прокричала гагара⁶.

— Не спеши, — сказал старик, — Нум еще не сделал бубен летним⁷.

Опять закричала гагара.

Старик ударил в бубен колотушкой. Гром прокатился по тундре, и стало слышно и видно до самого края. На полуночи белый медведь грыз нерпу, волк преследовал оленя на восходе, и в других концах слышались вопли и стоны.

— Белый олень! — крикнул старик. — Из дома, покрытого черным зверем, приди сюда!.. Удержи свой гнев!.. С чистого неба на холмистую землю спустись!.. На сотворенную молодую траву спустись!.. На белого оленя сядем верхом, белую олениху поведем в паре!..

¹ Бросать кровь — пускать кровь.

² Чумовища — места, где стояли чумы.

³ Тюры — шест, с помощью которого управляют оленями, хорей.

⁴ Хальмер — кладбище.

⁵ Самбана — лицо, ведающее похоронами и проводами души умершего в загробный мир.

⁶ Гагара играла большую роль в верованиях ненцев. Ей приписывалось содействие Нуму при сотворении мира. Кроме того, она «несла в небо» молитву шамана.

⁷ Сделать бубен летним — разогреть его, улучшив тем самым звучание.

В город твой спустись!.. Заговори!.. Явись, могучий!..

Смотрит Мунко — черной тундра стала, будто ночь наступает. Видит — нож достал старик.

— В место твое иди!

И погрузил нож в грудь Мунко. Из-под лопаток вышел нож, разрезав сердце. И небо упало на Мунко.

...Падал и падал дождь. Сладкие испарения, заглушая запах сгоревшего тола, поднимались от земли, и вместе с ними над поникшими травами витал успокоившийся дух Мунко.

12

С первой и до последней минуты — с того рокового момента, когда, как гром, раскатилась первая очередь, и до чудовищной вспышки над морем — Баландин верил, что счастье и этой ночью не изменит Калинушкину и Шергину. Сколько раз в своей жизни они были на волоске от смерти и всегда уходили от нее. Уйдут и сейчас. Не те это были люди, чтобы погибнуть в, быть может, последнем бою. Не те!

Прислушиваясь к перестрелке, он пытался представить, что же произошло на танкере. Какая случайность подстерегла разведчиков? В чем сплеховали друзья, о бессмертии которых говорили и в шутку и всерьез? В которое уверовал и он, как втайне верят в невозможное.

Еще до начала событий, мысленно проделывая тот путь, который предстояло проделать Калинушкину и Шергину, Баландин все больше утверждался во мнении, что, несмотря на трудности, разведчикам удастся взорвать пушки. Были, были к тому немалые предпосылки!

Размышляя и так и этак, Баландин готов был поклясться, что никому, даже самому бдительному и недоверчивому человеку на танкере, не могла прийти в голову мысль о готовящейся диверсии. Слишком невероятной должна она казаться людям, чувствующим себя в полной безопасности под охраной своих батарей. Война войной, но существовали пределы допустимого, и с этой точки зрения возможность диверсии не лезла ни в какие ворота.

Самое трудное для ребят — подняться на танкер. Здесь можно дать маху. Ночь, кошки придется бросать вслепую. Зацепятся ли? Да если и зацепятся, карабкаться по капроновому ленд-лизовскому тросу в мизинец толщиной — трюк, прямо скажем, цирковой. Это не по шкентелю с мусингами¹ подниматься. Там тебе и трос раз в десять потолще, и узлы через каждые полметра — лезь не хочу... Только бы добраться до палубы, а там мальчики сообразят, что к чему. Взрывали и пушки, и доты, и чего только не взрывали. Опыта не занимать. Шум, конечно, поднимется, но, пока на танкере очухаются, Федор с боцманом успеют уйти. Ищи ветра в поле...

В этом смысле положение Мунко, который в данный момент пребывал неизвестно где, казалось Баландину намного серьезнее, и в мыслях он все чаще обращался к ненцу, призывая на помощь и фортуна, и Ниголу морского, и прочих угодников, какие только существовали на свете.

Вой сирены и прогремевшие вслед за тем очереди ошеломили Баландина. В один миг представилось ему все: мертвый танкер, кипение моря на рифах, яростные лица Калинушкина и Шергина. О них, только о них думал в эти отчаянные минуты их командир. Прислушиваясь к перекатам и нарастанию огня, он зримо видел все перипетии грохочущего в темноте боя, всем сердцем ощущал его трагичность, его ожесточенность и накал. Его душа рвалась на помощь боевым соратникам; его мысли принадлежали им, и в мире не было силы, которая остановила бы этот мощный поток излучения. Одна надежда владела им и питала его — что счастье и этой ночью не изменит Калинушкину и Шергину. Уйдут! Не могут не уйти!..

Взрыв оборвал все надежды. Воздушная горячая волна, в которой растворились бессмертные души друзей, пронеслась над головами, ударяясь о скалы и вырывая с корнем чужую экзотическую траву. Огромная тяжесть вдавила Баландина в землю, но он превозмог ее и приподнялся на локтях, невидящим взглядом всматриваясь в сгустившийся еще более мрак. Сырая плотная завеса скрывала все, но ему чудилось, что сквозь нее, сквозь все помехи мирового эффи-

¹ Шкентель с мусингами — толстый трос с узлами.

ра прорываются и летят к нему живые голоса Власа и Федора...

Свистящий шепот Одинцова вернул Баландина к действительности:

— Японцы, командир!

Баландин обернулся и сразу увидел тех, кого возненавидел за эти короткие минуты. Трое солдат с винтовками наперевес стояли в пяти шагах от них, не решаясь углубляться в неизвестность и темноту. Японцы еще не видели разведчиков, и Баландин решил не принимать боя. Махнув рукой Одинцову, он пополз в сторону от тропинки, бесшумно раздвигая траву.

Но скрыться им не удалось.

— Томарэ! — гортанно крикнул передний солдат и поднял к плечу винтовку.

Таиться не имело смысла. С кошачьей ловкостью перевернувшись на спину, Баландин очередью от живота свалил всех троих. Он бил в упор, и было слышно, как пули с треском раздирают человеческую плоть. Поднявшись, Баландин привлек к себе радиста:

— Не отставай! Попробуем проскочить!

Они осторожно двинулись вперед, готовые в любой момент пустить в ход автоматы. Но вскоре оба поняли, что пробиться без боя не удастся: вокруг вдруг все пришло в движение, тут и там раздавались выкрики и голоса, и топот множества ног слева и справа, впереди и позади возвещал о том, что они находятся в самой гуще неприятельского расположения. И когда прямо на них из травы выкатилась темная масса людей, у разведчиков не оставалось времени на раздумывания. Кинжальными очередями они вспороли эту массу и, укрываясь от роя полетевших навстречу пуль, бросились ничком на дно неглубокой ложбинки, в которой хлюпала тепловатая, застоявшаяся вода.

Впереди раздавались стоны и крики, но их перекрывали властные слова команды; они раздавались со всех сторон, и Баландин понял, что сюда, к ложбинке, где залегли они с радистом, спешат все, кто находится поблизости. Спешат, привлеченные выстрелами и погоняемые силой приказа.

«Все, — подумал он, — не выкрутиться». И ощутил странное спокойствие. Мысль о близком конце не удивила и не испугала его. Он чувствовал лишь огромную усталость, но не догадывался, что это была усталость

не тела, а души; усталость, рожденная видом непрерывных смертей и убийств; усталость, которая давно копилась в нем, от которой поседели виски, которая заставляла его просыпаться по ночам и прислушиваться к чему-то внутри самого себя.

Он посмотрел на радиста. Одинцов с деловитым видом раскладывал возле себя гранаты и запасные диски.

— Боишься, сержант? — спросил Баландин. Ему не хотелось сейчас видеть рядом с собой слабого человека.

— Жалко, командир, — ответил радист, продолжая возиться с дисками.

Он не сказал, чего именно ему жалко, и Баландин так и не дождался от него более вразумительного ответа. Это не рассердило Баландина, как не рассердило и то, что Одинцов уже дважды за последние несколько минут назвал его «командиром», хотя так Баландина называли лишь старые разведчики, воссавшие вместе с ним еще на Севере. В другое время Баландин не преминул бы напомнить о субординации, но в последний час ему не хотелось обижать радиста.

— Давай связь, сержант, — сказал он.

Привычным движением открыв рацию, Одинцов надел наушники и закрутил верньером, настраиваясь на волну.

— Передавай: задание выполнено. Ведем бой. Прощайте.

Одинцов застучал ключом.

Прислушиваясь к пisku морзянки, Баландин не отнимал пальца от спускового крючка. Он чувствовал, что кольцо вокруг них сомкнулось, вот-вот начнется атака, и не хотел пропустить этот миг. Он знал, что сумеет задержать японцев на то время, пока Одинцов ведет передачу. У него был автомат, по сравнению с которым арисаки японцев выглядели просто-напросто самоделками. Правда, арисак было много, но мощь автомата все равно превосходила их. Особенно сейчас, в ближнем бою, когда надо будет бить в упор.

Отстучав текст, Одинцов стал дублировать его. Он дошел до половины, когда началась атака. Радист схватился было за автомат, но Баландин подтолкнул его к рации.

— Передавай! — крикнул он.

Для начала Баландин прошелся веером по всей цепи наступающих и, когда среди них произошло замешательство, стал бить по тем участкам, где наиболее упорные пытались пробиться вперед.

Валилась срезанная пулями трава, образуя узкие просеки. Гильзы с коротким шипением падали в воду на дно ложбинки. Плясало пламя на конце дульного среза. Оно выдавало Баландина, и он старался за один раз выпускать не более четырех-пяти пуль. Краем глаза он увидел, как, закончив передачу и захлопнув ненужную больше рацию, пополз на другой конец ложбинки радист. Через секунду и там заметалось пламя, и пространство впереди огласилось новыми криками и стонами. Японцы откатывались.

Баландин посмотрел на часы. Стрелки подходили к четырем. С момента высадки группы на остров прошло уже больше суток, и в эти самые минуты кончался назначенный Баландиным срок сбора. Бот, если он еще ждал их, наверное, готовился к отходу.

«Все, старлей, — сам себе сказал Баландин, — не будет большого сбора. Никакого сбора не будет...»

Только двое из разведчиков еще могли успеть к сроку — Мунко и Рында, но Баландин не знал, что ненца уже нет в живых, а что Рында лежит сейчас у моста, поджидая ползущие по дороге танки...

Противный вой раздался в воздухе, и недалеко от ложбинки, как жаба, шлепнулась мина. Осколки тоненько пропели над головой.

— В рот бы им кило печенья, сержант, — сказал Баландин. — Миномет приволокли, гады! — И выругался в бога, в мать и в фордуны.

Мины продолжали шлепаться вокруг ложбинки. Японцы так и не засекли ее и били по площадям.

Обстрел продолжался минут десять; вслед за тем раздались такие неистовые крики, что за ними не стало слышно винтовочной трескотни.

— Держись, сержант, — предупредил Баландин, удобнее прилаживая автомат, — похоже на психическую.

Японцы и в самом деле лезли напролом. Автоматы разведчиков работали без перебоя, но два человека не могли поспеть всюду, и скоро настал момент, когда им пришлось вспомнить о гранатах. Их было десять, и пять из них одна за другой вылетели из ложбины, раз-

метав нападавших, заставив их снова искать спасения в бегстве. Не дожидаясь, пока солдаты выйдут из опасной зоны, опять ударил миномет. Тяжело ухнув, мина разорвалась у самого края ложбины.

— Теперь засыпят, — сказал Одинцов и посмотрел на Баландина.

Старший лейтенант сидел на дне ложбины, держась руками за грудь. Из рта у него текла кровь. Он силился сплюнуть ее, но кровь текла и текла, расплываясь по ватнику черным жирным пятном. Одинцов бросился к Баландину. Тот смотрел на него осмысленным строгим взглядом, и эти строгость и осмысленность сказали радисту все. Он быстро расстегнул на Баландине ватник, разорвал гимнастерку и тельняшку. Рана была ужасна: осколок наискось разорвал грудь, и казалось чудом, что командир еще жив и пытается что-то сказать Одинцову.

Перевязав Баландина, радист уложил его поудобнее и, собрав в одну кучу все гранаты и диски, занял свое место. Когда началась атака, он подпустил японцев почти в упор и только тогда разрядил в них взятый у Баландина диск...

13

Лязг все нарастал.

И свет уже был не светом, а снопами огня, то упирающимися в землю, то подлетающими вверх: качаясь, как слоны, к мосту шли танки, и пламень фар метался в такт тяжелому движению машин. Скрежеща и завывая моторами, они железной змеей ползли по дороге, раскидывая в стороны мокрую землю.

Вжавшись в мох, Иван следил за их приближением. Пять танков, грохоча и буксуя, накатывали на мост, и в свете фар их мокрая и скользкая броня казалась складчатой кожей допотопных чудовищ, испуганных чем-то и в слепой панике крушащих и перемалывающих все на своем пути.

Но ходу вперед им не было. Это Иван знал и с нетерпением дожидался того момента, когда передний танк вползет на мост.

Танк надвинулся; одна фара у него не горела, и он заворачался перед мостом одноглазой глыбой; гусеницы со скрежетом прокрутились, бросив в стороны ош-

метья прилипшей к ним глины; дохнуло горячим и едким дымом выхлопной трубы.

Впереди была глубокая рывина, танк с ходу ввалился в нее, выскочил, но перед самым мостом сел днищем в другую яму, закрутился волчком. Было слышно, как водитель гремит рычагами в утробе танка, виднелись заклепки на его скошенных лобовых плитах и синие драконы на бортах.

Пятясь, неуклюже и тяжело задирая зад, танк выбрался из ямы и, обойдя ее, стал взбираться на мост. Настил дрожал и стонал от тяжести; цепляясь за бревна, гусеницы рвали их. Окутанная паром и дымом, серо-зеленая машина медленно подбиралась к середине моста.

И тут грянуло.

Бревна вдруг вспучились под танком и начали разламываться, как спички. Фонтан огня и грязи взметнулся над мостом.

Подброшенный взрывом, танк опрокинулся и, задержавшись на мгновение у края, стал рушиться под обрыв, гремя разорванной гусеницей, которая, словно хвост агонизирующего зверя, молотила его по смятым, искореженным бокам.

Минуту слышалось это железное падение, этот смертельный грохочущий обвал, потом внизу сильно плеснуло, и грохот смолк. Прах и дым осели, и, будто кости обнажившегося остова, стали видны торчащие, развороченные бревна моста.

Освобожденная энергия сжала время в эпицентре взрыва. Но за его пределами оно продолжало течь с неизменной скоростью, и с такой же быстротой реагировали на изменение условий люди. И эта разница в скорости физических реакций и реакций на них человеческого организма пагубным образом повлияла на то, что произошло вслед за взрывом: приостановленный маневрами ведущего, второй танк затормозил перед мостом; но водитель третьего, не ожидавший ни взрыва, ни мгновенной гибели первого танка, ни остановки второго, с ходу наскочил на него.

Удар пришел в баки. Они вспыхнули багровым, коптящим и жирным пламенем, которое потекло по броне и тут же перекинулось на ударивший танк. Будто обожженный излившимся на него горячим потоком, танк взревел и рванулся назад, но что-то держа-

ло его; какой-то крюк или трак зацепился за тело чужой машины, и уже обе они, охваченные шипящими огненными языками, ревели и катались в грязи, как схватившиеся насмерть мифические единороги. Но крюк крепко держал их, и, когда наконец, вырванный с мясом, он отпустил сцепившиеся машины, им уже ничто не могло помочь. — они пылали, как факелы.

Танкисты стали прыгать из люков. Когда все шесть человек оказались на земле, Иван срезал их одной длинной очередью. Еще, нелепо взмахивая руками, как куклы, валились танкисты, а Иван уже метнулся на другую сторону моста. И вовремя: град свинца из двух оставшихся танков тотчас обрушился на то место, где он только что лежал.

— На-ка, выкуси! — злорадно сказал Иван и показал танкам дулю. — Сунетесь — в два счета кранты сделаю.

Но танки без этого предупреждения уже пятились, точно раки, назад: в горевших машинах начали рваться боеприпасы, и уцелевшие поспешили ретироваться.

Моторы урчали все глуше, и Иван подумал, что инцидент можно считать законченным. Моста нет, а пока его наведут, всякая техника может спокойно загорать в гаражах и ангарах. Но рокот моторов вдруг вновь усилился. Теперь он раздавался слева от дороги, и это было непонятно. Слева лежали непропуски, а по ним не то что танк, лошадь не прошла бы. Однако скрежет, перемешанный с чавканьем, какое производит землечерпалка, доносился именно с того, как казалось Ивану, гиблого места.

Удивленный и озадаченный, он смотрел на расстилавшуюся в пятидесяти шагах от него кочковатую низину, ожидая увидеть на ней нечто небывалое. Вместо этого он увидел танк. Покрытый грязью и болотной жижей, он не спеша пробирался вперед, подминая под себя кочки и амортизируя на них как на подушках. Зыбь ходуном ходила под танком, но он, словно огромный гиппопотам, отфыркиваясь и урча, преодолевал непропуск.

Наконец Иван понял, в чем дело. Приближавшийся танк не был тяжелым КВ или даже Т-34. Это был легкий японский танк, приспособленный к местным усло-



виям. Он, как колхозный трактор, на котором до войны работал отец Ивана, мог с легкостью пройти и по настоящему болоту.

— Вот вша! — сказал Иван. — Ползет, гнида, и фамилии не спрашивает!

Улегшаяся было злость вспыхнула в нем с новой неистовой силой. Позади, быть может, гибли его товарищи, а он ничем не мог помочь им. Он взорвал мост и угробил три танка впридачу, а этот драндулет ползет как ни в чем не бывало! А там и второй, глядишь, объявится...

Иван пересчитал гранаты. Пять «лимонок». Мало-вато, да и не для танков, но ведь и танки не немецкие. Банки консервные, а не танки. Звон один. Он связал гранаты. Связку из двух сунул за пазуху, из трех — взял в руки. Выглянул. Танк буксовал на середине не пропуска. Водитель, видно, был осторожен, он не рвал рычаги, а работал «враскачку» — взад-вперед. Метр за метром танк вылезал из хляби.

Оценив все, Иван понял, что выпускать танк на сухое место нельзя. Тут он натворит дел. Лучше всего встретить японца вон у той кочки. Защита, конечно, липовая, но все лучше травы.

Танк приближался. Лежа за кочкой, Иван дожидался, когда машина, проходя мимо, подставит под удар борт. Бросок должен быть точным, иначе танк без задержки выскочит на дорогу.

— Постой, стерва! Я тебя укорочу! Я тебе сверну рожу набок! — твердил Иван.

Танк приблизился — горячий, грязный и зловонный. Быстро поднявшись из-за кочки, Иван метнул связку в трансмиссию. Приглушенно ухнуло. Танк закрутился, как ерш на сковородке, подергался и стих. Но кто-то еще оставался живым у него внутри, потому что вдруг ударил один из пулеметов.

«Давай, — подумал Иван, — пали на здоровье. А я подожду, пока ты поджаришься».

Танк задымил. Люк со звоном отвалился, из него показался толстый японец, спешивший покинуть горящую машину.

— Привет! — сказал Иван, ловя танкиста на мушку. Тот так и не успел выбраться из люка, повис на башне вниз головой.

Боеприпасы уже рвались вовсю, когда на дальнем конце болотины показался последний танк. Его водитель не осторожничал и гнал по проложенной колее, как по дороге. Танк начал стрелять издали — остервенело, из обоих пулеметов. То ли стрелок догадывался, где танк могут поджидать, то ли действовал наобум, но очереди ложились рядом с Иваном. Одна, как огнем, прожгла кочку, расплосовала рукав ватника. Иван рванулся назад, но вспомнил, что все равно не успеет добежать до моста, срежут. Оставалось одно — укрыться за подбитым танком. До него было не больше двух десятков шагов.

Иван метнулся. Он уже почти добежал, когда по правой руке будто хватила кувалдой. На миг ему показалось, что руки нет, и он остановился, но переборол внезапный испуг и добрал до танка. Рукав набухал кровью, которая пачкала железо, землю, траву.

Жаркая истома охватила Ивана. Он сел в грязь возле танка, прижавшись лбом к холодной броне. В голове гудело, и он не мог понять, гудит ли это остывающая броня или отливает от сосудов уходящая из тела кровь.

Грохотанье набегавшего танка всколыхнуло Ивана. Ненависть к железному существу, которое через минуту раздавит его, вонет в грязь, перекрутит и выбросит, подняла Ивана на ноги. Здоровой рукой он достал из-за пазухи гранатную связку. Зубами выдрал чеку. Теперь оставалось лишь разжать пальцы.

Танк показался. Обходя подбитый, он свернул с колеи, надсадно завывая мотором. Оттолкнувшись от борта, Иван, шатаясь, пошел ему навстречу. Он находился в мертвом пространстве, и очереди со свистом проносились у него над головой. Он не мог упустить этот танк и напрягал все силы, чтобы не упасть раньше времени. Если бы разверзлись вдруг небеса и свет осветил бы землю, ничего, кроме смерти, не прочел бы водитель на окаменевшем лице окровавленного матроса.

Но небеса не разверзлись, и, когда танк наехал, Иван лег ему под правую гусеницу. Он ощутил неодушевленность сформованного человеческими руками металла и хотел закричать, но сдавленная грудь не вобрала воздуха. Тогда он, как на колени женщине, положил голову на землю и разжал пальцы...

Они пришли и молча сели рядом — Мунко, Иван, Шергин, Калинушкин. Их бескровные лики были спокойны; их мертвые зеницы смотрели сквозь него; их отверстые раны, как язвы, покрывали простреленные, обезображенные тела. Их губы шевелились, обращая к нему беззвучную речь, но нем и непонятен был этот мертвый язык.

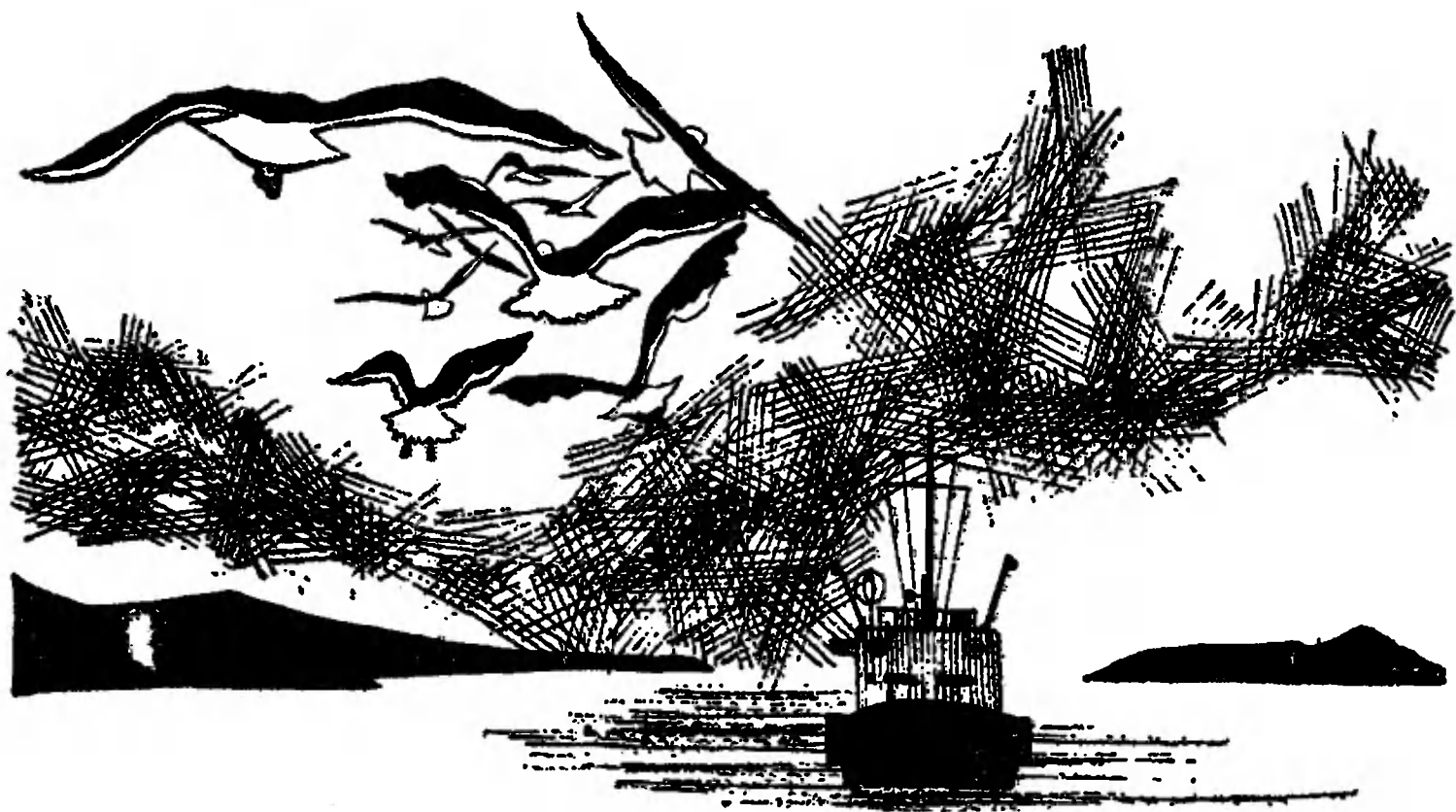
Угасающим, меркнувшим взором Баландин смотрел на них, и образы прошедшей жизни тихо всплывали со дна памяти и, как уносимые ветром листья, пропадали в немыслимой, ожидающей его дали. И бесконечен был их ход, и ни один образ не повторился дважды; и эти бесконечность и неповторяемость удивляли его и были так же недоступны для понимания, как лоно и власть, их породившие.

Новый день наступил, но солнце не смогло прорвать плотную завесу дождя и туч: его лучи преломлялись где-то в высоте и, отраженные, возвращались к своему светилу, так и не достигнув покрова земли, не озарив ее тайн, красот и бедствий...

1973 г.



ЛЕГЕНДА О ГОНЧИХ ПСАХ



В бескомпромиссной системе школярской иерархии Кирилл прочно удерживался на самой верхней ступеньке. Его авторитет покоился на четырех китах: он был всех сильнее в классе, почти в открытую курил, лучше всех знал математику и принципиально не хотел изучать французский. По языку у него было всегда «три».

Это происходило, может быть, потому, что Кирилл не находил в языке тех скрытых логических связей, которые привлекали его в математике, а может, потому, что любое произнесенное по-французски слово ассоциировалось у него с видом небрежно одетой женщины с разбухшим, всегда незастегнутым портфелем под мышкой. «Бонжур, дети! (Она и в десятом называла их так.) Кто у нас сегодня дежурный?» — «Бонжур!» — во все горло орали «дети» и, хлопая крышками парт, рассаживались, кто где хотел, и принимались за свои дела: читали художественную литературу, играли в «крестики и нолики» и в «морской бой», решали алгебру, а на задних партах даже ухитрялись спать. Женщина что-то объясняла, что-то писала на доске, но на нее попросту не обращали внимания. Как будто ее и не было в классе. Двойки она ставила редко, и, если такое случалось, класс хором кричал пострадавшему: «Садись, четыре!» Всем было весело.

Кирилла обычно выручали девчонки. Когда его вызывали, они торопливо совали ему шпаргалки или свои

тетрадки и изо всех сил подсказывали. Девчонки его обожали. На худой конец Кирилл прибегал к испытанному средству — записывал правила и примеры на ладони. Эти сокращенные корявые записи больше напоминали клинопись древних шумеров, чем современное письмо, но Кирилл разбирался в них отлично. Взглянуть же на ладонь во время ответа было совсем нетрудно. Можно было сделать вид, что ты потираешь ладони, или вдруг заинтересоваться ногтями, или придумать еще что-нибудь. Ни у кого из учителей, а тем более у Вероники Витольдовны, эти вполне естественные жесты не вызывали подозрения.

Но были случаи, когда ничто не спасало Кирилла, и Вероника Витольдовна допотопным пером выводила ему в дневнике жирную двойку. «Правда, дети, — обращалась она при этом к классу, — уже лучше? Чувствуется, что ваш товарищ работал. Очень хорошо, Ануфриев. Пока — два...»

Дневник для Кирилла был сущим наказанием. Мать проверяла его каждый день, и, чтобы не расстраивать ее лишний раз, Кириллу приходилось пускаться на разные ухищрения. Двойки стирались, искусно переправлялись на тройки или на четверки, а то и вовсе исчезали из дневника — для этого нужно было лишь знать элементарную химию. В конце недели, когда дневники сдавались на просмотр классному руководителю, все восстанавливалось в своем первоначальном виде. Это была скрупулезная и неблагодарная работа, но, к счастью, ее приходилось выполнять не так уж часто.

Время от времени класс бунтовал. Тогда они топали ногами, стучали партами и кричали, что Вероника Витольдовна много задает, что они не железные и им трудно. «А Чехов? — вопрошала в таких случаях Вероника Витольдовна. — А Чехов, дети?! Вспомните: чахоточный, гонимый невеждами, задавленный нуждой — он работал!..»

И класс смолкал. Перед жизненным подвигом человека, чей грустный облик тотчас вставал в живом воображении каждого школяра, их собственные проблемы бледнели, казались незначительными и смехотворными. Мир и согласие воцарялись в отходчивых сердцах школьников. Надолго. До следующего бунта.

Экзамены на аттестат зрелости они сдали в конце июня и, как водится, закатили выпускной бал. Все за-

явились на него одетыми с иголки: девчонки в белых нейлоновых платьях и в туфельках на «шпильке», ребята в костюмах и при галстуках. В этих торжественных и пышных одеяниях все чувствовали себя немного неловко и, толпясь в коридорах, разглядывали друг друга, как незнакомые. И только потом, когда отзвучали речи и выступления, когда получили аттестаты и сели за столы и выпили, скованность прошла. Все снова обрели друг друга и самих себя. И ребята стали курить, а учителя по привычке одергивали их и все напутствовали, напутствовали, все торопились предупредить обо всем наперед, о чем забыли или не успели сказать за десять лет в школе.

Потом танцевали и пели «Школьный вальс», и все чуточку погрустнели, потому что вдруг поняли, что навсегда расстаются со школой.

Вскоре все опять засели за учебники — нужно было поступать в вузы. Один Кирилл ничего не делал и ходил как в воду опущенный, переживая первую и, как ему казалось, последнюю в своей жизни любовь.

Дульцинею звали Риммой, в классе она сидела через две парты от Кирилла, увлекалась балетом и с репетиций ходила домой под ручку с наезжавшим из области балетмейстером, высоким тридцатилетним мужчиной с длинными ногами и осиной талией. В этом смысле у Кирилла не было ни малейших перспектив, и он довольствовался тем, что издали провожал предмет своего обожания, как заяц перебегая от дерева к дереву. Чувства, обуревавшие Кирилла в такие минуты, не шли в сравнение ни с чьими страстями. Шекспир в делах любви казался ему просто дилетантом, а его мавр — натурой инфантильной и придуманной.

Час расплаты настаивал, когда балетмейстер возвращался в гостиницу: горя мщением, Кирилл переплетал проволокой молчаливые ночные аллеи, и его счастливый соперник, как ванька-встанька, кувыркался в хитросплетении железных силков, а Кирилл наблюдал за этим из-за кустов и злорадно смеялся в темноте.

Все тревобления кончились неожиданно и просто: в июле Кирилла призвали в армию. Оказалось, что он был переростком, пошел в школу с восьми, и теперь пробил его час.

Это уже был выход из положения, в котором Кирилл к тому времени оказался. В институт он все равно не

готовился, а дела на любовном фронте обстояли и того хуже. Хотя балетмейстер с некоторых пор на горизонте не появлялся, Римма по-прежнему не замечала страданий Кирилла. Она относилась к нему так же, как и к другим ребятам из класса, и это повергало бедного влюбленного в отчаяние и печаль. В конце концов Кирилл пришел к выводу, что нужна перемена обстановки. Об этом, кстати, говорилось во всех классических любовных романах, и Кирилл стал лихорадочно подыскивать место, куда бы можно было уехать.

Идеальным местом, конечно, явились бы баррикады, где во все времена умирали во имя любви тысячи отвергнутых. Однако в данный момент баррикад под рукой не было. Но этот недостаток компенсировался обилием растущих по всей стране строек, и Кирилл с надеждой обратил туда свой взор.

И тут пришла повестка. Как избавление. Как панацея от всех страданий и бед.

Мать, конечно, очень переживала и ездила в военкомат хлопотать об отсрочке, а Кирилл тем временем писал и тут же разрывал на мелкие части пространные любовные письма.

Он и из армии написал Римме два письма, но так и не дождался ответа, а когда наконец получил коротенькую писульку, она, как ни странно, не взволновала Кирилла. Он без трепета прочитал торопливые, неровные строчки и, сложив линованный ученический листок, спрятал его в карман гимнастерки и все носил с собой, собираясь ответить, но так и не собрался.

Отслужив положенный срок, Кирилл вернулся домой. Мать надеялась, что теперь-то сын наверняка возьмется за ум и станет готовиться в институт, но вместо этого Кирилл устроился слесарем на завод. «С лысинкой родился, с лысинкой и помрешь», — укорила его мать, когда Кирилл сообщил ей о своем решении.

Наверное, она была права, но Кирилл рассудил, что институт от него никуда не уйдет. Во-первых, он не знал, в какой именно институт ему следует поступать, а во-вторых, пока ему не хотелось учиться. Не хотелось — и все. Математикой он занимался по-прежнему, но никакой системы при этом не придерживался, а брался за формулы, когда нужно было развеяться.

Летом из институтов приезжали на каникулы друзья. По старой памяти частенько собирались посидеть у ко-

го-нибудь на квартире. Все почему-то сочувствовали Кириллу и наперебой советовали идти учиться. В другое время Кирилл наверняка бы обиделся или вспыл, теперь же он все чаще отмалчивался или отделивался шуткой, чувствуя, как дотоле крепкая цепь привязанности начинает где-то подаваться. Было какое-то явно неучтенное звено.

Кирилл присматривался к бывшим своим однокашникам. Они производили впечатление здоровых, не обойденных жизнью людей: смеялись громко, обо всем судили уверенно, и вообще у них была масса забот. Чувствуя себя лишним, Кирилл незаметно покидал шумные сборища и бродил в одиночестве по аллеям или читал дома. Он всегда много читал, а в последнее время в особенности, и все больше утверждался в мнении, что то неучтенное звено, о котором он все время думает, где-то близко, может быть, рядом, стоит только протянуть руку.

Однажды ему показалось, что он нащупал его.

Дело было летом, на юге. До этого Кириллу как-то не приходилось бывать на море, а тут он враз собрался и, получив отпускные, укатил «дикарем» в Крым.

Море поразило Кирилла.

Как громадное животное, оно лежало у его ног, тяжело водило боками, медленно вползая на берег и так же медленно отползая назад, оставляя на белом южном песке пышную бахрому пены. Трубный глас пароходов висел над водой, давил на перепонки, а сами пароходы вальяжно проплывали мимо и исчезали за выпуклым морским горизонтом.

В первый же день пребывания Кирилла на юге его соседом на пляже оказался здоровенный парень лет двадцати пяти с белыми ресницами и бровями.

Кирилл никогда в жизни не видел альбиносов, а сейчас перед ним лежал идеальный представитель столь редко встречающегося отклонения от нормы. Прищулив левый глаз, точно прицеливаясь, «идеальный представитель», как и Кирилл, не отрываясь, смотрел на море.

— Вот живут мореманы! — сказал он, когда мимо них торжественно проплыл похожий на айсберг трехпалубный теплоход-красавец, с которого доносились звуки джазовой музыки.

— Да-а, — неопределенно отозвался Кирилл. Он не понял, что хотел сказать парень: то ли завидовал моря-

кам на теплоходе, то ли, наоборот, сожалел о них. Простая житейская логика предполагала, несомненно, первое, но уж очень безмятежный для завистливого человека вид был у парня, и это предопределило нейтралитет Кирилла.

Проводив взглядом теплоход, парень зевнул и перевернулся на спину, подставив под солнце незагорелые грудь и живот. От долгого лежания песок и ракушечник плотно пристали к волосам на теле парня, но он словно бы и не замечал этого неудобства. Он лежал, как сытый тигр, которому лень шевелить даже хвостом.

Вечером они сидели в дощатом павильончике и, изнывая от духоты, пили кислое, освежающее «Алиготэ».

— Понимаешь, друг, — говорил парень, — я гарпунер. Китобой. Так сказать, скиталец морей. Ты думаешь, почему я все время щурюсь? Думаешь, сроду так? Не-е! Это я у пушки привык. Другой раз шлепнешь блювала там иль горбача какого, а он, паразит, вместо того чтобы лапки кверху, ныр — и нет его! Уйти, конечно, не уйдет, коль на лине сидит, но крови попортит. Того и гляди выпрыгнет, и уж тут не лопуши, бей наверняка. А у нас на востоке море не то, что здесь. Начнет кидать — э-эх ты! Три раза подбросит, один раз поймает. А кита на мушку в момент взять надо. Вот и жмуришься, что кот, всю вахту.

Парню, видно, нравилось рассказывать о своей профессии. Его сильные пальцы при этом сжимались в кулаки, будто впивались в невидимую пушку, он, как к панораме, прикинул к столу и весь напрягся, будто видел перед собой не кита — Левиафана.

Через несколько дней парень уехал.

— Не климат мне здесь, — сказал он Кириллу на прощанье. — Эти, — и Кирилл сразу понял, о ком идет речь, — знать, пообвыкли. А я нет. Двину восвояси. Рыбьим жиром детей обеспечивать.

Они обменялись адресами.

— Будешь во Владике, заходи, — сказал парень.

Домой Кирилл вернулся посвежевшим и возбужденным и, обнимая мать, сказал ей:

— Радуйся, ма, мы победили!

Мать не поняла, о какой такой победе говорит сын, и, хотя почувствовала, что он опять что-то затевает, не допытывалась ни о чем, ибо давно уже привыкла жить не для себя.

А Кирилл находился между тем в положении небезызвестного принца датского, который, бродя по коридорам родительского замка, терзался сакраментальным вопросом. Правда, по мнению Кирилла, принцу было легче. У него, по крайней мере, была ясная цель, явные и тайные враги, а в перспективе — престол.

Кирилл ничего не наследовал.

Врагов у него не было.

Оставалась цель.

Кирилл попробовал четко сформулировать ее. Исходных данных было маловато, но Кирилл оперировал ими не хуже самого квалифицированного программиста электронно-вычислительной машины. В конце концов картина стала проясняться. Любопытная картина, в которой весь передний план занимала фигура китобоя. Он пребывал где-то на краю земли, почти в другом измерении, но между фактом его существования и тем, над чем в последнее время ломал голову Кирилл, обнаруживалась, как ни странно, прямая связь.

Кирилл сразу обрел душевное равновесие. В общем виде задача была решена, оставалось выяснить кое-какие нюансы. Кирилл взял лист бумаги и написал письмо во Владивосток.

«Володя, — написал он, — все идет к тому, что я, наверное, скоро объявлюсь в ваших краях. Хорошо бы встретиться. Есть одна идея, которую надо капитально обмозговать. Давай договоримся так: ты даешь мне телеграмму, и я приезжаю. Думаю, что мы поймем друг друга. Словом, жду депеши, а пока разделаюсь с разными делами. К и р и л л».

Чтобы не томить мать, которую уже начинало беспокоить непонятное поведение сына, Кирилл напрямик объяснил ей свою затею:

— Еду на восток, — сказал он. — Пора свет по-видать.

Мать ужаснулась и попробовала было отговорить Кирилла, но, когда в качестве последнего аргумента сказала сыну, что тот живет не как все, Кирилл лишь усмехнулся:

— Видишь ли, ма, люди не могут быть одинаковыми. Они не доски в заборе.

И мать больше не стала спорить с ним, потому что достаточно наслушалась от сына умных рассуждений и знала его упрямый нрав. Она не обижалась на Кирил-

ла, но ей было очень грустно оставаться одной и опять подолгу ждать коротких сыновних писем.

На заводе Кирилл проработал до осени. От китобоя не было ни слуху, ни духу. Наверное, он гонялся в океане за своим Моби Диком, и это немного расстраивало планы Кирилла. Отныне ему приходилось надеяться только на самого себя. Конечно, такая неувязка не могла существенно отразиться на всем предприятии, разве что прибавлялось хлопот. Но от них нигде нельзя было избавиться, и, рассудив так, Кирилл взял расчет и стал собирать чемодан.

2

От дороги у Кирилла осталось ощущение непрерывного, неудержимого движения. Впрочем, так оно и было: словно захваченный химерической идеей обогнать время, поезд днем и ночью мчался вперед, нырял в тоннели, одолевал подъемы и спуски, с грохотом проносился по мостам. От стука колес некуда было скрыться, и даже во сне Кирилл чувствовал рывки и раскачивания пружинистого тела поезда.

Девять суток продолжался этот фантастический железный бег, и все это время Кирилл с изумлением смотрел на открывавшиеся перед ним пространства. Впервые он наяву представил себе размеры земли, на которой жил.

Во Владивосток поезд пришел утром.

Кирилл сдал чемодан в камеру хранения и первым делом отправился разыскивать китобоя. Согласно адресу тот обитал на улице Луговой, в доме номер восемнадцать. Порасспросив первых встречных о том, как пройти на Луговую, Кирилл через полчаса без особого труда нашел ее.

Дом номер восемнадцать стоял там, где ему и положено было стоять, но, как и думал Кирилл, самого китобоя в нем не оказалось. Соседи по квартире объяснили, что он уехал, а куда — они не знают. Он не предупредил их. Он вообще часто уезжает и никогда не предупреждает их, добавили соседи. Больше можно было не спрашивать.

Ночь Кириллу пришлось провести на вокзале: попытки устроиться в гостиницу успеха не имели. Кирилл не был ни командированным, ни представителем какой-

нибудь организации, ни, тем более, депутатом. В представлении администрации он был частным лицом, путешествующим из удовольствия, и ему полагалось самому заботиться о себе.

Однако, как вскоре уяснил Кирилл, такое неприкаянное существование уже таило в себе зародыши будущего успеха. Оно обостряло мысль, развивало в человеке инициативу, делало его предприимчивым. Законы диалектики действовали во всех сферах бытия, и Кирилл быстро ощутил на себе их благотворное влияние. Перебрав в уме возможные варианты, он остановился на одном, который, по его мнению, должен был избавить человека от необходимости ночевать на вокзале. Как-никак Владивосток был портом и, стало быть, своего рода рынком, а экономику рынка от века определяли спрос и предложение. В данном случае — спрос и предложение рабочей силы. Эта мысль утешила Кирилла, и он с новыми силами взялся за претворение в жизнь своих планов.

Действительность оказалась совсем не такой розовой, какой рисовал ее Кирилл. Люди в конторе порта, куда он пришел утром, не хотели считаться ни с диалектикой, ни с политэкономией. Чтобы устроиться хотя бы на маломальское суденышко, нужно было иметь, во-первых, матросскую книжку, а во-вторых, местную прописку. Или вербовочные документы, если ты приехал по вербовке.

Ни того, ни другого, ни третьего у Кирилла не было. Потратив на бесполезные разговоры уйму времени, он под конец дня вновь оказался на улице. Можно было подумать, что перед ним заколдованный круг. Но раздумывать о сложностях жизни на пустой желудок было не слишком приятно, и Кирилл направился в ближайшую столовую.

Там была очередь. Пристроившись в хвост, Кирилл приготовился терпеливо выстоять положенное время, но ему неожиданно повезло. Из зала вышел какой-то мужчина и стал разглядывать толпившийся у кассы народ. Заметив Кирилла, мужчина поманил его пальцем.

— Выручай, парень, — сказал он. — Понимаешь, заказал на двоих, а приятель где-то застрял. Стынет все. Может, составишь компанию?

Кирилл охотно согласился. Очередь двигалась еле-еле, а тут ему предлагали уже готовый стол.

Кирилл разделся и прошел в зал.

Мужчина оказался инженером-строителем. Весь обед он говорил о своих делах, называл цифры, помогающие представить размах строительства в городе, упоминал канализационные трубы, арматуру, кирпич, ругал заказчиков, задерживающих доставку материалов.

Кирилл слушал его вполуха.

— Сам-то где трудишься? — спросил инженер, заметив инертность собеседника.

— Нигде, — ответил Кирилл. — Безработный.

— По призванию или по необходимости?

Кирилл рассказал о своих затруднениях.

— Понимаю, — сказал инженер. — Сам когда-то мечтал. Правда, летать. Даже в аэроклуб поступал, да вестибулярный аппарат подвел. А ты вот что, — загорелся вдруг инженер, — ты дуй-ка на Камчатку. Или даже на Курилы. Там проще. Это здесь придираются, а там работяг всегда не хватает. — Он вытащил из пиджака блокнот и полистал его. — Сегодня у нас двадцать девятое? Сейчас, сейчас... Ага, вот. Пароход будет послезавтра. Бери билет на него и дуй!

В предложении инженера была изрядная доля здравого смысла, и Кирилл тотчас оценил это. Тем более что терять ему было нечего — Камчатка так Камчатка.

— Думаете, стоит? — спросил он на всякий случай, уже твердо зная, что сегодня же побежит покупать билет.

— И думать нечего! Раз мечтаешь, надо добиваться, — ответил инженер.

Денег за обед он не взял.

— Побереги, — сказал он. — Мне эти полтора рубля погоду не сделают, а тебе пригодятся. Желаю удачи!..

В тот же вечер Кирилл купил билет на пароход и через день ранним ноябрьским утром отбыл на Камчатку.

Пароход назывался «Азией» и был таким же, как материк, громадным. Стояло время осенних штормов, но море ничего не могло поделать с пароходом: днем и ночью он без натуги утюжил волны, оставляя позади себя широкий, пузырящийся, как кипятки, след.

По утрам Кирилл обычно уходил на корму и часа-

ми простаивал там — смотрел, как пассажиры кормят всякой всячиной летящих за пароходом чаек.

Пронзительно крича, птицы пикировали на добычу, в момент расправлялись с ней, потом редкими, но сильными взмахами косых крыл легко догоняли пароход, подолгу парили вровень с палубой, и это свободное, мощное парение среди брызг и тяжкого грохота океана вызывало в душе Кирилла торжественное, похожее на религиозный экстаз чувство.

А однажды Кирилл увидел косаток. Их лучевидные твердые плавники вспороли воду поблизости от парохода. Затем, как по команде, косатки выпрыгнули из воды. Черные, лоснящиеся тела животных описали над сумятицей волн пологую дугу и с маслянистым всплеском вновь погрузились в пучину. И вновь Кириллом овладело неведомое ему доселе чувство: он словно бы и сам в этот момент погрузился в бездонную глубь океана, ощутил ее холод и мрак, ее ничем не нарушаемую тишину, и ему на миг сделалось жутко и вслед за тем радостно — оттого, что страх был всего-навсего наваждением, а не реальностью.

Вечерами на пароходе зажигались огни и гремела музыка. Пассажиры собирались в теплых, уютных салонах и наслаждались покоем. И вряд ли кто-нибудь из них думал в эти минуты о том, что под ними не привычная земная твердь, а непроглядная толща черной воды, которая только и ждет малейшей оплошности, чтобы ворваться в пароход и поглотить всех. А если кто и вспоминал об этом, то старался отогнать прочь пугающие мысли, во всем полагаясь на тех людей на мостике, чьи опыт и мастерство помогали пароходу одолевать мрак и волны.

Не думал об этом и Кирилл; и когда под вечер шестых суток «Азия» пришла в Петропавловск, он сошел на берег не без сожаления.

Через пять минут поток пассажиров выплеснул Кирилла на улицы Петропавловска. Было уже темно, и это обстоятельство заставило Кирилла торопиться с отысканием ночлега. Вокзала, где бы можно было по привычке пересидеть ночь, в Петропавловске не было, явочных квартир тоже, и Кириллу волей-неволей приходилось опять идти в гостиницу. Печальный опыт подсказывал ему, что чудес на свете не бывает, но так уж устроен человек: Кирилл шел и втайне надеялся на удачу.

Вскоре, однако, иллюзии рассеялись: мест в гостинице не оказалось. Зато здесь можно было устроиться в коридоре, и Кирилл без лишних разговоров и домогательств абонировал два кресла. Приспособив под голову чемодан, он, как мог, улегся в креслах и стал составлять план дальнейших действий.

Петропавловск ему не нравился. В городе, где по улицам ходили вполне современные автобусы, а в гостинице не было мест, за здорово живешь наверняка ничего не делалось. Только на периферии можно было рассчитывать на снисхождение. Несомненно, таким местом были Курилы. Это была периферия из периферий. Правда, Кирилл не совсем ясно представлял, как она выглядит, но был твердо уверен, что, как и на всех островах, например, на Бермудских, люди на Курилах живут в бунгало или в тростниковых хижинах и исповедуют простоту нравов.

Размышляя таким манером, Кирилл задремал, и ему успели присниться бронзоволицые добрые аборигены, которые наперебой приглашали его в свои хижины.

Посреди ночи Кирилла разбудила дежурная и сказала, что освободилась койка в шестиместном номере, и, если молодой человек желает, она устроит его. Разумеется, Кирилл желал. Никто не гарантировал ему быстрого отъезда из Петропавловска, и иметь свой угол было просто необходимо.

Проспав остаток ночи в тепле и удобстве, Кирилл утром отправился в порт.

Запутанней его не мог быть даже лабиринт Минотавра. Кирилл, как слепой, ходил по бесконечным переходам, то и дело оказываясь в тупике или натываясь на глухую стену очередного пакгауза, пока один из портовых грузчиков не объяснил ему, как пройти к диспетчерской.

— На Курилы? — переспросил его там хмурый, невыспавшийся мужчина в форменном морском кителе, — Машенька! — крикнул он в другую комнату. — Что там у нас есть на Курилы?

— Оказия с четвертого причала, — тотчас откликнулась невидимая Машенька. — В одиннадцать ноль-ноль.

Мужчина посмотрел на часы и повернулся к Кириллу:

— Слыхал? Так что, пока, брат, не поздно, беги на четвертый причал, может,хватишь еще оказию.

Простота, с какой совершилось все дело, приятно поразила Кирилла. Его ожидания начинали сбываться. И это здесь, в Петропавловске! А что же будет на Курилах? Но думать об этом было некогда. У четвертого причала Кирилла дожидалась еще никогда не виданная им «оказия», которая должна была отвезти его в благословенный край, но которая, однако, могла уйти и без него, если он будет тут рассусоливать.

Забежав в гостиницу за чемоданом, Кирилл сломя голову кинулся обратно в порт. Побегав бодрой рысью среди гор из бочек, ящиков и мешков, он наконец, как бегун на финишную прямую, вырвался на четвертый причал.

«Оказия» в лице небольшого парходика, слава богу, еще стояла у пирса и, как показалось Кириллу, никуда не торопилась, а рядом с ней на перевернутой бочке сидел громадный дядька, как две капли воды похожий на самого Оноре де Бальзака. Сходство было до того поразительным, что в первый момент Кирилл даже опешил. Казалось, дядька сейчас встанет, раскланяется и обратится к нему по-французски.

По природе Кирилл был человеком не слишком общительным, быстро сходитьсь с людьми не умел, но в этот раз в нем еще не угасла инерция разгона, и он воспользовался ею.

— Сидим? — спросил он у «Бальзака», как у старого знакомого.

— Угу, — прогудел тот, помахивая здоровенной, под стать себе, самокруткой.

— Ну-ну, — сказал Кирилл многозначительно, будто намекая на что-то.

Поскольку ответа больше не последовало, Кириллу не оставалось ничего другого, как прошеествовать дальше по пирсу. У конца пирса он понаблюдал за рыбаками, которые с помощью обыкновенной бечевки с пустым крючком поддевали из воды плоскую, похожую на бурый осенний лист камбалу, подивился глупости этой рыбы и вернулся назад.

«Бальзак» сидел в прежней позе и все еще курил, выпуская дым чуть ли не из ушей. Теперь, когда Кирилл подошел к нему вплотную, он в полной мере оценил габариты сидевшего перед ним человека: голова «Баль-



зака» находилась на уровне лица Кирилла. Бальзакоподобный дядька посмотрел на Кирилла, как цыган на лошадь.

— Так вот и в ботиночках?

Сам он был в необъятных валенках с галошами, в овчинном полушубке и в шапке-ушанке с кожаным верхом. Само собой разумелось, что в таких доспехах он чувствовал себя уверенно; и хотя было не очень холодно, но, что ни говори, начинался декабрь, и на фоне шуб, малиц, бекеш и прочей меховой рухляди Кирилл выглядел до неприличия легкомысленно.

— Так вот и в ботиночках, — подтвердил он.

— Понятно, — с нажимом сказал «Бальзак». — Денегки небось тю-тю, спустил?

Он явно принимал Кирилла за отпускника, возвращавшегося с материка, пропившегося и прогулявшегося в пух и прах.

Почему-то Кириллу захотелось поддержать в нем эту уверенность.

— А как же, — бахвалясь сказал он, — быть у воды и не замочиться? Столицы, сами знаете, валюты требуют. Карету взял — гони зелененькую. Шампанское тоже задаром не дают. Опять же нищета куртизанок. Сами же писали.

«Бальзак» нахмурился.

— Что я писал? Ты, парень, ври, да не завирайся. По ухватке вижу: рыбак небось иль китобой. А у них деньги бешеные, потому и не берегут. На берег вырвутся, зальют zenки, а потом без порток опять в море.

Кирилл понял, что сходство его нового знакомого с классиком французской литературы чисто внешнее: автор «Человеческой комедии» изъяснялся более изысканно.

— А вам кто не велит? — спросил он.

«Бальзак» искренне удивился:

— А мне зачем? Худо-бедно — две сотни с выслугой имею. Хватает.

— Мелкомасштабно мыслите, дядя, — с превосходством сказал Кирилл. — Две сотни по теперешним временам — тьфу, ничего! От аванса до получки.

— Скажите, какой миллионер... — протянул «Бальзак». — То-то я и гляжу: шея у тебя как у быка хвост.

И он захохотал, показывая крупные, здоровые зубы, уверенный, что сразил противника наповал.

Неизвестно, чем бы закончился этот разговор, если бы вдруг не затарахтела и не засвистела «оказия». Потом в рубке отворилась дверь, и чья-то голова в фуражке с «крабом» вежливо осведомилась:

— Эй, на пирсе! Пешочком потопаете или как?

— «Или как»! — передразнил голову «Бальзак» и слез с бочки. — Выдыхались, а теперь торопят, — ворчал он, направляясь к сходням, возле которых неизвестно когда появился чернявый, все время подтанцовывающий парень в тельняшке под распахнутым ватником.

Пропустив «Бальзака» и Кирилла, парень убрал сходни и, все так же подтанцовывая, пошел на нос пароходика, где другой парень, тоже в тельняшке и ватнике, возился с причальным канатом, укладывая его восьмеркой вокруг торчащих вдоль борта железных чушек.

— Сюда, — сказал «Бальзак», когда Кирилл в нерешительности замешкался на скользкой от солярки палубе, не зная, в какую сторону ему идти.

Они прошли на корму и по круто уходящему вниз трапу спустились в тесный коридор с рядами одинаковых дверей по обеим сторонам.

«Бальзак» плечом толкнул одну из них.

Каюта, в которой они очутились, была, как и коридор, тесна и, по всей вероятности, служила пристанищем транзитникам вроде Кирилла. Здесь были две похожие на обыкновенные топчаны койки, наглухо привинченный к полу стол и железная раскладная скамья. На койках лежали матрацы и подушки без наволочек. Единственный иллюминатор упирался в серый бетон пирса, покрытый жирными потеками солярки и зелеными, скользкими водорослями. Слышалось шипение вырывавшегося откуда-то пара, тяжелые всплески загустевшей зимней воды.

Кирилл засунул под койку чемодан, разделся и, не снимая ботинок, растянулся на матраце, прислушиваясь к дрожи тонкостенных перегородок, к выкрикам и топоту наверху. В иллюминатор было видно, как, отдаляясь, проплыла мимо стена пирса, как кончилась она, открыв серое низкое небо, пропоротое мачтами стоявших в порту судов.

— Поплыли, — сказал Кирилл, радуясь тому, что все так ловко устроилось, что впереди его ждут хотя и неизвестно какие, но все равно перемены. Было немно-

го тревожно и грустно, и хотелось, чтобы кто-нибудь махнул сейчас рукой с пирса.

— Лопатку проскочим, а там, считай, дома, — сказал «Бальзак». Он покрепче закрутил барашки иллюминатора, потом выволок из-под койки битком набитый баул и стал что-то искать в нем.

— Какую Лопатку? — не понял Кирилл, занятый своими мыслями.

«Бальзак» посмотрел на него, как на больного.

— Тебя, парень, что — пыльным мешком по голове стукнули? Одна здесь Лопатка!

Кирилл, вспомнивший, с чего все началось, рассмеялся.

— Ты извини меня, дядя, — сказал он, — я ведь на Востоке впервые.

— Та-ак, — помолчав, сказал «Бальзак». И поинтересовался: — Вкалывать или, может, в гости?

— Вкалывать, дядя. Наниматься еду. Говорят, у вас тут работать некому.

И тут Кирилл почувствовал, что допустил какую-то оплошность, потому что маленькие глазки «Бальзака» вдруг хищно сверкнули, а ноздри раздулись. Бросив баул, он с неожиданным проворством пересел на койку к Кириллу.

— Слушай, мил-человек, — заторопился он, — а зачем тебе наниматься? Иди ко мне!

— Это куда же? — осторожно поинтересовался Кирилл, не ожидавший такого стремительного развития событий.

— На почту. Письма возить.

— Тогда не по адресу, — сказал Кирилл. — Ты что, дядя? Какие письма? Я в море уйду!

— Дурак, — просто сказал «Бальзак». — Утонешь, как пить дать утонешь! А мне человека во как надо! В кадрах, вишь ли, был нынче. Нету, говорят, человека. На месте, говорят, подбирай. А кого подбирать, ежели нету! Человек не бревно, на дороге не валяется.

Он перевел дух, но, заметив, что его слова не производят должного действия, усилил натиск.

— Да ты в положение войди! Шумный — раз, Курбатов — два, Почтарёво — три, — стал загибать он пальцы, и Кирилл заметил, что на левой руке у него не хватает трех. — Все в разных концах, и всюду Кулаков

мotaется, ну прямо разрывается парень. А ты — наниматься. Некуда сейчас наниматься, зима на носу.

— Найду куда, — беспечно сказал Кирилл. Он был настроен оптимистически.

«Бальзак» усмехнулся со знанием дела.

— Найдешь, как же! Гальюны драить, факт!

— Знаешь, дядя... — сказал оскорбленный Кирилл, но «Бальзак» не дал ему договорить.

— Знаю, милый, знаю! Побережный, — тут он ткнул себя кулаком в грудь, — все знает! Четвертной скоро, как здесь. Спроси любую собаку на островах, она тебе скажет, кто такой Побережный. Так вот я и говорю: наниматься сейчас — дохлое дело. С весны надо.

Кириллу стало скучно. «Бальзак» оказался всего-навсего Побережным, и еще неизвестно было, подозревал ли вообще последний о существовании великого романиста.

— А подъемные дадите? — спросил он, желая перевести разговор на шутливую волну. Но он не на того напал.

— Дам! — твердо ответил почтмейстер. — Два месячных оклада.

В дверь просунулся подтанцовывающий матрос.

— Григорь Митрич, чайком побаловаться не желаете? — весело предложил он.

— Закрой дверь! — приказал окончательно разоблаченный «Бальзак». — Поговорить с человеком не дадут!

Парень обиделся.

— Как хотите, — сказал он. — Наше дело телячье, было бы предложено.

— А может, попьем? — сказал Кирилл, обрадовавшись возможности замять дело и вспомнивший, что у него с вечера не было во рту маковой росинки.

— Э-эй, Яшка! — закричал «Бальзак»-Побережный. — Стой! Скажи коку — придем сейчас. И не бычься, никто тебя не боится. Подумаешь, цаца, слова сказать нельзя!

Ничего не ответив, парень вышел из каюты, громко хлопнул дверью. Побережный осуждающе покачал головой.

— Видал? От горшка два вершка, а уже с характером.

В кают-компании никого не было. Хозяйничая, словно у себя дома, Побережный достал из шкафчика над

столом стаканы, сахар и хлеб, а из холодильника — масло. Потом куда-то исчез и через минуту вернулся, неся в вытянутой перед собой руке kloкочущий, как вулкан, чайник. Грохнув чайник на стол, он подул на обожженные пальцы и, подмигнув Кириллу, вытащил из-за пазухи пузатую алюминиевую флягу.

— Спиртишки у меня тут немного. Ты как, а? Для знакомства?

— Все ясно, — сказал Кирилл. — Думаете подписать контракт, дядя?

— Думала Манька выходить за Ваньку, а я ничего не думаю, — ответил Побережный.

Он налил себе и Кириллу по полстакана, завинтил флягу и убрал ее обратно за пазуху.

— Разведенный, — предупредил он.

Они выпили, и Побережный тут же налил в стаканы чай. Кирилл с наслаждением задохнулся терпкой, деготного цвета жидкостью, стараясь заглушить во рту кисловатый привкус спирта.

— Ты ешь, ешь, — потчевал его Побережный, наворачивая на хлеб шматы масла и подкладывая куски Кириллу.

К разговору он пока не возвращался, но Кирилл понимал, что это ненадолго, что так просто Побережный от него не отступится.

Желая раз и навсегда определить свою позицию, Кирилл сказал:

— Я понимаю вас, уважаемый почтмейстер, но и вы поймите меня. Мне нет никакого дела ни до ваших писем, ни до вашего Кулакова. Я несознательный. Это факт, хотя мне и грустно признаваться в этом.

Побережный вздохнул, словно всплывший на поверхность кит.

— Ну и черт с тобой! — сказал он. — Все вы нынешние одинаковые. Вам бы только урвать, а там хоть трава не расти.

Остаток трапезы прошел в молчании. Подождав, пока Кирилл насытится, помрачневший Побережный убрал со стола и ушел в каюту. Кириллу хотелось покурить на холодке, и он поднялся на палубу.

Пароходик резво бежал в виду берега. Он, как стена, нависал с правого борта, расчлененный рядами островерхих заснеженных гор. Горы клубились. Ветер, переваливая через горы, срывал с них снег.

Кирилл вспомнил физическую карту частей света, висевшую у них в классе. На ней Камчатка была похожа на древнюю окаменелую рыбу. А также — на каменное рубило первобытного человека, которое было нарисовано в учебнике истории для младших классов. Тогда он даже не мог подумать, что когда-нибудь побывает на этой таинственной земле. И вот сейчас он уплывает от нее еще дальше, к не менее таинственным островам, за которыми земля обрывается куда-то в тартарары.

Спрятавшись от ветра, Кирилл вытащил сигареты. Нужно было обдумать текущий момент.

Он не принял всерьез слова Побережного о трудоустройстве. Почтмейстер, конечно, заливал, стращал, хотел заполучить работника. А вот с деньгами действительно проблема. Эти переезды сожрали весь его бюджет. В который раз пересчитав замусоленные кредитки, Кирилл пришел к выводу, что, если экономить, недельку он еще протянет. А там...

Здесь Кирилл немного отвлекся, потому что прямо над ними вывалился из неба косокрылый Ту и, развернувшись, стал медленно снижаться, нацеливаясь на далекий, скрытый горами аэродром. Самолет опускался все ниже, как ноги выставив перед собой шасси, но у самой земли вдруг задрал нос и лег на новый разворот.

— Не приняли, — вслух сказал Кирилл. — А может, не рассчитал.

Самолет уходил все дальше, то растворяясь в белеющей дымке хмурого камчатского дня, то, как на экране, проецируясь на снежных склонах далеких гор. Почти за пределами видимости, наверное, уже над Курилами, он снова развернулся и опять нацелился на аэродром, и опять его не приняли, и опять, задрав нос, он ушел в вышину, чтобы очертить очередное громадное кольцо. И еще девять раз с механическим упорством пробовала коснуться земли тяжелая летающая машина; и девять раз Кирилл загадывал про себя — сядет или нет? Когда же из долины, где скрылся и откуда больше не показывался самолет, донесся гром тормозящих двигателей, Кирилл облегченно перевел дух.

— Фу, черт! — сказал он и вытер вспотевший лоб. — Сел. Натерпелись небось летуны...

Пустячный вроде бы случай произвел на Кирилла неожиданное действие. Ему вдруг с особой ясностью

приоткрылась несоизмеримость человеческой ответственности: те летчики, что одиннадцать раз заходили сейчас на посадку, — вот это парни! Попробуй-ка попетляй между гор на такой машине! Да еще с пассажирами. Работка!..

И, как это иногда бывает, собственные интересы и заботы показались Кириллу мелкими и никчемными, а сам себе он — беспомощным и жалким. Он с раздражением отшвырнул окурок и пошел в каюту.

Побережного в ней не оказалось, и это обрадовало Кирилла. Ему не хотелось сейчас никого видеть, а тем более ни с кем говорить. Он лег на койку и с головой накрылся пальто. Неизвестно отчего, то ли от выпитого натошак спирта, то ли оттого, что пароходик раскачивало, Кирилл слегка поташнивало. Он слышал, как пришел Побережный, но сделал вид, что спит. Побережный долго кряхтел и что-то перекладывал с места на место — наверное, опять разбирал баул, потом тоже лег и тотчас захрапел. Кирилл подумал, что и ему не мешало бы соснуть, тем более что по московскому было уже за полночь. Он закрыл глаза и постарался ни о чем не думать, но сон не шел. Мешал храп Побережного, вибрирование переборок, доносившиеся откуда-то голоса. Тогда Кирилл стал в уме считать слонов, как делал в детстве, когда хотел уснуть. Это была целая система, целая йога, которая всегда действовала безотказно. Нужно было представить себе широкую, плавно катящуюся реку, высокий берег и большое заходящее солнце. Слоны выходили на берег и медленно шли вдоль него, четко выделяясь на красном закатном небе. «Восемнадцать, девятнадцать, двадцать», — считал Кирилл, чувствуя, как тяжелеют веки. На шестом десятке слоны стали разбредаться, и незаметно для себя Кирилл заснул.

Он спал тяжелым, беспокойным сном, все время чувствуя и движение пароходика, и движение грузной воды вокруг него.

Сначала в этом движении не было ничего угрожающего: волны походя шлепали о железо, и эти шлепки напоминали ласковые материнские похлопывания по крепкому заднику любимого дитяти. Но потом что-то враждебное вторгло в мир: в его звуках Кириллу слышалось что-то такое, что явно посягало на его безопасность. Это «что-то» пока не имело плоти, но, не-

сомненно, таило в себе угрозу. Бодрствующие очаги сознания сигнализировали о ней, но Кирилл никак не мог стряхнуть с себя охватившее его душное оцепенение. Наконец ему удалось сделать это, и он сел на койке. В следующий момент ему пришлось ухватиться за нее, потому что пароходик вдруг наклонило так, что чемодан Кирилла вылетел из-под койки и со скрежетом поехал по полу. Не успел пароходик выпрямиться, как сильный удар по борту — точно по нему с размаху хватила кувалдой — поверг его на другой бок. Загудело, застонало железо.

Только теперь Кирилл окончательно пришел в себя и осознал, что в каюте темно, и понял, что проспал до вечера. С трудом держась на ногах, он подошел к двери и нащупал выключатель. Тусклая лампочка вспыхнула в матовом плафоне под потолком, осветив разбросанные по каюте вещи и смятые постели.

В каюте было душно, противно пахло нагретой краской, и Кирилл вдруг почувствовал, как к горлу тяжелым комком подступает тошнота.

За дверью грохнуло, и в каюту ввалился Побережный.

— Уф! — выдохнул он, вытирая мокрое лицо. — Прихватило-таки. Окаянное место! Теперь до утра будем плясать, ночью по такой погоде в пролив не сунешься.

— Где мы? — спросил Кирилл, заталкивая комок обратно в себя.

— Известно где — у Лопатки!

Побережный повесил полушубок и стал стаскивать валенки.

— А ты мастак давить, паря, — весело сказал он. — Шесть часов на одном боку. Смотри, глаза зарастут.

От его мрачного настроения не осталось и следа. Он босиком ходил по каюте и собирал валявшиеся на полу вещи. Водворив все на прежние места, он сказал:

— Ты как насчет поесть? А то быстро организуем.

— Не хочу, — ответил Кирилл. Он накинул пальто и, не слушая говорившего что-то вслед ему Побережного, вышел из каюты и полез по трапу на палубу.

Наверху творилось нечто ужасное. Океан ревел и всей своей тяжестью наваливался на пароходик, стараясь подмять его под себя. Скрипя от натуги, судно каким-то чудом держалось на поверхности.

Сразу подавившись ветром, оглушенный ревом, воем и свистом, Кирилл вцепился в какую-то железную штуковину на палубе, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в кромешной тьме за бортом. Вровень с ним, как живой, бился разбушевавшийся ночной океан. Над головой, будто привешенные за веревку, вихлялись из стороны в сторону огни на мачтах, и, кроме этих дрожащих проблесков, призрачным светом освещавших верхушки мачт, да время от времени мигавшего прожекторного луча, ничто не озаряло темноту штормовой ночи.

На воздухе дышалось легче, но зато Кирилл вмиг вымок. Глотнув воздуха про запас, он снова спустился в каюту.

Побережный, голый по пояс, сидел на койке, и Кирилл чуть не ахнул от изумления, разглядев могучий торс почтмейстера, сплошь заросший густыми черными волосами. Собственно, это были даже не волосы, а самый настоящий мех, гладкий и плотный, как у собаки, который так и хотелось погладить. На газете перед Побережным лежали две выпотрошенные селетки и полбуханки черного хлеба.

— В самый раз появился, — встретил он Кирилла. — Присаживайся, вдарим по рыбке. Милое дело в такую погоду!

Кирилл с отвращением посмотрел на снесь. Ни за какие блага в мире он не согласился бы сейчас съесть хоть один кусок: в духоте его снова затошнило, и, чтобы скрыть это от Побережного, он плюхнулся на койку и отвернулся к стене.

— Зря, — сказал Побережный. — Организм в качку соленого требует. Ты только попробуй, потом тебя за уши не оттащишь. А этого добра здесь навалом — под трапом целая бочка стоит.

Кирилл молчал.

— Чудак человек, — не унимался Побережный. — А еще в море собрался. Вот оно, море, кругом — и сверху и снизу. На-ка, пососи хвостик.

— Отстань, — сказал Кирилл, не оборачиваясь.

Он закрыл глаза, и время потянулось, как патока. Пароходик продолжало валять с прежней силой, Кирилла мотало, точно куклу, и скоро он понял, что в каюте ему долго не продержаться.

Чавканье за спиной выводило Кирилла из себя. Он обернулся и с ужасом уставился на Побережного.

Тот, словно Гаргантюа, поглощал кусок за куском. Селедка на глазах исчезала в его ненасытном чреве. Не в силах больше страдать, Кирилл зажал рот руками и бросился вон из каюты.

В коридоре он отыскал дверь с надписью «гальюн» и, как в спасение, нырнул в нее. В тесной железной коробке было жарко, словно в преисподней, в унитазе утробно булькала перекачиваемая под пароходиком вода, а глаза невыносимо щипала хлорка.

Кирилл попробовал искусственным путем облегчить свои страдания, но верное средство — два пальца, засунутые в рот, — на этот раз не помогло. Полуживой, Кирилл вывалился из гальюна и чуть не на четвереньках выполз по трапу на палубу.

Теперь ему было все равно. Отплевываясь от захлестывающей палубу воды, он на ощупь пробрался к закрытой брезентом шлюпке и присел возле нее, обеими руками уцепившись за трос.

Там и отыскал его Побережный.

— Жив? — заорал он. — А я уж подумал, что ты того, пошел рыбок кормить! Нет, паря, пусть уж лучше они нас покормят! А? — И он потряс перед носом Кирилла рукой с зажатой в ней селедкой. Он, как видно, справился с первыми двумя и приходил за новой порцией. — Поешь, говорю, она нутро укрепляет!

Резкий селедочный запах окончательно доконал Кирилла.

— Иди ты со своей рыбкой знаешь куда?! — закричал он. Он хотел добавить, куда именно, но тут очередная волна совсем положила пароходик на борт, едва не оторвав Кирилла от троса.

Побережный тоже ухватился за него, опустившись рядом с Кириллом на корточки.

— Эх ты, моряк с печки бряк! — сказал он. — Тебе дело говорят, а ты ерепенишься. В шторм одно спасение — селедка. Соси себе потихоньку — и никакая морская болезнь не возьмет. Ну, пошли вниз, здесь много не насидишься...

Ночь длилась бесконечно долго. Пароходик скрипел всеми частями и дрожал, как загнанная лошадь.

Кирилл лежал на койке и боролся с приступами

морской болезни. Слова Побережного задела его за живое, и он решил доказать, что тоже не лыком шит.

Под утро с палубы донеслись крики, слова команды, и что-то загрохотало, сотрясая все существо пароходика.

Побережный, который до этого лежал неподвижно и, казалось, спал, привстал на койке.

— Никак якорь отдают, — сказал он, прислушиваясь к тому, что делалось на палубе. — Точно, якорь. Стряслось что-то. — Он сунул ноги в валенки. — Ты лежи, — велел он Кириллу, — а я схожу узнаю, в чем там дело.

Вернулся он минут через десять.

— В пролив наш линкор тащит, — сообщил он. — Течение здесь такое, что черта своротит, а у нас всего пятьсот сил. Якорь-то бросили, а дно не держит, камень попался. Машиной подрабатываем. Ничего, до света, глядишь, продержимся, а там легче будет.

Кирилл живо представил себе создавшееся положение: огромный разбушевавшийся океан, крохотный кораблик, который затягивает в пролив, каменное дно, где не за что зацепиться якорю, людей, что собрались сейчас в рубке и всматриваются через черные стекла в кипящий зев пролива.

— А если не продержимся?..

— Если бы да кабы... Да ты не бойся! Митрофан — капитан что надо! Зубами будет держаться, а не даст затащить. В крайнем — на берег выбросится.

Сказано это было спокойно, как будто речь шла о спичечном коробке, а не о пароходе, и Кирилл невольно подумал, что этот человек, который кажется ему смешным со своими заботами о каких-то письмах, совсем не смешной, а много повидавший и не раз, наверное, встречавшийся в жизни со смертью.

К утру ветер стал как будто стихать.

Рассвет осветил недалекий берег: справа — унылый пологий мыс с одиноко торчащей башней маяка, слева — обрывистые бока приземистого, похожего на старинный дредноут острова.

Океан все еще не оставлял попыток затащить пароходик в пролив и там бросить его на камни, смять, сплющить, размозжить. Волны, как взбесившиеся стада доисторических животных, блестя мокрыми спинами, еще

метались по неоглядному пространству океана, но это была уже агония.

— Вот она, Лопатка, — кивнул Побережный вправо. — Веселёнькое местечко! Ни подхода, ни прохода: с двух сторон море, а с третьей — горы. Летом еще туда-сюда, через перевал на собачках проехать можно, а зимой сидят, что твои суслики. Почту с самолета сбрасывают. Да и летом-то не очень разгонишься. Смотря какой год. Бывает, снег до июля лежит. Я раз чуть не остался там. На перевале. Пурга прихватила.

— Ну и как же? — поинтересовался Кирилл.

— А вот так же: промеж собачек схоронился и три дня, как медведь, лапу сосал. Три пальца и съел тогда напрочь. По пальцу на день.

— Отморозил?

— А ты думал, и взаправду съел?

Кирилл смотрел на заснеженный угрюмый остров. Не было ни бунгало, ни тростниковых хижин. Даже деревья не росли на этой глыбе дикого камня, поднявшейся из пучин. Только низкие тучи проносились над ней, цепляясь за скалы, оставляя на них свои клочья, да ревел прибой, исторгая на остров неуголимую тысячулетнюю ярость.

Побережный взглянул на небо, потом на море.

— А ветерок-то заходит. На нашу сторону. Часа через два запад потянет. Не будем дураками — за это время проскочим пролив.

Кирилла снедало нетерпение. Обетованная земля была рядом, она вырастала на глазах, и ему казалось, что стоит только ступить на нее, как все образуется.

С этим настроением он и сошел на берег, когда к полудню пароходик, точно усталый пес в сапог хозяина, ткнулся носом в ноздреватый бетон пирса.

— Ну, прощевай, — сказал Побережный. — Вольному — воля.

Он оглядел Кирилла и недовольно фыркнул. Потом снял с рук меховые варежки с отворотами и протянул их Кириллу:

— На вот, горе луковое! Вырядился, как стрекулист, и думает, больно ладно. Отвалятся грабки-то!

Кирилл понял, что отказываться нельзя.

— Спасибо, — растроганно сказал он.

— «Спасибо, спасибо...» Спасибо, парень, в карман не положишь. Вот так-то! Приключениям ему захоте-

лось! Ну поплавай, поплавай, авось узнаешь, почему там говядина...

Побережный забросил за плечи баул и по развороченной тракторами дороге стал подниматься к подножию пологой сопки, возле которой, как ласточкины гнезда, сгрудились в кучу серые деревянные домишки.

3

Работы не было. Везде требовались специалисты: тралмастеры, мотористы, радисты, на худой конец дизелисты с дипломом средней мореходки, но никто не хотел брать человека, не умевшего хотя бы плести кранцы или сращивать концы. Зимняя путина шла вовсю, команды на судах были укомплектованы. Конечно, время от времени с моря возвращался какой-нибудь сейнер, которому требовались люди, но в порту всегда имелись те, кто так или иначе был связан с промыслами, и капитаны были разборчивы. Никто не удостоил Кирилла взглядом. «Балласт сейчас никому не нужен», — напрямик объяснил ему один из капитанов, видимо, самый сердобольный. Другие были немногословнее. Другие просто говорили: «Нет».

Кирилл ходил из одной конторы в другую, проклиная себя за то, что в свое время не приобрел человеческой специальности. Подумаешь, слесарь! Гайки крутить — особого ума не надо. То ли дело радист, рассуждал он. Сиди себе в отдельной каютке и стучи ключиком: точка, тире, точка. Чисто, хорошо. Тяжести поднимать тебе не разрешают, чтобы руку не утрудить. А то не дай бог отстукаешь что-нибудь несусветное.

Ночевал Кирилл где придется, где заставала ночь — у рыбаков на судне, у солдат в казарме, а несколько раз в клубе у загулявшего киномеханика. Бродягой его никто не считал, потому что их здесь не было. Все находились при деле. Были, правда, «бичи», как называли отиравшихся в порту запьянствовавших моряков, но к ним давно привыкли и особого зла в них не видели. Бичи были опасны только в дни получек, когда они всеми правдами и неправдами выуживали у моряков деньги, но в эти дни моряцкие жены выставляли у касс настоящие пикеты против бичей, так что они в большинстве случаев оставались при своих интересах.

К концу недели Кирилл обошел весь Северо-Ку-

рильск, но дело с места не сдвинулось. Оставался единственный выход — идти на рыбоконсервный завод в Козыревском. Там брали охотно. Там всегда был дефицит рабочей силы, а обучиться ремеслу подсобного рабочего было делом нехитрым: новички за пару дней легко осваивали несложные обязанности, суть которых выражалась простейшей формулой — поднять и бросить.

Деньги таяли, как дым, и в один из дней Кирилл с последним трояком в кармане перебрался в Козыревский.

Поселок напоминал джек-лондоновский Клондайк: деревянные, полузасыпанные снегом дома, собачьи упряжки на улицах, разнообразие меховой и кожаной одежды. Был здесь и собственный «салун» — просторная столовая, стоявшая особняком на бугре. Там собирались вернувшиеся из рейса рыбаки, чтобы пропустить стаканчик-другой и обсудить свои дела, сюда заскакивали вечно куда-то спешившие, молчаливые каюры, чтобы согреться крепким чаем, сюда шел тот, кому не терпелось узнать последние новости, или тот, кому просто не сиделось дома. Одновременно столовая служила биржей, и поэтому Кирилл первым делом направился туда.

В столовой было шумно и дымно. Таблички на стенах «Не курить» и «Не сорить» никого не смущали: все курили, сорили и говорили разом, и неискушенному было нелегко с одного взгляда разобраться в обстановке.

Постояв у двери, Кирилл наконец разглядел в глубине столовой незанятый столик. Натыкаясь на стулья и ноги сидевших, он пробрался к нему. Сидеть за столом просто так ему казалось неудобным, и он решил что-нибудь заказать. Внимательно изучив меню и прикинув свои финансовые возможности, Кирилл решил не разбрасываться и обойтись макаронами по-флотски и чаем.

Три официантки с белыми марлевыми наколками в волосах не торопились, и, ожидая, когда какая-нибудь из них подойдет к нему, Кирилл принялся рассматривать сидящих в зале.

Его внимание привлекла живописная группа через столик от него. Это были явно рыбаки, все молодые парни, в блестящих от жира сапогах, в прорезиненных плащах и зюйдвестках, беспечно сдвинутых на затылок. От парней за версту несло тузлуком, морем и рыбой. Дымя сигаретами, парни с живейшим интересом обсуж-

дали, видимо, очень важный для них вопрос, то и дело поминая какого-то Кольку, который надеется только на туфту, а сам мышей не ловит. Время от времени парни звякали стаканами и на минуту смолкали, сосредоточенно уткнувшись в тарелки, а потом вновь принимались на чем свет стоит костерить все того же Кольку.

— Маэстро позволит? — неожиданно услышал Кирилл, и к столику приткнулся невысокий парень лет тридцати в потрепанной канадке, под которой был виден грубошерстный свитер.

Кирилл кивнул.

Парень сел, быстро ощупав его внимательным взглядом. Достал сигареты.

— Кури, — предложил он, протягивая Кириллу пачку и щелкая пальцем по донышку.

Рука у него заметно дрожала, словно парень сильно продрог или волновался. Тыльную сторону ладони украшала татуировка, искусно сделанная красной, зеленой и черной тушью: парусник, а под ним — скрещенные якоря и надпись: «Ведь ты моряк, Мишка».

— Кури, — повторил парень.

Кирилл, перебивавшийся в последнее время с хлеба на квас, с благодарностью взял сигарету. Парень ловко щелкнул зажигалкой.

— Отдыхаем?

Кирилл в нескольких словах объяснил ситуацию.

— Чудак! — Парень развел руками. — Это дело мы в два счета обстряпаем. Закажи-ка чего-нибудь горячительного для разгона, — без всякого перехода сказал он.

Кирилл понял, что с мечтой о макаронах придется расстаться.

— Вина? — предложил он.

— А нам, чучмекам, одна фигня, что водка, что пулемет — лишь бы с ног валило, — хвастливо ответил парень. Он как-то сразу переменился, сел поудобнее, словно до этого ждал, что его вот-вот прогонят.

Кирилл подозвал официантку и заказал два стакана вина.

— Вам какого? — спросила официантка. — Крепленого или сухого?

— Сухое, мадам, бывает только сено, — ответил парень. — Неужели мы похожи на лошадей?

Когда вино принесли, парень взял свой стакан и, рассматривая вино на свет, бодро сказал:

— Ну, кореш, будем. Как говорили древние: истина — в вине. — Он медленно, со смаком выцедил стакан. Потом, попыхивая сигаретой, потянулся через стол к Кириллу: — Что такое жизнь, кореш?

Кирилл пожал плечами. Он счел этот вопрос прелюдией к деловому разговору и решил предоставить инициативу своему новому знакомому.

— А-а, — сказал парень, откидываясь назад, — не знаешь! А я знаю! Как сказал один классик: жизнь — это сложная и трогательная комбинация.

— Так это сказал классик, а не ты, — перебил парня Кирилл, которого стали раздражать и манера парня вести разговор, и его постоянные ссылки то на классиков, то на древних.

— Замри! — сказал парень. — Ты думаешь, Мишка травит? Нет, кореш, Мишка не травит. Мишка сказал тебе, что устроит, — значит, устроит. Железно! Сообрази-ка еще по колбочке.

После второго стакана парня понесло. Фамилии и имена сыпались из него, как из рога изобилия. Он предлагал Кириллу то одно место, то другое, тут же отвергал их и называл новые. В конце концов он решил, что время терять не стоит, а нужно сейчас же топать к одному фартовому мужику, который все может. Но поскольку такие дела с кондачка не решают, он предлагает выпить посошок на дорожку.

Кириллу не оставалось ничего другого, как согласиться. Он повернулся, чтобы позвать официантку, и носом к носу столкнулся с подходившим к их столику Побережным.

— Здорово, племяш! — приветствовал тот Кирилла. — Гляжу, вроде ты, вроде нет. Дай, думаю, подойду. — Он критическим взглядом смерил Кирилла. — Видно, здорово тебя прищучило, коли с Мишкой пьешь. Охмуряешь? — строго спросил он у парня, подсаживаясь к столу и сдвигая в кучу пустые стаканы.

— Да вот, подмазали малость, Дмитрич, — мелко засуетился Кириллов знакомый. — Не подмажешь — не поедешь.

— Сгинь! — велел ему Побережный.

Парень сразу обмяк, как краб, боком съехал со сту-

ла и пропал в табачном дыму и облаках пара, врывавшихся в столовую вместе с людьми.

Удивленный столь неожиданной метаморфозой, Кирилл не знал, что сказать. Он с глупым видом сидел за столом, как школьник, которому сделали нагоняй.

— Зря ты его так, дядя, — наконец вымолвил он. — Этот тип обещал меня на работу пристроить.

— Кто? — спросил Побережный. — Мишка? Ха-ха-ха! — захохотал он так, что стаканы запрыгали по столу.

Кирилл понял, что сморозил какую-то величайшую глупость.

Насмевшись вволю, Побережный сказал:

— Знаешь, кто такой Мишка? Не знаешь. Так я тебе объясню. Бич это. Его самого никуда не берут. Сто мест сменил, и отовсюду выгнали. Работы, как черт ла-дана, боится, только и знает сачковать. Подачами бывших дружков живет да еще тем, что дурачков вроде тебя околпачивает. Наговорит семь верст до небес и все лесом, напьется, нажрется за чужой счет и смое-ся. А ты — устроить!.. Ну, рассказывай, что и как.

— А чего рассказывать, — сказал Кирилл, уязвленный тем, что так по-дурацки попался на удочку первому подвернувшемуся прощелыге. — И так все ясно.

— Верно, ясно, — подтвердил Побережный. — Тут ты в точку попал. — Он взял со стола стакан, зачем-то понюхал его и поставил обратно. — Так как же насчет нашего с тобой разговора?

Кирилл молчал. Говоря откровенно, ему не хотелось поступать на завод. Не затем он ехал сюда, чуть ли не на край света, чтобы устраиваться подсобником. Видел он этих подсобников. Всю жизнь на подхвате: там помоги, тут подсоби. С другой стороны, работа на почте тоже не прельщала его. Что за работа? Сумку через плечо — и айда? Как коробейник? Но денег нет, и это тоже факт. Не позже чем завтра кусать будет нечего. Может, все-таки к Побережному? Прокантоваться до весны, а там видно будет. Рано или поздно он все равно устроится. Итак, к Побережному. Почтмейстер, кажется, ничего дядька, и, если разобраться, он, Кирилл, дико рад сегодняшней встрече. Он и сам этого не ожидал.

— Ладно, — сказал Кирилл. — Так и быть, дядя, до весны побатрачу на тебя. Хватка у тебя бульдожья.

Только, чур, уговор: весной ты мне даешь расчет по собственному. Чтоб без никаких. Понял?

— Давно бы так, — довольно сказал Побережный. — Есть хочешь?

— А что, предложите цыпленка табака в счет аванса?

— Фигу я тебе предложу, а не табака. Табаками тебя теща кормить будет. Шура! — окликнул Побережный проходившую мимо официантку, ту самую, у которой Кирилл брал вино. — Принеси-ка нам, Шура, рыбки, — сказал он, когда официантка подошла. — Моей. Ты знаешь какой.

— На двоих? — спросила Шура, указывая глазами на Кирилла.

— На двоих, — ответил Побережный. — Да скажи на кухне, чтобы посолили покруче, а то вечно они недосаливают.

— Скажу, — заверила Шура и улыбнулась Кириллу. — Так вы с Григорием Митричем? А я смотрю давеча — с Мишкой сидят, — повернулась она к Побережному. — Вижу, парень-то не наш, новый. Ну, думаю, оциплет его Мишка, как курицу.

— Ладно, ладно, — остановил ее Побережный. — Все в ажуре. Ты лучше корми нас, нам работать надо.

Шура кивнула и ушла, а Побережный, еще раз понюхав стаканы, брезгливо переставил их на другой столик.

— Пьете дерьмо всякое.

— В другой раз прикажу доставить мартини, — пообещал Кирилл. — Из Парижа. Специальным рейсом.

— Кривляешься ты много, парень, — беззлобно заметил Побережный. — С одним не знаю, что делать, и ты туда же. Учат вас, что ли, этому?

— Вы имеете в виду того самого Кулакова, который разрывается на части?

— Ишь ты, запомнил! Его самого. Парень золотой, только язык без костей. Начнет молоть — не остановишь.

Вернулась Шура, неся целую тарелку красной, нарезанной крупными ломтями рыбы. Смахнув передником со стола, она поставила тарелку, подала вилки и хлеб.

При виде рыбы Побережный крикнул от удовольствия.

— Ешь, — сказал он и пододвинул тарелку ближе

к Кириллу. — Чавыча. Попробуешь — пальчики оближешь.

Рыба была свежая, сырая, и Кирилл с некоторой опаской приглядывался к ней. Потом попробовал. Рыба действительно оказалась на редкость вкусной, и Кирилл уже без опасения отправлял в рот холодные сочные куски.

— Ну, заморил червячка? — спросил Побережный, когда на тарелке остались одни кости. — Тогда пошли. Пока прилив не начался, пройдем берегом.

— Расплатиться надо, — сказал Кирилл, показывая на стаканы.

— А-а, — протянул Побережный. — Давай расплачивайся. Умел воровать, умей и ответ держать.

Кирилл вытащил заветную трешницу и положил на стол. Денег хватало только-только.

— Все, что ли? — поинтересовался Побережный. — Маловато. Не успел тебя Мишка раздеть.

Кирилл не стал уточнять подробности. Недоставало еще, чтобы Побережный узнал о его финансовой несостоятельности. И без того Кирилл чувствовал себя достаточно униженным.

У буфета Побережный задержался, поверх голов объясняя что-то буфетнице. Та слушала, согласно кивала, а под конец рассмеялась. Махнув ей рукой, Побережный подозвал ждавшего в стороне Кирилла, и они вышли на улицу.

4

— Во-он тот столб видишь? — спросил утром Побережный, подводя Кирилла к окну и показывая рукой на серый каменный параллелепипед метрах в ста от дома.

— Ну вижу, — позевывая и потягиваясь, ответил Кирилл.

— А трубу? — продолжал допытываться Побережный. — Трубу левее видишь?

— И трубу вижу, — уже не совсем уверенно сказал Кирилл, не понимая, чего от него хотят.

— Там живет Кулаков, — тоном чревоуещателя произнес Побережный. — Сходи позови, дело есть.

— Он что, галка? — спросил Кирилл, мстя за минутную растерянность.

— Кто? — в свою очередь, не понял Побережный.

— Кулаков. Раз он в трубе живет, — невинно пояснил Кирилл.

Побережный уставился на него с удивлением и гневом, видимо, раздумывая, сокрушить ли свалившегося ему на голову умника или отнестись к нему, как к неразумному.

— Грач он! Орел общипанный! Иди, тебе говорят!

Кирилл рассмеялся и, набросив полушубок, выскочил на улицу.

Однако проникнуть к Кулакѣву оказалось не так-то просто. Возле крыльца, загораживая дорогу, лежала в снегу дюжина здоровенных лохматых псов, запряженных в нарты. Положив на лапы тяжелые головы, псы, не отрываясь, смотрели на приближавшегося к дому человека.

Кириллу никогда не приходилось иметь дело с собаками, и, как все люди, которые не понимают, с какой стороны может грозить опасность, он подошел к упряжке чуть ли не вплотную. Но в самый последний момент интуиция все же выручила его: что-то в позе собак насторожило Кирилла; их зловещая неподвижность и угрюмый блеск глаз подсказали ему, что это не те шавки, которые, задрав хвосты, гоняются по дворам за кошками, а порождения организации иной, первобытной и беспощадной.

Тем не менее Кирилл предпринял попытку выполнить приказ.

— Собачки, — ласково, нараспев сказал он, бочком продвигаясь к крыльцу. — У-у, какие хорошие собачки...

В следующий момент он понял, что надо уносить ноги: «собачки» вдруг, как по команде, подняли от лап головы и с глухим рыком бросились на Кирилла.

Инстинкт самосохранения сработал мгновенно: двумя гигантскими скачками Кирилл достиг испещренного иероглифами спасительного столба и белкой взлетел на его верхушку.

Внизу прыгала и захлебывалась от лая свора.

На шум в доме отворилась дверь, и на крыльце показался высокий парень без шапки, в свитере, ватных брюках и роскошных рыжих унтах. Длинные светлые волосы парня были перехвачены ремешком, как у средневековых ремесленников. Он кого-то неуловимо напоминал.

Цыкнув на собак, парень уставился на Кирилла

— Что ты там делаешь? — не сразу спросил он.

— Читаю иероглифы, — с высоты отозвался Кирилл.

— Чокнутый, — вслух констатировал парень.

— Да убери ты псарню! — взмолился Кирилл, перехватываясь дрожащими от напряжения руками.

Парень усмехнулся, не спеша сошел с крыльца и оттащил собак от столба.

Кирилл спустился на землю.

— Привет, — сказал он парню.

— Привет, — ответил тот, рассматривая Кирилла желтыми дерзкими глазами.

— Хороши бобики, — похвалил Кирилл все еще рычащих псов.

Парень неопределенно хмыкнул. Было ясно: он ждет более конкретных объяснений столь раннему визиту.

— А я к тебе по делу, — сказал Кирилл. — Тебя как зовут?

— Женька, — ответил парень.

— А меня Кирилл, Женька. Ануфриев. Новоиспеченный работник связи.

В глазах парня мелькнул интерес.

— Каким ветром в наши края?

— Долго рассказывать, тем более что тебя начальство дожидается. Считай, что волонтер.

— Вас понял, — сказал парень. — Так сказать, по велению сердца?

— Ага. Начальство, говорю, тебя дожидается.

— Подождет. Не в духах?

— Да нет, как будто ничего.

— Сейчас, — сказал Женька, — собак только привяжу. А то снимут с кого-нибудь штаны.

Он подошел к нартам и закрепил их коротким железным ломиком, пропустив его через передок. Ударив по ломiku ногой, он остался доволен.

Побережный ожидал их с нетерпением.

— Тебя только за смертью посылать, — недовольно сказал он Кириллу.

— Чечако не виноват, шеф, — вступился за Кирилла Женька. — Он вел себя, можно сказать, геройски. К сожалению, этого не поняли собаки.

— Ладно, — сказал Побережный. — Нарта на мази?

— Как штык.

— Подгоняй, поедешь на Шумный. Отвезешь газеты, а оттуда письма заберешь. Сейчас Сорокин звонил. Где, говорит, газеты? Искурили, что ли?

— Шизик ваш Сорокин, шеф. Он что, не знает, какая погода была? Всю неделю дуло как из прорвы.

— Ладно, шут с ним, с Сорокиным! Подгоняй, и грузитесь. Прогноз хороший.

— Есть, шеф! Бегу. Одна нога здесь, другая там!

— Трепач вроде тебя, — сказал Побережный Кириллу, когда Женька вышел, — Балаболит, балаболит, а чего балаболит? «Есть, шеф!», «Нет, шеф!» Ну какой я ему, к черту, шеф? Ох, хвачу я с вами лиха!..

Побережный почесал затылок.

— Поедешь с ним. Присматривайся, что и как. Недельку пооботрешься, а там и сам ездить начнешь. Напеременки с Женькой.

Он прошел в другую комнату, где был своего рода склад, и вернулся с ворохом одежды.

— Примерь-ка, — сказал он, складывая одежду перед Кириллом. — Должна подойти, вы с Женькой оба дылды.

Здесь было все: брюки и телогрейка из непромокаемой ткани, свитер, носки, такие же, как у Женьки, рыжие роскошные унты и не менее роскошная малица с привязанными к ней рукавицами.

Кирилл быстро напялил на себя весь ворох. Унты были чуть великоваты, но он подумал, что с двумя парами носков сойдет.

— Хорошо, — сказал Побережный, как манекен поворачивая и осматривая Кирилла со всех сторон.

Под окном залаяли собаки.

Побережный опять ушел в другую комнату и на этот раз выволок оттуда большущий бумажный мешок, набитый под самую завязку.

— Тащи на улицу, — велел он Кириллу.

Крякнув, Кирилл взвалил на спину мешок. В коридоре он столкнулся с Женькой.

— Там на нартах брезент, — сказал Женька, — Клади на него.

Собаки на этот раз не обратили на Кирилла никакого внимания. Наверное, вид человека в меховой одежде внушал им должное уважение. А может, они уже запомнили запах Кирилла и догадывались, что он имеет какое-то отношение к их хозяину.

Через пять минут все было уложено и увязано.

Собаки от нетерпения дергали постромки и подвывали.

— Садись, — кивнул Женька Кириллу и выдернул удерживавший нарты ломик. По-разбойничьи свистнув, он повалился на мешки.

Собаки рванули.

Вильнув на повороте, дорога взлетела на сопку, наискось пересекла ее пологий гладкий гребень и стала стремительно опадать в узкое каменистое ущелье.

Ветер ударил в лицо.

Заученным движением переместив тяжесть тела, Женька взял лежавший у него на коленях ломик и начал притормаживать разогнавшиеся нарты. Снег летел из-под ломака, как искры из-под токарного резца.

Местами снега в ущелье было мало, и сквозь него, точно собачьи клыки, торчали камни. Иногда полозья наезжали на них, и тогда нарты резко сбавляли ход, осаживая разгоряченных собак. Они на ходу оборачивались, словно спрашивали: ну в чем там дело?

— Хоп! — кричал им Женька. — Все в порядке, зверюги!

И собаки снова всем телом наваливались на постромки, натягивая их в струны. Они уже не лаяли, а бежали, низко пригнув головы, и лопатки их ходили вверх-вниз, как поршни у машины.

Спуск кончился, нарты покатались по ровному месту, и Женька, снова положив ломик на колени, привалился спиной к мешку.

Кирилл, прилепившийся на самом краешке нарт, был полностью захвачен бегом. Происходящее казалось ему нереальным, он словно бы грезил наяву или видел себя со стороны. Деревянный механизм, что нес его на себе, был древнейшим изобретением человека. Еще люди не выдумали колеса, а примитивные сани и волокуши уже служили им верой и правдой. И может быть, их так же таскали прирученные человеком волки, оглядывавшиеся, как и собаки, назад, когда сани налетали на камень или пень. И так же, наверное, сидели на волокушах и санях одетые в звериные шкуры люди, посматривавшие на дорогу и думавшие свои тяжелые человеческие думы.

Собаки вдруг налегли на постромки и залились лаем.

Нарты дернулись, и Кирилл от неожиданности чуть не вылетел из них.

— У-у, зверюги! — сказал Женька, в который раз берясь за ломик. — Ытхан! — закричал он на вожака. — Кому говорю, Ытхан!

Вожак обернул злую умную морду и стал осаживать, по брюхо зарываясь в глубокий снег. Бежавший за вожаком белобокий лохматый пес с размаху наткнулся на него. Вожак по-волчьи крутнул шеей и полоснул пса зубами. Тот взвизгнул и отскочил в сторону, потянув за собой бежавшую с ним в паре собаку. Упряжка смешалась. Ощетинившись, псы рычали друг на друга, норовили исподтишка хватить зубами соседа.

Женька закрепил нарты и пошел разнимать собак.

— Лисы не видали, зверюги! — накинудся он на них, провожая взглядом быстро уменьшавшуюся точку: лиса во весь дух уходила в сопки.

— Ишь улепетывает! — усмехнулся Женька. Он разобрал перепутавшуюся упряжь, и нарты тронулись дальше.

Собаки тянули теперь ровно, а вожак то и дело поглядывал назад, словно желал удостовериться, все ли в порядке.

— Сколько до места? — спросил Кирилл.

Женька, не оборачиваясь, ответил:

— Двадцать. По такому снегу часа за два только-только добратся. Облагодетельствуем Сорокина — и сразу назад. Погодка здесь бывает чуждая, запуржит — неделю прозагораем на маяке.

Начался длинный пологий подъем — тягун. Собаки, высунув красные дымящиеся языки, распластывались над землей, часто-часто перебирая лапами.

Женька спрыгнул с нарт.

— Слезай, — сказал он Кириллу. — Тягуны — штука трудная.

Кирилл слез и пошел сбоку нарт, стараясь не отставать от них. Вначале он думал, что это просто, надо только идти и идти, но вскоре понял, что ошибался: как ни медленно двигались собаки, Кирилл не поспевал за ними, и ему приходилось догонять нарт вприпрыжку. Ноги путались в длинных полах, и через сотню шагов Кирилл почувствовал, что взмок. Он хотел расстегнуть малицу, но, не нашарив пуговиц, вспомнил, что малица — не пальто.

— Ну как? — спросил Женька, краем глаза следивший за Кириллом.

— На этой пересеченке только олимпийцев тренировать.

Женька улыбнулся.

— Ничего, старик, привыкнешь. Я тоже сначала умирал.

Он по-прежнему ступал легко и на глубоких местах даже помогал собакам тянуть нарты. Шапку он так и не надел: длинные Женькины волосы свободно падали на капюшон малицы. Теперь Кирилл вспомнил, кого напоминал ему Женька — Мэйлмюта Кида, знаменитого погонщика собак из ранних рассказов Джека Лондона. Именно таким представлял его себе Кирилл. Пока сходство было чисто внешним, но по упругому шагу Женьки, по тому, как сосредоточенно он смотрел вперед, можно было догадаться о некоторых свойствах его характера.

Собаки наконец одолели тягун и остановились, запыленно дыша.

— Перекур, — сказал Женька. — Осталось раз плюнуть — вон до той сопочки добраться.

Кирилл сел прямо в снег. Он был мягким и рыхлым, и Кирилл чувствовал себя в нем, как в синтетическом кресле, которое, когда в него садились, повторяло конфигурацию человеческого тела. Такая мебель демонстрировалась на какой-то из выставок, и Кирилл еще тогда подумал, что неплохо бы обзавестись хоть одним стульчиком.

Они закурили.

Кирилл посмотрел туда, куда показывал Женька. Впереди до самого горизонта тянулись безлесые сгорбившиеся сопки, и Кирилл так и не понял, какую имел в виду Женька. Слева от них в нешироком просвете виднелось море. Отсюда, с высоты, оно выглядело неподвижным, как бы застывшим, а за ним четко, словно шпили готических соборов, в небо вписывались белеющие пики гор — Камчатка.

Перед тем как сесть, Женька поправил брезент на нартах, подтянул ослабшие веревки. Потом ломиком очистил полозья от снега и стал ощупывать металлическую оковку.

— Так и есть, — сказал он торжествующе, как будто обнаружил нечто такое, что требовало величайшего ува-

жения. — Треснула! Я чувствую, что что-то не того, скребет. Придется новую ставить. Не то задерет где-нибудь в дороге — намучаешься.

Его озабоченность показалась Кириллу беспричинной. Сам он даже не заметил, что полозья скребут. Но раз Женька говорил — значит, так оно и было.

— Ты до этого чем занимался? — спросил Кирилл.

— В общем-то ничем, — помолчав, ответил Женька, пуская дым себе под малицу. — Вернее, всем помаленьку. После школы подался в университет, на исторический. Родители настояли. Три семестра протянул. Потом плюнул: фараоны, фараоники, долговая кабала. С одним летосчислением намаялся, до сих пор не представляю себе обратного счета. Ушел, одним словом. Съездил на целину. Ребята подобрались ничего, дома строили. Там я специальность каменщика освоил. За лето три дома колхозничкам отгрохали. Все как надо сделали, от фундамента до крыши. Въезжай и живи. Потом — армия, стройбат. Учили, как говорится, последний род занятий на гражданке. Попал сюда. В прошлом году демебе. Тут и остался.

— Романтика заела?

— Да нет, при чем тут романтика! Ты служил?

— Спрашиваешь! Два года, в том числе високосный. День в день.

— Тогда о чем речь? Сам знаешь, после армии люди о романтике не говорят. Там каждый день романтика. К нам, бывало, как придет пароход с цементом или с кирпичом — вот тебе и романтика. Вкалываешь круглые сутки, пока не разгрузишь. Мешок на тебя взвалят, а у тебя ноги лапшой. Ничего, прешь. Про уголь я уж не говорю, я этого уголька целый Донбасс перекидал.

— А с Побережным где же ты встретился?

— Случайно. Можно сказать, из-за этих вот дьяволов, из-за собак. Иду один раз, а возле почты какой-то жлоб собаку ломиком охаживает. Я к нему: «Ты что, — говорю, — козел, делаешь?!» А он меня — подальше. Собаку я, конечно, отнял, а пока мы с ним нанайской борьбой занимались, шеф подоспел. Тот жлоб, оказывается, у него работал. Так и сошлись наши стежки-дорожки.

— И давно ты у него?

— Второй год. Как демобилизовался, сразу и пришел. Того жлоба шеф под зад коленкой, а меня, значит, взял. Мужик он в принципе добрый, прошел и медные

трубы, и железные, и какие только есть. Когда десант на Курилы высаживали, шеф в первом броске был. Ты его еще не знаешь. Ему под пятьдесят уже, а сила что у медведя. Он мне рассказывал, как с одним самураем схватился. Сгреб за горло и кинул через себя. Тот и улетел. Шеф смотрит, а у него в руках только воротник остался. Две «Славы», между прочим, у шефа. Наденет как-нибудь, увидишь.

— В общем, геройский мужик, — сказал Кирилл.

— Геройский, — подтвердил Женька. — Его здесь все знают.

Они замолчали и в молчании докурили свои сигареты. Отдохнувшие собаки лежали в снегу, хватая его жаркими пастями, а вожак поглядывал на Женьку с явным нетерпением.

— Да, — сказал Кирилл, — а в честь чего ты пса так окрестил?

Женька покосился на Кирилла, словно раздумывая, сказать или нет.

— Да так, блажь в голову стукнула. Надоели все эти Пираты да Джеки... Ну, чего рты пораскрывали? — спросил он у собак. — Ехать надо!

Собаки, будто только и ждали этого, вскочили и понеслись. Опять ударил в лицо ветер, а в ноздри — острый запах собачьих тел.

Впереди в неглубокой ложинке показались дома.

— Метеостанция, — проговорил Женька и взялся за ломик. — С этим зверьем, — он кивнул на собак, — держи уши торчком: человек ли, кошка попадутся на дороге — бросаются, что твои волки. Чуть недосмотришь — беда!

Поселок проскочили одним духом. Кирилл не успел и оглянуться, как он остался позади. За метеостанцией Женька круто свернул влево, и через несколько минут нарты вылетели к морю.

— Считай, что прибыли, старик. Уголок сейчас срежем и — финита ля комедия.

Море штурмовало остров. Волны, как македонские фаланги, обрушивались на берег, откатывались назад, перестраивались и вновь шли на приступ. В воздухе тяжело пахло йодом. Сотни чаек носились над водой, высматривая добычу.

— Лево, Ытхан, лево! — крикнул вожаку Женька и вдруг резко затормозил.



Не спуская глаз с моря, он пошарил под брезентом и вытащил винтовку.

— Нерпа, старик, — сказал он. — Пойдем, щелкнем штучку для собак.

Крадучись они спустились к воде и затаились за огромными, выщербленными ветром и водой валунами.

— Смотри! — шепотом сказал Женька.

Кирилл осторожно высунул из-за валуна голову. Прямо перед ним с места на место перекатывались зеленобокие крутые волны, среди которых на миг мелькнула и тотчас исчезла чья-то усатая рожа. Через минуту она вынырнула уже в другом месте, рядом с ней другая, третья...

— Тс-с! — предостерегающе поднял Женька руку. — Вижу.

Он медленно отвел затвор винтовки и, дослав патрон в патронник, осторожно просунул винтовку в щель между валунами. Нерпы плясали на волнах как заводные, и целиться было трудно. Но вот прошла большая волна, вода за ней на мгновение застыла, и Женька выстрелил. Грохочущий звук ворвался в однообразный шум прибоя, покатулся над морем. Нерпы разом нырнули, но Кирилл видел, что Женька не промахнулся: по воде расплывалось большое красное пятно.

Они вышли из укрытия и подошли к самой воде.

— Как думаешь, наповал? — спросил Кирилл.

— Сейчас увидим. Если наповал, то через пару минут она всплывет, — ответил Женька. — Да вон она, видишь?

Нерпу медленно несло к берегу. Наконец волны подхватили тушу и, как мешок, швырнули ее прямо к ногам Женьки.

Кирилл с интересом разглядывал нерпу. Морда у нее была похожа на собачью, только усы были больше; вода не приставала к гладкой и плотной нерпичьей шерсти.

Женька достал из-под малицы нож и моток тонкого, в палец, ремня. Прорезав ласт, он просунул в него ремень.

— Держи. Оттащим подальше от воды, а на обратном пути заберем.

— Здорова, — перевел дух Кирилл, когда они оттащили нерпу на достаточное расстояние. — Центнера на полтора потянет?

— Вполне. Теперь на неделю собакам хватит. А пе-

ченку сами схарчим. Пробовал когда-нибудь? Классная штука! Вечером заскакивай ко мне, устроим небольшой бенц по случаю знакомства.

— Заскочу, — пообещал Кирилл.

На всякий случай они закидали нерпу камнями и пошли обратно к нартам.

Маяк открылся сразу, едва обогнули крайнюю от моря сопку, — полосатая цилиндрическая башня с радиоантеннами и перекрестьем проводов. От нее навстречу упряжке бросились три или четыре собаки. Они бежали и лаяли с подвыванием, но близко к нартам так и не подошли.

Женька затормозил у низкого домика, по самую крышу вросшего в снег. Расчищены были только крыльцо и окна, напоминавшие скорее амбразуры. Да и вообще весь дом был похож на дот. Но больше всего Кирилла удивила лыжня на крыше дома. Он стоял впритык к невысокой, но крутой сопочке, лыжня начиналась с нее, а перед домом виднелось место, где приземлялись прыгуны, — дом служил в качестве трамплина.

— Сорокин! — закричал Женька, не сходя с нарт.

— Иду-у! — раздалось откуда-то сверху.

Женька встрепенулся и воззрился на небо, словно собирался увидеть там архангела с золотой трубой. Взамен его он увидел на верхней площадке маяка человека, который махал им рукой.

— Ну, теперь до утра будет спускаться с этой верхотуры, — сказал Женька. — Давай разгрузимся, старик.

Они перенесли мешок на крыльцо, закурили и стали дожидаться смотрителя. Тот наконец-то спустился и вприпрыжку побежал к дому.

— Здравствуй, Женюшка! Что, газетки привез?

— Нет, — ехидно ответил Женька, — дрова. Газетки мы искурили.

— Да ты не обижайся, — примиряюще сказал Сорокин. — Ну пошутил. Скучновато тут. Сидишь другой раз, и почитать нечего.

— Инструкции читай. А то понавешал везде, а спроси, небось не знаешь. Ох, Сорокин!..

— Ладно, ладно тебе, Женюшка. Пошли лучше в дом. Сейчас жена придет, обедом накормит.

— А где она?

— Да за ребятами пошла. Убежали, паршивцы,

с утра на берег, и все нету. Я уж сейчас лазил, смотрел.

В доме было жарко, как в бане. На полу лежали добела выстиранные половики, подоконники были уставлены цветами, а стены увешаны фотографиями в самодельных рамках. Почти все они изображали двух очень похожих мальчишек лет двенадцати. Кирилл понял, кому принадлежит лыжня на крыше. Тикали часы с «кукушкой».

— Вы раздевайтесь пока, — сказал Сорокин, — а я сбегая движок проверю. Манометр, зараза, не держит, что хошь с ним делай.

Женька посмотрел на «кукушку».

— Часок отдохнуть можно. Засдно полозья посмотрим как следует.

Они сняли малицы и вслед за Сорокиным вышли на улицу. Женька перевернул нарты.

— Видишь, старик?

Оковка и в самом деле лопнула, и один из краев задрался.

— Молоток и зубило есть? — спросил Кирилл.

— Касьяныч, тащи инструмент, — велел Женька Сорокину.

— Эти дровни вообще пора на слом, — сказал Кирилл, осматривая нарты со всех сторон. — Как ты на них ездил, Женька?

— Так и ездил. Каждый день подбивал да подтягивал. С нартами здесь проблема. Дерево требуется особое, к тому же сухое, а где его возьмешь? Собираю по палочкам. В прошлом году бондари в Козыревском сварганили нам нарты. Так их трактор не потянет, не то чтобы собаки. — Женька вздохнул. — Видел я на Чукотке нарты, старик! Ни одного гвоздя, все на ремнях. Легкие — бери одной рукой и неси. Шесть собак, больше не запрягают.

Пришел Сорокин, принес зубило и молоток. Кирилл отрубил задравшийся конец оковки, загнал на место кое-где повылезшие гвозди.

— Для первого раза сойдет, а там что-нибудь придумаем.

Вскоре пришла жена Сорокина. Она, как гусей, прутиком гнала перед собой двух вывалянных в снегу, мокрых ребятишек. Увидев нарты, они закричали:

— Ура! Дядя Женя приехал! Покатай, дядя Женя!

— Я вот вам покатаю! — прикрикнула на них мать. — Марш живо домой!

Мальчишки стали канючить.

— Ладно, Антонина Васильевна, не ругайтесь, — сказал Женька. — Я их мигом. До берега и обратно.

— Сладу с ними никакого нет, Женья, — пожаловалась Антонина Васильевна. — Ведь мокрые до ушей. Гоню, гоню, а они не идут.

— Вы что же? — строго спросил ребятишек Женька.

— У нас каникулы, — сказал один.

— Мы всю неделю дома сидели. Пурга была, — добавил второй.

— Мать надо слушаться, — назидательно сказал Женька. — Иначе дружба врозь. Поняли?

— Поняли, — ответили мальчишки. — А мы постреляем?

— Сегодня нет. В следующий раз приеду, тогда и постреляем. Ну, садитесь.

За обедом Сорокин сказал:

— Я вот о чем хочу попросить тебя, Женьюшка. Ты к Курильску-то ближе, достань мне манометр. Поспрашивай у рыбаков там иль у военных. У них всегда бывают. А то мой не держит. Пробовал запасные — тоже не держат. Видать, когда разгружали, грохнули как следует, вот они и не держат.

— Сделаю, — сказал Женька.

Нарты уносились от маяка, башня становилась все тоньше, и скоро невозможно стало различить у ее подножия засыпанный снегом домик смотрителя.

5

Комната Женьки была узкой и тесной. Она напоминала Кириллу каюту на пароходике, с которым он прибыл на острова. Особенно подчеркивало сходство единственное окно, маленькое, похожее на иллюминатор, упиравшееся в глухую стену не то соседнего дома, не то сарая.

Комната была оклеена светло-голубыми обоями, которые несколько оживляли ее унылый вид, потолок был такой низкий, что Кирилл без труда дотянулся до него рукой.

Женька накрывал на стол, то и дело посматривая на висевший над самодельной тахтой медный корабельный хронометр.

— В семь, старик, обещала быть моя мадонна.

— О-о!.. — протянул Кирилл. — Значит, будут женщины? А я забыл надеть фрак. Но, по-моему, она опаздывает, твоя мадонна. Уже четверть восьмого.

— Ты не учитываешь местных условий. А кроме того, женщине не обязательно быть пунктуальной, — ответил Женька, внося из коридора трехлитровую банку с красной икрой и бутылку темно-вишневого напитка. — Ты встречал хоть одну женщину, которая бы приходила на свидание вовремя?

— У меня небогатый опыт на этот счет, — сказал Кирилл.

— У меня тоже. Но я знаю: такой женщины на свете нет.

Женька поставил на стол банку и бутылку.

— Собственного производства, — не без гордости сказал он.

— И это тоже? — показал Кирилл на бутылку.

— Именно это я и имею в виду, старик. Икра — это просто, стандарт: соль, вода, подсолнечное масло и полчаса выдержки. А с питием, — Женька ловко подкинул и поймал бутылку, — пришлось повозиться. Основа, конечно, все та же — це два аш пять о аш. Остальные компоненты — клюквенный экстракт и лимоны — тоже известны. Но главное не это, главное, старик, технология. А она, — Женька многозначительно поднял вверх палец, — требует терпения и особой интуиции. У меня все это есть, и после выхода на пенсию я, наверное, устроюсь дегустатором.

Кирилл сидел на тахте, слушал Женькины разглагольствования и пытался представить себе Женьку в роли дегустатора. Это у него не получалось. Всех дегустаторов он почему-то представлял сухонькими, чинными старичками наподобие «пикейных жилетов» Ильфа и Петрова, а Женька никак не ассоциировался с ними. Женька мог быть кем угодно, только не дегустатором.

В дверь постучали.

— Открой, старик, — попросил Женька. — У меня руки грязные.

Кирилл вышел в коридор и отодвинул щеколду. На крыльце обметала с валенок снег девушка.

— Здравствуй, Женя, — не поднимая головы, сказала она. — Прости, я не могла раньше. Катера долго не было. Ой! — по-бабьи ойкнула она, увидев Кирилла. — Извините, я думала, это Женя.

— Ничего, — дипломатично сказал Кирилл. — Проходите, мне поручено вас встретить.

— Жени нет дома? — с явным огорчением спросила девушка.

— Дома, — успокоил ее Кирилл. — Граф дома, но он еще в неглиже.

Девушка улыбнулась.

— Вы его друг?

— Можно сказать, что да, — ответил Кирилл. — Мы коллеги. Женька, — крикнул он, — кончай марафет наводить!

— Порядок, старик, — отозвался Женька, показываясь в дверях. — Здравствуй, моя радость, — он потянулся к девушке и чмокнул ее в щеку. — Знакомься: Кирилл Ануфриев, краснорубашечник.

— Сколько раз я тебя просила, Женька, не называй меня моей радостью. Скоро ты, чего доброго, скажешь: собачья радость.

— Не буду, ласточка, не буду, — заверил ее Женька. Девушка вздохнула.

— Ты не исправим, Женька.

Она сняла кожаный с цигейковым воротником полушубок и протянула Кириллу руку.

— Вера.

Рука у нее была прохладная и, как показалось Кириллу, очень белая. Он осторожно пожал ее и потом долго не мог отделаться от ощущения, что все еще держит эту прохладную белую руку.

— Как добралась? — спросил Женька.

— Долго пришлось ждать катера. У них что-то там случилось, какой-то трос заело. Я вся перемерзла. — Вера передернула плечами.

— Сейчас мы это дело исправим, — пообещал ей Женька.

— Я — на тахту, — заявила Вера, как только они вошли в комнату. — Где у тебя шлепанцы, Женька?

Она сняла валенки, поставила их у двери и в одних чулках прошла по комнате.

— Не помню. Посмотри под тахтой.

— Спасибо, нашла.

— Ты сюда, старик, — сказал Женька, усаживая Кирилла на единственный стул. — Ты сегодня почетный гость. А мы с Верой на тахте. По-родственному.

— А что это такое — краснорубашечник? — спросила Вера у Кирилла.

Кирилл собрался было ответить, но Женька предупредил его:

— Это, моя радость, люди, которые ходят в красных рубашках. Элементарно!

— Очень остроумно! Ты напиши в «Крокодил», — посоветовала Вера.

Кирилл улыбнулся. Ему нравилось такое начало.

— Так называли добровольцев Гарибальди, — сказал он. — У Женьки очень сложные ассоциации.

Говоря это, Кирилл внимательно посмотрел на Веру. Что-то в ее внешности удивляло его, но он не мог сразу сообразить, что именно. Продолговатое, с темно-синими, глядевшими вприщур глазами лицо Веры было необычайно смуглым, почти темным, как грузинская чеканка. Он вспомнил про ее руки и посмотрел на них. Они были белыми.

— Это от ветра, — сказала Вера, перехватив его взгляд. — Приходится много ездить, и лицо обветрело.

— А где вы работаете?

— Я стоматолог. Участок большой, вызывают часто.

— Моя будущая супруга — эскулап, — вмешался в разговор Женька. — И вообще она умница, старик. Когда мы поженимся, у нас будет матриархат.

— Я не выйду за тебя, Женька, — сказала Вера. — Ты ужасно много говоришь. Включи лучше магнитофон.

— Всегда пожалуйста, — сказал Женька. — Но только сначала давайте выпьем.

Он разлил по рюмкам напиток.

— Ну, как говорят, будем...

Они выпили, и Женька пододвинул Кириллу тарелку с икрой.

— Давай, старик, закусывай.

Кирилл, как положено, хотел было сделать бутерброд, но Женька остановил его:

— Да ты ложкой, старик, мы же не на приеме!

Кирилл послушался. Он зачерпнул целую ложку икры и стал, как кашу, жевать ее.

— А как насчет отравления? — осведомился он. — По слухам, в ней избыток витаминов.

— Не знаю, чего в ней избыток, а лично у меня от этого дела избыток гемоглобина. Я его скоро вместо крови сдавать буду, — ответил Женька. — И не верь слухам, старик, я экспериментирую не первый год. Спроси у Веры.

— Между прочим, Женька, ты собирался включить магнитофон. А что касается икры, то здесь никаких норм не установлено. Это чисто индивидуально. Я, например, есть ложкой икру не могу.

— Конечно, конечно! — сказал Женька. — У тебя, радость моя, голубая кровь! Это мы серые!

Женька нагнулся и, вытащив из-под тахты покрытый пылью магнитофон, стал разбирать перепутанные провода.

Кирилл достал сигареты.

— Вы давно на островах? — спросила его Вера.

— Полмесяца, — ответил Кирилл. — А вы?

— Третий год. Я приехала сюда сразу после распределения.

— Не надоело еще?

— Иногда очень тянет домой. Думаешь: ну хоть бы на денек съездить! Но за работой все забывается. Скучаю по институту. У нас была чудесная группа.

— Вы в Москве учились?

— Нет, в Калинин. Я коренная тверячка. Мама и сейчас там живет. А вы похожи с Женькой, — неожиданно сказала Вера. — У вас с ним одинаковый взгляд — вы оба смотрите в себя.

— Так нельзя смотреть, — сказал Кирилл.

— Нет, можно, — убежденно сказала Вера. — Я заметила: так смотрят или пьяницы, или думающие люди.

— Ин-те-рес-но!.. — протянул Женька. — Это уже что-то новое, радость моя. Ну и кто же мы, по-твоему?

— Не беспокойся, пьяницей я тебя не считаю.

— Напрасно, — сказал Женька. — А я вот вношу предложение довоевать бутылочку.

Он кончил разбирать провода, подключил магнитофон к сети и щелкнул клавишей.

Потом отряхнул руки и снова сел к столу.

— Ну, вы можете воевать хоть до утра, — сказала Вера. — Но только без меня.

Она забралась на тахту с ногами и уютно устроилась среди подушек. Глядя на нее, Кирилл подумал, что так ловко умеют устраиваться только женщины и кошки.

— Слушай, Женька, — сказал он после того, как они выпили еще по одной, — сможешь ты объяснить мне вот такую вещь: почему получается, что это мы сидим сейчас за столом, именно мы, а не кто-нибудь другой? Представляешь, такая огромная цепь, а замкнулось именно наше звено!

— Чье-то должно было замкнуться, старик.

— Ты меня не понял, Женька. Я говорю о том, что, если бы на моем или на твоем месте сидел бы другой человек, это была бы тоже комбинация, но случайная.

— Ты хочешь сказать, что все планировалось заранее?

— Я ничего не хочу сказать. Я спрашиваю: почему я еду к черту на рога и встречаю здесь Женьку Кулакова, а не Петьку Сидорова или Ваську Иванова?

— Флюиды, старик. Ведь есть же какие-то бабочки, которые находят друг друга по запаху! А если серьезно, я таким вопросом не задавался. Мы мыслим по-разному. Тебя интересует сам процесс, а мне куда интереснее, что из всего этого получится. Например, сейчас я думаю, что получится из нашего с тобой общения. Я стадная скотинка, старик, но беда в том, что в моем стаде одни собаки.

Женька усмехнулся.

— Кажется, я начал каламбурить.

— Тебе не надо больше пить, Женька, — сказала Вера. — Ты начинаешь молоть чепуху.

— Я чист как стеклышко, — сказал Женька пьяным голосом. Он был действительно похож на пьяного.

Кириллу и раньше случалось наблюдать моменты внезапного опьянения у людей тонко организованных, и он знал, что это опьянение у них так же быстро проходит.

— Тайм-аут? — предложил он.

Женька пожал плечами.

— У тебя есть кофе, Женья? — спросила Вера.

— Есть, — ответил Женька. — Сварить?

— Я сама, — сказала Вера, вставая с тахты.

— Сиди, — удержал ее Женька. — У меня хитрая плитка. А потом, радость моя, женщины совсем не умеют варить кофе. Так же, как гладить брюки.

— Он сегодня какой-то странный, — сказала Вера, когда Женька вышел в коридор. — Он вообще какой-то

странный в последнее время. С ним невозможно серьезно говорить.

— Вы давно его знаете?

— Год. Я приезжала сюда делать осмотр, и он привел ко мне собаку. Она была старая, у нее выпадали зубы, и Женька хотел, чтобы я ее вылечила.

— А может, это был предлог?

— Нет. Во-первых, до этого мы не встречались с ним; во-вторых, он мог бы прийти и сам, без собаки; в-третьих, Женька человек решительный. Когда я ему понадобилась, он разыскал меня и свалился как снег на голову. Помню, у меня была очередь, но он каким-то образом ухитрился пробиться в кабинет. И сидел целый час, а я ходила, как дурочка, вокруг и не знала, что мне делать.

— Представляю, — сказал Кирилл. — А вы знали, что он работает у Побережного?

— Тогда еще нет. Да мне и в голову это не пришло, я боялась, что вот-вот войдет кто-нибудь из начальства и увидит, чем я занимаюсь на работе. А потом я как-то приехала на почту. Не помню зачем. Кажется, в связи с какой-то путаницей, кто-то что-то получил за меня. Тогда я и увидела Женьку во всем блеске. А вообще-то вы не думайте, что работать каюром легко. Григорий Дмитриевич очень ценит Женьку. Женька в прошлую зиму один развозил почту по всему острову. Сколько раз попадал в пургу. Здесь бывают такие пурги, что по неделям нельзя выйти из дому. Женька несколько раз замерзал. Его выручают смелость и собаки. У него великолепная упряжка.

Кирилл сделал жест, означавший, что уж кому-кому, а ему это хорошо известно.

— Для первого раза эта великолепная упряжка загнала меня всего-навсего на столб.

— Правда? — рассмеялась Вера. — Наверное, это было очень смешно!

— Смотря кому. Собаки — так те просто подышали со смеху.

— Не обижайтесь, Кирилл, — все еще смеясь, сказала Вера. Она показала на магнитофон. — У Женьки где-то должен быть Окуджава. Я сейчас поищу.

Кирилл выключил магнитофон и переключил катушку. Потом снова включил. Послышались аплодисменты, смех, затем наступила тишина, в которую, словно гро-

хот шагающих солдатских сапог, ворвались мажорные аккорды гитары.

— Мне очень нравится Окуджава, — сказала Вера. — У него есть потрясающие вещи.

Из коридора вернулся с кофейником Женька.

— У меня склероз, — объявил он, хлопнув себя по лбу. — Я забыл пожарить печенку. Но это еще не все. Я оставил ее у собак, а эти звери наверняка уже сожрали ее.

— Черт с ней, с печенкой! — сказал Кирилл. — Будем пить кофе. Он как раз здорово помогает от склероза.

— Это чай, — поправила его Вера.

— Нет, и кофе тоже, — настаивал Кирилл. — Я где-то читал.

— Наверное, в «Медицинском вестнике», старик, — насмешливо сказал Женька, разливая кофе, — Вера, есть такой? И скажи, сколько тебе класть сахару.

— Два куска.

— А тебе, старик?

— Тоже два. И не мешай сразу, пусть сначала растают.

Окуджава пел «Леньку Королева».

— Мне всегда ужасно жалко Леньку, — сказала Вера. — Наверное, это глупо, но я ничего не могу поделать с собой.

— И не надо ничего делать, радость моя, — сказал Женька. — Вот тебе кофе, и давай пей.

— Можно подумать, Женька, что это доставляет тебе удовольствие.

— Что это, радость моя?

— То, что ты весь вечер паясничаешь.

Женька притворно воздел руки:

— Нет, вы только посмотрите на нее! От тебя ничего невозможно скрыть, радость моя! Ты опасная женщина!

Прихлебывая кофе, Кирилл с удовольствием следил за пикировкой. Непринужденность обстановки и выпитое оказывали свое действие: заботы, еще вчера терзавшие Кирилла, отступили куда-то на второй план. Остались лишь эта тесная уютная комнатка и его новые знакомые, о существовании которых он и не подозревал всего два дня назад и которых, как ему теперь казалось, знал всю жизнь. Они прекрасные люди, этот не-

удавшийся историк Женька и его темноликая «мадонна». И пусть она не знает, кто такие были краснорубашечники, зато она наверняка знает много такого, о чем он, Кирилл, даже не догадывается. Женщины всегда лучше мужчин запоминают детали. И пусть они скорее поженятся и живут в этой комнате. Он станет приходить к ним по вечерам, сидеть на тахте и говорить с ними обо всем на свете, потому что они интересные собеседники и очень симпатичные люди...

— У тебя найдется еще что-нибудь выпить, Женька?

— Праздный вопрос, старик! Мои погреба практически неистощимы.

— Тогда налей. И давай выпьем за женщин. Я знаю, это банально, но в таком случае что не банально?

— Ого! Я вижу, у тебя расходуется аппетит, старик! Радость моя, ты слышишь? За тебя желают выпить!

— Не передергивай, Женька. Я сказал: за женщин.

— Знаем, знаем, все так говорят!

Женька встал из-за стола и, немного покачиваясь, направился к двери. На пороге он обернулся.

— А потом запомни, старик: общие формулировки всегда предполагают частности. Ибо состоят из них. — Он подумал и добавил: — Только вы не воображайте, что я такой умный. Это плагиат. Так любил говорить один мой знакомый доцент.

Женька вышел в коридор и через минуту вернулся с новой бутылкой.

— Радость моя, — сказал он, — выключи эту адскую машинку и садись к нам. Давайте-ка и в самом деле выпьем.

— Только непременно чокнемся, — сказала Вера. — Мне надоело пить как биндюжники.

— Узнаю, — сказал Женька. — Узнаю брата Колю!

— Помолчи, пожалуйста, Женька, — сказала Вера.

Но Женьку не так-то легко было уговорить.

— Хотите анекдот? — предложил он.

— Давай, — сказал Кирилл.

— Только не солдатский, — предупредила Вера.

— Два слона вяжут на дереве. Мимо летит лошадь. «Смотри!» — толкает один слон другого. «Не обращай внимания, — отвечает тот, — гнездо где-то рядом».

Кирилл громко засмеялся. Летающие лошади произвели на него впечатление.

— Не смешно, — сказала Вера. — Я так и знала. Женька обожает примитивы.

Кирилл хотел было возразить, но Женька остановил его:

— Не трудись, старик. Вера не признает условного. По ней, все лошади должны только возить телеги и жить в конюшнях. А это была особенная лошадь, радость моя! Ей нравилось летать!

— Не говори глупости! — рассердилась Вера. — При чем тут какие-то лошади? Я говорю, что у тебя нет ни капельки вкуса.

— Вера, — сказал Кирилл, — это был Пегас, Вера. Не в этом дело. Женька хочет остаться самим собой. И это главное. Ты с какого года, Женька?

— С сорок пятого. Послевоенный массовый тираж. А что?

— Я тоже с сорок пятого. И мы кое-чего видели в жизни, Вера. Главное в ней — оставаться самим собой. А лошади пусть себе летают.

— Господи! — сказала Вера. — Ужас какой-то! Дались вам эти лошади!

— Фиг мы чего видели, — вдруг сказал Женька. — Это все наши сопли-вопли, старик. А мы пришли на готовое. И от этого у всех у нас разные комплексы, но мы хитрим и сами себе сочиняем биографию. А вот Побережному, например, ничего не нужно сочинять. Когда он в сорок пятом пер с десантом на японские пулеметы, он меньше всего думал о сочинительстве. Видел здешние доты? Колпак железобетонный, и все подходы как на ладони. Дашь очередь — как косой скосишь.

Кирилл посмотрел на Женьку с удивлением. Он не предполагал, что тот прореагирует на его заявление подобным образом. Женька казался ему понятным. Выходит, он ошибался и нужно еще выяснять, кто есть кто.

— Ты впадаешь в крайности, Женька. При чем здесь война? Я говорю, что мы тоже кое-что видели. И не надо прибедняться.

Женька разозлился:

— Ну что ты, старик, заладил, как попугай: видели, видели! Все это глупистика, а нам не хватает главного — уверенности в себе. — Женька взял из пепельницы окурок и пошарил себя по карманам. — Дай спички, старик. И уж если на то пошло, то скажи, пожалуйста,

за каким тогда чертом тебя понесло в эту дыру? Что ты здесь забыл?

— А так, — ответил Кирилл. — Поцыганить захотелось. Знаешь, как в песне: «Нынче — здесь, завтра — там».

— Нет! Ты тоже хитришь. Все дело в нашей наследственности. Наши волосатые пращуры при всей своей серости соображали не хуже нас. Раз жизнь коротка, рассуждали они, нужно быстрее взрослеть. И они убивали какого-нибудь там махайрода и волокли его в пещеру. Там они зажигали большой костер, вручали мальчишкам копья, и те прыгали вокруг костра и тыкали махайрода копьями. Мальчишки становились охотниками, старик. Мужчинами. У нас этот процесс затянут. В пятнадцать нам еще подвязывают сопливчики, в двадцать парикмахеры требуют показать им справку от родителей, в двадцать пять нам со скрипом разрешают гулять до двенадцати. А что делаем мы? Мы днем и ночью поглощаем информацию. Мы набиты ею, как индейка кашей. Чего только мы не знаем! Но мы не знаем одного — что нам делать с этими проклятыми битами. В конце концов наступает критический момент, наша волосатость дает о себе знать, и мы начинаем собирать манатки. Куда — не все ли равно, а наши мамы думают, что во всем виновата распущенность нынешних нравов. А их мальчикам просто хочется поскорее почувствовать себя охотниками...

Кирилл молча вертел в руках вилку. В том, что он услышал за день от Женьки, несомненно, было какое-то рациональное зерно. Но что-то и не сходилось в его рассуждениях — это Кирилл знал точно. Что-то еще нужно было домысливать. Почему-то вспомнилось: на первом году в армии они сдавали нормы — прыгали с вышки в воду. С площадки прямоугольник бассейна казался далеким и маленьким, и он подумал, что в него невозможно попасть — обязательно врежешься в бортик. По логике вещей этого не могло быть (ведь прыгали же другие!), но, когда он наконец оттолкнулся от края и полетел вниз, он был уверен, что непременно врежется. Потом он понял: иллюзию рождала замкнутость пространства. Она до предела ограничивала перспективу, и это вопреки здравому смыслу вводило в обман. Сейчас Кириллу показалось, что в Женькиных построениях не хватает именно этого — перспективы.

— Чего ты молчишь? — спросил Женька. Его самого, видно, тоже терзали сомнения.

Кирилл перестал крутить вилку.

— Понимаешь, Женька, — сказал он, — я сейчас не могу сказать точно, в чем тут дело, но где-то ты темнишь. Насчет охотников не спору, но еще раньше у тебя проскочило что-то такое... — Кирилл пощелкал пальцами, подбирая определение.

— Понятно, — сказал Женька. — В таких случаях говорят: что с воза упало, того не вырубишь топором. Давай-ка еще по одной, старик.

На улице Женька сказал:

— Между нами, девочками, говоря, я рад, что ты приехал, старик. Конечно, шеф мужик хороший, но иногда мне не хочется лицезреть его. Для шефа не существует сложностей. Его генеральная линия как плотницкий отвес — никаких отклонений. Видишь, окна горят? Читает. Так сказать, на сон грядущий. Он всегда читает на сон. А завтра целый день будет носиться по своим почтовым делам. Ну, пока...

6

Неделя, в течение которой, по мнению Побережного, должно было произойти посвящение Кирилла в сан профессионального погонщика, прошла, но Кирилл по-прежнему ездил пассажиром. Каждое утро, если позволяла погода, они с Женькой шли на каюрню, запрягали собак, грузились и занимали свои места — Женька впереди, а Кирилл позади мешков, выглядывая из-за них, как солдат из-за бруствера. Такое положение вещей Кириллу вскоре надоело, и он сказал об этом Женьке. Тот выслушал его и вместо ответа спросил:

— А ну-ка скажи, в какой паре бегают Маленький?

Кирилл захлопал глазами. Вопрос был прост, но оказалось, что он не может на него ответить. Что в упряжке одиннадцать собак, что Ытхан вожак, а здоровяк Бурун левый коренник — это Кирилл знал точно, но с кем в паре работает Маленький, убей бог, не помнил. Более того: он вдруг уяснил, что не помнит места и остальных собак, хотя каждый день запрягает их. Получалась какая-то чертовщина.

— Вот так-то, бледнолицый брат мой! — Женька развел руками. — Пастырь должен знать своих чад, иначе блуд и непослушание погубят стадо. Ведь эти звери все понимают. Тебе только кажется, что им нет до тебя никакого дела, а они каждый твой шаг стерегут. И все на ус мотают. Мы хоть вдвоем, а у меня как было: пришел на каюрню, не знаю, что и делать. Окружили, рычат, зубами щелкают. А кто понахальнее — прямо грудью напирает. И попробуй стукни — остальные тебя в ключья. Посмотрел я на эту картину, будь что будет, думаю, и сел посередке. Они ко мне. Душа у меня, конечно, в пятки, но виду не подаю. Чувствую: дрогну — сгорю, как швед под Полтавой. «Привет, — говорю, — звери. Шеф, — говорю, — хозяина вашего намахал, я у вас теперь царь и бог». Смотрят, головами крутят. А я знай говорю. Душевно так, с подходцем. Вижу — нравится. Часа два, наверное, разговаривал. Правда, когда уходил, тоже порычали, но уже так, без интереса. Понял, какие пироги? Кататься ты можешь хоть целый год, но, пока не поговоришь с ними по душам, ты для них — ноль без палочки.

Серьезность Женькиного тона в другое время, может быть, позабавила бы Кирилла, но он в какой-то мере уже начал постигать этого странного человека и знал, что Женька никогда не говорит зря. Лишний раз он убедился в этом на другой день после разговора.

Выбрав подходящий момент, Кирилл отправился на каюрню один. Все было как и всегда: он открыл дверь и вошел в полутемное помещение. И сразу его удивила непривычная тишина. Собаки не бросились ему навстречу, как это бывало, когда он приходил с Женькой, не залаяли обрадованно, не запылили хвостами. Они лежали в своих углах и смотрели на Кирилла раскосыми монгольскими глазами. В их взглядах были отчужденность и настороженность. Так встречают чужаков.

Кирилл присел у двери. Он чувствовал себя почему-то неловко и не решался заговорить, хотя именно для этого и пришел. Для разговора нужен был какой-нибудь повод, а его не было. Начинать же беседу ни с того ни с сего Кирилл не хотел: подсознательно он чувствовал, что это не поможет установлению контакта. Посидев еще несколько минут, он вышел из каюрни, дав слово во что бы то ни стало завоевать собачье расположение.

Всю следующую неделю Кирилл дневал и ночевал в каюрье: перебирал упряжь, варил собакам еду, кормил их или просто сидел с ними. И с удивлением человека, никогда не отличавшего породистую собаку от обыкновенной дворняги, обнаруживал, что в упряжке нет ни одного пса, похожего друг на друга по привычкам или характеру. Например, второй вожак, Куцый, был задирой и побаивался одного Ытхана; Бурун был в общем-то покладист, но в лямке зверел, и, видимо, поэтому Женька держал его под рукой; Маленький отличался изворотливостью ума и коварством; Варнак мог нашкодить не хуже самой заурядной кошки. Были собаки-угрюмы вроде бородатого Дика, который все время о чем-то думал и оживлялся только при виде колоды с кашей; был пес по кличке Веселый, улыбавшийся всякий раз, едва произносили его имя. Он первый признал Кирилла, и тот полюбил отзывчивого и прямодушного пса, отличал его и подсовывал ему лучшие куски.

Женька, заметив это, однажды предупредил:

— Не развращай собаку, старик. Иначе в один прекрасный день друзья-товарищи оторвут твоему Веселому голову.

— За что? — поинтересовался Кирилл.

— Это ты у них спроси. Но что оторвут — ручаюсь. Любимчиков здесь не жалуют.

Кирилл внял совету, но, как выяснилось, собаки уже затаили месть, и во время одной из кормежек была разыграна сцена, достойная отцов-иезуитов. Веселого спровоцировали — спровоцировали самым бессовестным образом. Куцый сделал вид, что не поделил кусок с Маленьким, и, рыча, собаки схватились. В одну секунду Маленький был повержен. Вскочив, он очертя голову бросился прямо под ноги Веселому, который ел по другую сторону колоды. Маленький явно искал защиты. Так, во всяком случае, понял его Веселый. Он оторвался от каши и показал Куцему клыки. Это было равносильно тому, когда обозленному человеку подставляют под нос кукиш. Захлебнувшись от ярости, Куцый набросился на Веселого. Но при всем своем добром нраве Веселый был неплохим бойцом и встретил противника как надо. И в этот миг в спину ему вцепился Маленький. Другие собаки, как будто ждавшие сигнала, побросали еду и вмешались в свалку. Веселый был сбит



с ног, и только грозный окрик Женьки, бросившегося в самую гущу собачьих тел, остановил расправу.

Кирилл был ошеломлен внезапностью и вероломностью нападения. Он даже не успел стронуться с места, чтобы помочь Веселому. Когда же он спохватился, драки как и не было. Собаки вновь уткнулись в колоду, исподтишка поглядывая на Веселого, который в стороне зализывал прокушенную лапу.

— Пропал пес, — хмуро сказал Женька. — Придется запродавать. Тут ему все равно жизни не будет.

— А может, обойдется? — Кириллу было жаль пса, тем более что он поплатился из-за его недомыслия.

— Нет, — ответил Женька. — Рано или поздно они устроят ему «темную». Здесь есть такие спецы по этому делу — закачаешься. Того же Куцего возьми. Или этого карлу, Маленького. Все так обставят, что и концов не найдешь.

Веселого Женька увел с собой и через несколько дней обменял его на другую собаку.

Это был молодой, месяцев восьми-девяти пес со снежно-белым воротником на груди, с густой шерстью, под которой угадывалось сильное, но еще не заматеревшее тело. И лапы у пса были еще по-щенячьи толсты, и Женька, ощупывая их, фыркнул:

— Телок какой-то, а не собака!

Но было видно, что он вполне доволен обменом и ворчит больше для порядка. Закончив осмотр, Женька похлопал пса по загривку.

— Ничего! Побегает недельку — растрясешь жирок. Сделаем из тебя человека!

— Он что, еще не работал? — спросил Кирилл.

— Не успел. Казимир пока соберется. Ну а нам некогда прохлаждаться. У нас сокращенная программа. Шеф все мечтает вторую нарту завести, так что кадры требуются.

Утром, когда выезжали, Женька привязал пса на короткий поводок сбоку нарта.

— Пока здесь походишь, а там посмотрим, на что ты годен.

Собаки, как всегда, взяли с места в карьер. Пес, не ожидавший рывка, сделал немыслимый курбет, но на ногах устоял.

— Молодец! — похвалил Женька и тут же слегка поддал псу ногой под зад, потому что тот, вместо того чтобы бежать со всеми, прыгнул вдруг в сторону, до отказа натянув повод. Это повторялось несколько раз, и каждый раз Женька поддавал пса, пока тот не уразумел, что лучше бежать рядом с нартами, чем получать пинки.

— Зайца били — он спички научился чиркать, — философски заметил Кирилл.

Женька снисходительно усмехнулся.

— Разве это битье? Ты еще не видел, как бьют! Летом насмотришься. Тут озеро одно есть, туда, как снег сходит, каюры со всего острова съезжаются. Рыбу для собак заготавливают, молодняк обучают. Поживешь деньков несколько — поймешь, кто бьет, а кто привлекает.

— А почему молодняк обучают летом? Ведь ни снега, ни нарт. По-моему, только зимой и обучать.

— Сказал! Зимой, сам видишь, работы по горло. Одну, ну от силы двух поднатаскать можно. А если десятков? Вылетишь в трубу. А нарты, если хочешь знать, и не нужны. Мы, конечно, все здесь дилетанты, всякий по-своему с ума сходит — кто таратайки разные строит, кто волокуши. А чукчи знаешь как делают? Берут простой чурбак, привязывают к нему ремень с петлей и петлю — щенку на шею. Тот и бегаёт с ним, пока не привыкнет. Потом его в нарту ставь — никакой мороки, будто всю жизнь в алыке ходил. — Женька опять поддал пса. — А из этого поросенка толк выйдет. Смотри, как старается!.. Я, между прочим, давно к Казимиру подкатывался, да все неудачно. А тут, как по заказу, эта катавасия с Веселым. Прихожу к Казимиру, давай, говорю, баш на баш: ты мне собаку, и я тебе собаку. Хитрый латыш сначала ни в какую! Думал, что я ему порченого какого подсовываю. Когда объяснил, в чем дело, двумя руками ухватился: знает, что у меня нет плохих собак. Жаль, конечно, Веселого. Казимир его испортит. Сам ленивый, и упряжка у него ленивая.

Женька замолчал и, отвернувшись от Кирилла, наметанным взглядом окинул собак. Они старались всю, однако Женьке что-то не понравилось.

— Дик! — крикнул он. — Опять мечтаешь!

Дик обернул бородатую морду и мрачно сверкнул глазами.

— Тебе говорю! Трясешь бородой, что козел, а алык, как тряпка, висит! У-у, тунеядец!.. Ты, старик, покрикивай на него. Тунеядец — это я зря, конечно, но покрикивать на него надо. А то заснет в лямке.

— Ладно, — сказал Кирилл, — покрикивать так покрикивать.

Наверное, Женька заметил индифферентность ответа, потому что тут же заявил:

— Имей в виду, старик, в следующий раз к Сорокину поедешь сам.

— Ловлю на слове, — сказал Кирилл.

— Без обмана...

— Стоять, Ытхан!

Кирилл воткнул в снег ломик и расслабленно растянулся на нартах. Собаки тоже легли и принялись выгрызать намерзший меж когтей снег. Кирилл смотрел на них и мысленно представлял сделанный сегодня путь.

Все оказалось не так просто. Совсем не так, как он думал до этого. Легкими были лишь первые два-три километра, когда он еще не устал, потом начались сущие мучения. Хуже всего было с ломиком: на поворотах и спусках Кирилл, как правило, так глубоко всаживал его в снег, что не успевал вовремя выдернуть. Кисть выворачивало, и ломик оставался в снегу. Приходилось останавливать собак, а то и возвращаться за ломиком. Собаки нервничали, неохотно выполняли команды, из-за ничего грызлись между собой. И вообще: легче, наверное, управлять машиной в городе, чем этими лохматыми дикарями. А Женька ездит хоть бы что! Да еще треплется всюду и глазеет по сторонам. Пролети ворона в километре — увидит. И ломиком орудует, как д'Артаньян шпагой... Ну ничего, как-никак, а Сорокина проведет. Газеты отдал, письма забрал — все чин чинном. В общем, получил боевое крещение. Вот только рука побаливает не на шутку.

Кирилл закатал рукав малицы и осмотрел запястье. Оно распухло, как при вывихе. «Еще бы, — подумал он, — не распухнуть. Сто раз, наверное, выкручивало».

И все же, несмотря ни на что, Кирилл был доволен и даже горд собой. Собаки его слушались, хотя Женька предупреждал, что они могут выкинуть любой номер. Обошлось. Один раз, правда, Ытхан заартачился, не хотел поворачивать. Так на его месте святой не выдержал бы. «Стоять, Ытхан! Вперед, Ытхан! Лево, право!» Крутился пес, как волчок. А все от него зависело: рыкнул бы он, остальные тоже молчать не стали бы. Пришлось бы повозиться.

Кирилл поднялся с нарт, подошел к собакам. Они смотрели на него вопрошающе, готовые вскочить в любую минуту. Он по привычке ощупал алыки, проверил крепление колец. То и другое было в порядке, надежно, и в этом опять была его заслуга, потому что, готовясь к рейсу, он всю упряжь перебрал своими руками.

Кирилл достал сигареты. Усталость прошла, можно было и покурить. Он чиркнул спичкой и, загораживая ее ладонями, отвернулся. Первая затяжка приятно закружила голову. Вторую затяжку Кирилл сделать не успел: за спиной звякнул покотившийся по насту ломик. Кирилл обернулся. Нарты стремительно удалялись, волоча за собой привязанную к обрешетке веревку.

От неожиданности Кирилл позабыл все команды. Лишь одна мысль промелькнула в мозгу: он опозорен! Триумфатор, от которого сбежала колесница! Хотя какой, к черту, триумфатор — глупый павлин! Распустил хвост, не мог нарты закрепить как следует! «Боевое крещение»! Вот тебе боевое крещение, догоняй теперь!

Решение пришло мгновенно. Унты полетели в одну сторону, малица — в другую. В одних шерстяных носках Кирилл ринулся в погоню.

Тропа под ногами была твердая, утоптанная сотнями собачьих лап, и Кирилл мчался так, как никогда не бежал стометровку на стадионе. Он не отрывал взгляда от веревки, измочаленный хвост которой вилял на поворотах из стороны в сторону. Нужно было поймать этот хвост. Поймать во что бы то ни стало!

Кирилл надал. Он знал, что, если через минуту не догонит нарт, его позор неизбежен. Анналы туземной истории до конца дней будут склонять его имя. Три метра отделяло его от веревки. Триста презренных сантиметров. Кирилл хватил ртом воздух и приготовился

спуртовать. И тут судьба сжалилась над ним: на очередном повороте нарты занесло, они на миг сбавили ход, и хвост оказался рядом. Кирилл, как тигр на кабана, прыгнул на него, обеими руками вцепился в веревку. Но это не остановило поступательное движение нарт. Одиннадцать собачьих сил влекли их вперед почти с прежней скоростью, и с такой же скоростью за ними волочился на животе Кирилл. Особых неудобств от нового способа передвижения он не испытывал (это было все равно, что мчаться на животе с ледяной горки), но на ум незамедлительно пришла мысль о камнях под снегом. «Протащат по какому-нибудь гребешку, хараки-ри обеспечено», — подумал Кирилл. Однако отпускать веревку он не собирался. Это было выше его сил. Но что-то делать было нужно.

Кирилл попробовал тормозить ногами. Но им не за что было уцепиться на ровной, утрамбованной поверхности. Тогда он стал кричать, приказывая собакам остановиться. Но те лишь подвывали и без оглядки мчались дальше.

Руки немели. Кирилл перехватился ими, и это движение надоумило его. «Эврика!» — чуть не закричал он. Конечно: нужно подтянуться по веревке до нарт, а там он справится с собаками в два счета. Лишь бы хватило сил...

Женька встретил их возле каюрни.

— Ну как? — издали закричал он.

— Порядок! — отозвался Кирилл. Он со всем шиком, на какой только был способен, затормозил у дверей. Ломик опять вырвало, но сейчас это уже не имело никакого значения.

— А псы? — опять спросил Женька.

— Они молодцы, — ответил Кирилл, и это была истинная правда, потому что разве можно кого-то обвинять в собственном ротозействе?..

7

Днем опять начала портиться погода. Усилился ветер. Он гнал с моря низкие, тяжеловесные тучи. Пролив потемнел и покрылся «беляками».

На улице валялись в снегу собаки. Они смешно поджимали лапы, переворачивались с боку на бок, опрокидывались на спину, совали в снег морды, фыркали и повизгивали. Потом вскакивали, отряхивались и спешили куда-то по своим собачьим делам.

— К пурге это они. Опять самолета не будет, — сказал Побережный, подходя к окну.

Он взад-вперед ходил по комнате, заглядывал в печку, подгребал ногой сыпавшийся на пол шлак, соскабливал ногтем лед со стекол. Побережный томился. В меховой душегрейке, которую Женька называл не иначе как душегубкой, в синих габардиновых галифе и в валяных опорках на босу ногу он был похож на галицийского крестьянина времен турецких завоеваний, и Кирилл, время от времени посматривавший на начальника, незаметно прыскал в кулак. Его смешили галифе. Их подарил Побережному Женька. Он выменял галифе у демобилизованного солдата и преподнес Побережному в день рождения. «Шеф, — сказал Женька, — отныне вы — генерал Галифе!»

Нельзя сказать, чтобы подарок очень обрадовал Побережного. Как бывший моряк, он в душе презирал все, что так или иначе не относилось к флоту, и Женька не мог не знать об этом. Но Женька любил шутить, а потому не побоялся впасть в опалу. Кирилл ожидал грома и молний и отговаривал Женьку от рискованной затеи, но вопреки его ожиданиям ничего страшного не произошло. Побережного так пленила великолепная фактура материала, что он простил Женьку. Правда, он никогда не показывался в галифе на улице, а предпочитал щеголять в них только дома. И что не переставало удивлять Кирилла — так это то, что галифе были Побережному впору: удачливый Женька откопал-таки еще одного динозавра.

— Не будет, говорю, самолета, — повторил Побережный и посмотрел на Кирилла.

Кирилл лежал на койке и читал. За отсутствием какой бы то ни было жилплощади он поселился у Побережного, хотя предпочел бы жить с Женькой или, на худой конец, один. Но выбора не было, и Кирилл был доволен уже и тем, что в общежитии Побережный оказался человеком покладистым.

В данный момент Побережному требовалось сочувствие, но Кирилл ничем не мог помочь начальнику —

самолеты не прилетали почти месяц. Во всем был виноват циклон с экзотическим названием «Игуана», точно джинн из бутылки, явившийся из тьмы Тихого океана. Это он притащил с собой ветер и тучи, из которых, как из мешка, сыпались снежные заряды, переходящие в беснующуюся сутками пургу. Аэродромы были закрыты.

— Такова се ля ви, шеф, — сказал Кирилл. Он перенял Женькину привычку и называл теперь Побережного только так.

— Тебе хорошо говорить! — закипятился Побережный. — Лежишь себе с талмудом! А с этим что будем делать? — Он смешно пробежался по комнате, открыл чулан и пнул ногой приготовленные к отправке мешки с почтой. — Солить, что ли?

Кирилл понял, что Побережный «заводится». Он поднялся и стал одеваться.

— Я к Женьке.

Побережный даже не обернулся. Он продолжал пинать мешки, поминая вполголоса какого-то бога и чью-то мать.

На дверях у Женьки висела записка: «Я на каюрне», и Кирилл направился туда. Чгобы не делать крюк, он пошел по целине и, миновав несколько занесенных снегом нежилых домиков, спустился в овраг, на дне которого стояла каюрня.

Это был длинный, низкий сарай, выстроенный из плавника и обложенный для тепла дерном. Окон у сарая не было, вместо них прямо в дерн были вставлены толстые стекла из плексигласа. На крыше торчала железная печная труба. Из нее поднимался и тотчас уносился срываемый ветром дым — наверно, Женька готовил еду для собак. Возле каюрни лежала неведомо кем заброшенная сюда трехорудийная артиллерийская башня. Стволы башни были погнуты, краска на ней облупилась, и под ней краснела грунтовка — казалось, что с башни содрали шкуру, обнажив красное жилистое мясо.

Кирилл открыл дверь и вошел в каюрню.

Женька сидел на ворохе ссохшихся нерпичьих шкур и чинил упряжь, напевая под нос свое любимое. «В прекрасном замке жил король с своей прекрасной королевой». Продолжения песни Кирилл никогда не слы-

шал, потому что Женька всегда пел один и тот же куплет.

Во всех углах каюрни кучками и поодиночке лежали собаки. Когда Кирилл вошел, собаки агрессивно подняли головы, но, узнав своего, опять спрятали носы в шерсть.

— Привет, старик! — Женька придвинул Кириллу низкий, с сиденьем из ремней стул, похожий на те, что стоят в будке любого чистильщика сапог. — Садись.

Кирилл взял стул и сел поближе к печке. Это было громадное и нелепое сооружение, занимавшее почти половину каюрни. Несмотря на размеры, печь грела из рук вон плохо. Зато она являла собой, можно сказать, памятник архитектуры. Незнакомый строитель оснастил печь множеством никому не нужных выступов, карнизов, приступок и печурок, соорудив не печь, а храм.

— Что нового, старик? Как там шеф?

— Латынь повторяет.

— А-а, — сказал Женька. Ему не нужно было объяснять, что это означает.

Пошуровав в печке, Кирилл стал наблюдать за тем, как работает Женька.

У ног Женьки лежала связка аккуратно нарезанных нерпичьих ремней. Время от времени Женька брал из связки один и подзывал к себе какую-нибудь собаку. Виляя хвостом, собака выбиралась из угла и подходила к Женьке. Пока он примерял собаке ремень, та стояла не шелохнувшись, позволяя как вздумается вертеть себя. Уяснив, что надо, Женька отсылал собаку на место. Потом сшивал ремень. Получался алык — лямка, которую надевают собаке на шею. Алыки часто рвались, и Женька заготавливал их впрок. Работа напоминала хорошо налаженный фабричный конвейер.

Не отрываясь от дела, Женька попросил:

— Посмотри кашу, старик.

Кирилл подошел к печке и сдвинул тяжелую деревянную крышку с котла. Облако пара поднялось над печкой и стало расползаться по всей каюрне. В нем скрылись и Женька и собаки. В котле чавкало и клекотало, словно там находился грязевой источник. Когда пар немного рассеялся, Кирилл разглядел кашу — не-

определенного цвета пузырящуюся массу с кусками крупно нарезанного мяса.

— Ну как?

— А черт ее знает! — сказал Кирилл. — Пузыри одни.

— Да ты попробуй, старик. Возьми щепотку сверху и пожуй.

Кирилл подозрительно покосился на Женьку: он иногда не понимал, серьезно тот говорит или нет. Потом все же пожевал.

— Сыровата, — сказал он. — Попреть бы еще.

— Ничего, — сказал Женька. — В животе допреет.

Он отложил упряжь и вытащил на середину каюрни огромное корыто, выдолбленное из дерева, — колоду. Если бы колоде приделать нос, в ней, наверное, можно было бы плавать, как в челноке.

Собаки зашевелились в своих углах.

Женька взял черпак и стал наполнять кашей колоду. От каши всюду валил пар.

Откуда-то вылез суетливый, юркий щенок и, не раздумывая, сунулся прямо к колоде. Женька перехватил нахала, отодвинув его ногой. Но щенок, видно, решил во что бы то ни стало снять пробу. Он обежал колоду с другой стороны и ткнулся носом в кашу, но сразу же, взвыв, отскочил.

— Вот дурак, — сказал Женька. — Допрыгаешься, сваришь пятачок.

Щенок не понимал, за что с ним обошлись так сурово. Наверное, он думал, что эту шутку подстроил ему Женька, и с обидой глядел на него.

Собаки со всех сторон окружили колоду. Они принялись к исходившему от нее запаху и, как гурманы, закрывали глаза.

Женька довольно оглядел их.

— А что, старик, — сказал он, — продать бы этих братьев меньших — хватило бы на «Запорожец». Считай: каждый брат по госцене сто двадцать рэ. Три десятка особей у нас наберется. А? Махнули бы куда-нибудь. К Понту Эвксинскому, например. Дельфины, водичка теплая. Четвертый год не купаюсь, старик. Плавать, наверное, разучился. Кинь в воду — утону. Куда, балбес! — закричал он на щенка, позабывшего свой конфуз и опять потянувшегося к каше.

Окрик подействовал; щенок отпрянул от колоды и угодил из огня да в полымя — прямо под ноги хмурому Ытхану, который уже давно с неудовольствием следил за наглыми выходками несовершеннолетнего уха-ря. Последовала немедленная расправа: Ытхан, как заправский боксер, двинул плечом, и щенок вверх тормашками отлетел в угол. Из разорванного уха у него текла кровь. Когда Ытхан успел его цапнуть, Кирилл не заметил.

Женька засмеялся.

— Что, съел? С Ытханом, брат, не сомной. Ытхан — человек!

Словно в подтверждение, Ытхан вдруг раскрыл красную влажную пасть и громко чихнул. Видимо, щенок принял это на свой счет, потому что он окончательно перетрусил и заскулил.

— А где его мать? — спросил Кирилл.

— Ха! — сказал Женька. — Ты думаешь, если этот юноша не вышел ростом, — значит, он сосунок? Ему уже полгода. Летом подкормлю как следует — и в нарты. А потом, старик, матерей мы не держим. У нас как в Спарте. В упряжке одни мужчины. В прошлом году я попробовал было взять одну симпатичную дамочку, но ты бы видел, что здесь творилось! Эти пайньки дрались насмерть. Даже Ытхан ничего не мог поделать. Вот перейдем на летние квартиры — тогда пожалуйста. Только летом этот свинтус уже не узнает свою маму.

Женька запустил в кашу руку.

— То, что надо, — сказал он и отошел от колоды.

Собаки без промедления набросились на еду. Они жадно хватали куски и, почти не жуя, проглатывали их, ворча и озираясь по сторонам. Смирные за минуту до этого, псы на глазах превращались в диких зверей. Их животы раздувались, как резиновые, но они продолжали с прежней жадностью поглощать мясо и кашу. Один Ытхан ел в свое удовольствие, брезгливо отодвигая от себя непонравившиеся куски.

— Пес — цены нет, — сказал Женька, наблюдавший за своим любимцем. — Всем взял: и умом, и статью. Ты посмотри на него, старик. Зверище! Поеду на материк — заберу с собой.

— Отдайте богу богово — так я понимаю?

— Тут особый случай, старик. Ытхан не числится в реестре. Поди сюда, Ытхан! — позвал Женька. — Смотри, — он раздвинул густую собачью шерсть.

Почти посредине Ытхановой груди Кирилл увидел вмятину величиной с доброе яйцо.

— А это? — Женька повернул собаку боком. Точно такая же вмятина виднелась у нее позади правой лопатки.

— Где это его так угораздило? — поинтересовался Кирилл.

— Нашелся один умник. Ытхан у него балык спер. Так он его на цепь — и к стенке. Я как раз мимо ехал. Слышу: бах! И рев прямо медвежий. У меня даже мурашки по спине пошли. Ну я и завернул. А тот уже еще раз прицеливается. В общем, пятерку он из меня все-таки вытащил. «Что я, рыжий, — говорит, — собаку задарма отдавать?» А Ытхану крупно повезло: если бы тот в него дробью — пиши пропало! А он по дурости жаканом. Наверное, соображал перед этим, как лучше.

Женька потрепал Ытхана по загривку. Пес лизнул руку хозяина и, упершись лобастой головой Женьке в колени, стал полегоньку толкать его.

— Играет, — сказал Женька. — Здоровый, а играть любит. Ну ладно, Ытхан, хватит. Иди доедай.

Женька подложил в колоду каши. Потом вытер руки и снова уселся на шкуры.

— Кстати, старик, помнишь наш разговор? Когда на маяк ездили? Ты тогда спрашивал, почему я так называл Ытхана?

— Но ты же не ответил.

— Да как-то неловко было выкладываться. Подумал: скажу, а ты ржать начнешь. Ты еще был темной лошадкой.

— А сейчас, значит, посветлел?

— Ну, если не считать мелких крапинок...

— Ясно, — сказал Кирилл. — Так что там с Ытханом?

Женька взял с пола алык и попробовал его на крепость.

— Ты что-нибудь о Курилах знаешь? — неожиданно спросил он.

— В каком смысле?

— Ну, что это за острова, кто жил тут, чем занимался.

— Откуда! Знал, что есть такие острова, но даже не представлял, как они выглядят. Думал, здесь кругом бананы, виноград. Райские кущи, в общем.

Женька отложил в сторону алык.

— Я иногда, старик, жалею, что ушел из университета. Надо было дотянуть. Не для диплома — для себя. Был у нас один доцент со смешной фамилией Пикус. Говорили, он знал штук восемь языков, читал всякие там папирусы и стелы, знал наизусть Гомера. Помню, он все прививал нам вкус к истории: «Хисториа ест магистра витэ, история — наставница жизни», — говорил он. Кое-что из его высказываний я потом себе уяснил... Впрочем, это к делу не относится. А на Курилах испокон веков жили айны, бородатые люди. Смирный был народ, воевать не любили, больше охотились. И все начисто вымерли. Правда, говорят, что на Хоккайдо живет тысячи полторы, но по моему, это уже не айны. Так вот: есть здесь один старичок-моховичок. Не у нас, а на Парамушире. Учитель бывший. Занятный дядька. Всю жизнь фольклор собирает. Он мне массу всего порассказал. В том числе и про Ытхана. Легенду целую. Легенду о Гончих Псах.

Давно это было — когда не было еще айнов, и самих островов не было, а была Эттуланги, что значит Земля, Где Живут Собаки.

Птицы не могли облететь Эттуланги, а рыбы проплыть вдоль ее берегов — так велика она была. Когда утренний бог Руху зажигал возле Синих Гор свой костер, свет костра не мог разогнать мрак на другой стороне Эттуланги — так велика она была. И никто из людей — ни энки, что охотились за морским зверем, ни длинноухие люди магги, что жили за Большими Камнями, ни люди-рыбы тунги, умевшие нырять на дно, — никогда не видел Эттуланги вблизи. Тот, кто попадал на нее, не возвращался обратно. Его разрывали Собаки, владевшие этой землей. Они днем и ночью сторожили ее, пробегая за одну луну от Огненной Горы до Черного Провала, где кончалась Эттуланги и начинались владения духов ночи.

И жил тогда на свете молодой охотник по имени Тынгей. Был он силен, отважен и ничего не боялся.

Узнал Тынгей, что есть Эттуланги, и ему захотелось взглянуть на эту землю. Он убил в море страшного зверя Гру, сделал из его кожи лодку и приплыл к Эттуланги. Там он спрятал лодку и превратился в Собаку. Но вожак Собак, Серый Ытхан, разгадал его хитрость. Он не знал, какая Собака чужая, и тогда он сделал вот что: обратился в кошку, и вся стая бросилась за ней, и только Тынгей, который ведь не был настоящей Собакой, пробежал мимо. Понял Тынгей, что Ытхан узнал его, и стал опять человеком.

И тогда Ытхан сказал ему: «Олень рождается от оленя, человек от человека, а Собака — от Собаки. Ты глуп, человек». И кинулся на Тынгея. И они стали биться и бились от восхода до заката и всю тьму, но никто из них не одолел другого.

И опять сказал Ытхан: «Ты силен, человек, но Собаки сильнее тебя. Покинь Эттуланги».

Рассмеялся Тынгей. «Ты только Собака, — сказал он Ытхану. — Не ответит еще красный цветок Ратунги, как я приручу тебя».

Так началась их вражда.

Не прав оказался Тынгей: зацветали и опадали головки красного цветка Ратунги, выходили из моря и откладывали свои яйца безобразные гады Ахамы, а Ытхан и Собаки не покорялись Тынгею.

И тогда Тынгей поклялся убить Ытхана.

Он взял лук и отправился к тому месту, где жили Собаки. «Зачем ты пришел, человек?» — спросил Ытхан. «Чтобы убить тебя», — ответил Тынгей. «Твои стрелы не догонят нас», — сказал Ытхан, и Собаки быстрее ветра помчались за вожаком. Пустил вдогонку стрелу Тынгей, но она застряла в хвосте Ытхана. Обернулся Ытхан, оторвал хвост и бросил его в Тынгея. Попал хвост Тынгею в лицо и прирос к нему. Рассердился Тынгей и погнался за Собаками. Долго гнался, наконец видит: пропасть впереди, мгла над нею чернее ночи. Догадался Тынгей, что достигли они Провала, где небо опускается в Океан. Дальше бежать было некуда. Обрадовался Тынгей и снял с плеча лук. А Ытхан подбежал к краю и прыгнул в Провал. И все Собаки прыгнули за ним. И увидел Тынгей: будто на крыльях поднялись Собаки над Провалом и полетели прямо к горящим в вышине звездам. Громко закричал обманутый Тынгей и стал пускать в Собак стрелы. И каждая стрела попа-

дала в цель, и Собаки падали в Провал и пропадали там. Только две стрелы, обессиленные, упали обратно на землю. А на небе, куда не долетели стрелы, ярким светом зажглись две звезды.

Они и сейчас горят там. Но бывают ночи, когда их не видно. В эти ночи Собаки сходят на Эттуланги. Они разыскивают Тынгея.

В такие ночи слабому лучше не ходить по их земле.

А от Тынгея пошел по свету род айнов, бородатых людей.

Женька рассказывал, а настоящий Ытхан лежал у его ног и, слыша свое имя, поднимал голову и смотрел на Женьку вопрошающим взглядом.

— А что, действительно есть такие звезды? — спросил Кирилл.

— Есть, — ответил Женька. — Целое созвездие. Гончие Псы. Не слышал?

— Слышать слышал, но где они, эти псы, на небе — убей бог, не знаю. Там же всякой живности понапихано, как в Ноевом ковчеге.

— Как-нибудь покажу, в хорошую погоду. Их сейчас хорошо видно, не то что летом. Да, собственно, их уже в мае трудно отыскать. Земля-то... — Женька не договорил, прислушавшись к чему-то.

Собаки повскакали в своих углах и тоже насторожились. Послышался сначала слабый, а потом все нарастающий лавинный гул — словно где-то в невообразимой дали включили гигантский рубильник. Вслед за этим каюрня заходила ходуном. Гул нарастал, достигая апогея.

Не помня как, Кирилл очутился на улице. Дрожь земли чувствовалась и здесь, но вид неба нейтрализовал страх, родившийся под низким потолком каюрни.

Гул постепенно стихал, земля обретала привычную неподвижность. Кирилл оглянулся и увидел позади себя Женьку. Тот чуть-чуть насмешливо смотрел на него.

— Черт! — сказал Кирилл, чувствуя, как дрожат ноги. — Землетрясение! Представляю теперь, что творилось в Ташкенте!

Женька усмехнулся.

— Ну что ты, старик! Это был совсем маленький Ташкент. От силы два балла.

Кирилл посмотрел на Женьку с недоверием.

— Это ты, допустим, уже загнул. А как же, когда восемь?

— Когда восемь, старик, бери ноги в руки и дуй до горы.

— Ты это испытывал?

— Нет. Такие вещи здесь случаются довольно редко. Последняя заварушка в пятьдесят втором была. Вот тогда действительно был тихий ужас. Представляешь, где-то дно раздвинулось и снова сдвинулось. И от этого волны пошли, цунами так называемые. Скорость — что у твоего реактивного, и высота метров двадцать. Первой волной тут все и накрыло. Башня вон за каюрней валяется — на пирсе стояла. Потом еще две волны пришли, но уже к шапочному разбору, потому что все уже сидели на сопках. А остров несколько дней трясся. Представляешь? «Стихия» — лучшего слова не придумаешь. Тут так и говорят: «Это было до стихии, а это — после». У Побережного тогда семья погибла, жена с дочкой... А вот и сам генерал, легок на помине, — перешел на другой тон Женька.

Согнувшись в три погибели, в каюрню вошел Побережный.

— Облака разгоняете, субчики? А самолет пришел, — сообщил он. — Наших там пять мест. — Он пожевал губами. — Значит, так: мы с Кириллом сейчас поедем в Северо-Курильск, а ты, Женька, часика через три встретить нас на пирсе.

— Вот те раз! — сказал Женька. — А я собак накормил. Откуда я знал, что этот сумасшедший самолет прилетит? А как он улетать думает по такой погоде?

— Как прилетел, так и улетит. Тебя не спросит.

Посадочная площадка находилась на соседнем острове. Туда самолеты летали чаще, но к нему нужно было добираться через пролив.

— А может, завтра, шеф? — сказал Женька. — Через три часа, как ты говоришь, в проливе будет хоть глаз выколи. Проскочите, чего доброго, мимо нашего Буяна — вас же в Америку унесет. К капиталистам.

— Не бойсь, не унесет. А на завтра по сводке —

дальнейшее усиление ветра. Вовсе не высунешься. Поедешь, прихвати на крайность солярки. Посветить в случае чего. Там у нас есть стокилограммовые бочки.

— Спасибо! — сказал Женька. — А вы подумали обо мне, шеф? Как я эту стокилограммовую дуру погружу на нарты? У меня же пупок развяжется!

— А ты применяй рычаги, — невозмутимо сказал Побережный. — Где так ты мастак.

Женька развеселился.

— Действительно, и как это я позабыл о рычагах? Ладно, шеф, я налажу полиспаст и приволоку на пирс цистерну. Я вам устрою варфоломеевскую ночь!

— Валяй, — сказал Побережный, — тащи хоть черта лысого. Пошли, Кирилл.

Он задом высадил дверь и, пятясь, как китайский мандарин, вышел из каюрни.

У пирса их уже дожидался «жучок». Старшина катера, бородатый моряк с грудью, отлитой словно из танковой брони, нетерпеливо выглядывал из рубки. Разглядев подходившего Побережного, старшина покрутил головой:

— Наконец-то! Я уж думал, ты рожать там собрался, Дмитрич.

— Не торопись на тот свет, Петя. Там, говорят, кабаки тоже позакрывали, — ответил Побережный, грузно спрыгивая на палубу.

— Мне-то что, — сказал нетерпеливый Петя, — я дома. Это вам нужно торопиться. Пока берег рабочий. Вишь, Дунькин-то Пуп как обмечтает? Придет норд-вест, упаси господи, обратно не добежим.

— Добежим, — успокоил старшину Побережный. — Ты только не дрейфь, Петя. Давай лучше запускай свои лошадиные силы.

Кирилл в рубку не поместился. Туда еле-еле втиснулся Побережный, потеснив старшину.

— Ты в кубрик иди, — сказал Побережный. — Я позову, когда надо.

Кирилл пропустил слова начальника мимо ушей. У него не было ни малейшего желания забираться куда-то ниже ватерлинии, когда можно было располо-

житься и наверху. Он зашел за рубку и пристроился на кожухе машинного отделения.

Катер отошел от пирса, и уже через минуту Кирилл оценил все преимущества выбранного им места. Во-первых, на кожухе было тепло — горячий воздух исходил от него, как от хорошей батареи центрального отопления. Во-вторых, через решетку кожуха можно было заглядывать в машинное отделение, где возился с разными ручками и маховиками чумазый машинист. А кроме того, с кожуха прекрасно просматривалось все, что делалось в проливе.

Пролив выглядел мрачно. Сумерки еще не наступили, но небо вдали уже сливалось с темной, отливающей гляncем водой, и скоро Кирилл перестал различать очертания оставшегося позади пирса. Ключьями пополз туман, и крики глупышей, доносившиеся из него, напоминали жалобные крики людей, просивших о помощи.

Заметно качало. На середине пролива качку сменила бестолковая водная толчея — здесь сталкивались встречные течения, и поэтому даже в тихие дни фарватер бурлил, словно по нему текла не вода, а расплавленная вулканическая магма.

«Жучок» кидало из стороны в сторону, и Кирилл слышал, как в рубке чертыхался старшина.

На полпути они обогнали МРТ — малый рыболовный траулер. Утлое деревянное суденышко, похожее на колумбовские каравеллы, сидело в воде чуть ли не по самую палубу. Такелаж траулера обледенел и позванивал на ветру, как стеклянный; с высокой кормовой надстройки свисали самые настоящие сталактиты.

Несколько человек на палубе скалывали лед. Завидев приближающийся «жучок», они перестали работать и, опершись на ломы, молча провожали катер взглядами. Наверное, траулер изрядно помотало в море, и сейчас он с полными трюмами спешил к родному берегу, который вырастал на глазах, где уже загорались огни, суля долгожданный отдых.

Порыв ветра разорвал туман, открыв справа основание каменной стены, о которую с оглушительным грохотом разбивался прибой. Подножие стены было белым от пены. Ветер подхватывал ее и разносил над водой.

Потом стена кончилась, за ней открылся пологий песчаный берег, на котором, как туша обсохшего кита, чернел остов выброшенного штормом судна. Корпус был изъеден ржавчиной, внутри с рокотом перекачивалась галька.

И, глядя на эти безмолвные останки, Кирилл впервые подумал о жестокости и неумолимости океана.

В рубке хлопнула дверь, и на палубу спустился Побережный. Не замечая Кирилла, он направился было к кубрику.

Кирилл окликнул начальника.

— А, вот ты где, — сказал Побережный. — Чего ж в кубрик не пошел?

— Дышу, — ответил Кирилл. — Вдыхаю, так сказать, ветер странствий, шеф.

— Ну, вдыхай, вдыхай...

Было видно, что разговор его нисколько не занимал, он был весь в думах о предстоящей погрузке почты.

Побережный достал папиросы, но так и не закурил, сунул пачку обратно в карман и стал разглядывать приближавшийся берег с таким вниманием, будто видел его впервые.

— Петр! — крикнул он, когда катер, обогнув волнолом, очутился на спокойной, как поверхность лагуны, воде. — Ты в ковш больно-то не залезай. Приткнись где-нибудь поближе. Лучше всего во-он за тот пал зацепись, там, кажись, Серегина нарта стоит.

— Добро! — откликнулся старшина. Он лихо развернул «жучок» и осадил его перед самым пирсом.

С проворством, которое Кирилл всегда замечал в начальнике в ответственные минуты, Побережный выпрыгнул на деревянный настил и надел на пал швартовы.

— Ты подожди здесь, — сказал он Кириллу. — Нарта, точно, Серегина. И мешки наши, а самого Серегина нет. Небось в столовой отсиживается. Пойду погляжу.

— Может, перетащить пока мешки? — предложил Кирилл.

— Дело, — согласился Побережный. — Спроси у Петьки брезент и клади прямо на палубу.

И он ушел, поднимая снег дягистеповскими сапогами.

Быстро темнело. В холодном сумраке повсюду загорались огни. Сначала их можно было пересчитать по пальцам, но вскоре все видимое пространство впереди было тесно набито ими. Занесенные снегом дома с трудом угадывались на фоне уходящих за облака гор, и казалось, что огни висят в воздухе. Они горели одинаковым желтоватым дрожащим пламенем, и только слева, на обрывистом склоне небольшой сопки, как глаз недремлющего циклопа, мигал рубиновый огонь входного створа.

Кирилл давно погрузил мешки, а Побережного все не было. Ветер как будто стих, потом подул с другой стороны, с гор, как веником, обметая их морщинистые крутые бока. На ровном и гладком плато, обрывавшемся прямо в море и прозванном почему-то Дунькиным Пупом, загуляли снежные смерчи. Они с невероятной быстротой пересекали плато и исчезали у края — будто прыгали в море.

Старшина вполголоса ругался и смотрел на часы.

Наконец Побережный появился на пирсе в сопровождении плюгавого, жокейского вида парня, который, не поспевая за крупно шагавшим Побережным, все время сбивался на рысь.

— Передай этому рохле, — донесся до Кирилла гневный голос шефа, — что я до него доберусь! Откуда я знаю, что самолет уже в воздухе? Я что, в кармане локатор таскаю? Заводи, — сказал он старшине, подходя. — Да побыстрее крути шатунами, норд-вест потянул.

— А я что говорил? — сказал старшина.

— «Говорил, говорил»! Ты бы поработал с такими охламонами, не то бы запел. Самолет на посадку заходит, а этот недотепа радист клопов давит! Из-за него сегодня почту не отправил, колосник ему на шею!..

Назад шли в кромешной тьме. Прожектор освещал только узкую полоску воды впереди катера, и старшина поминутно включал сирену. Истошный вопль, похожий на крик неведомого животного, закладывал уши и рождал смутную тревогу в душе.

Накрывшись брезентом, Кирилл сидел на мешках, пытаясь разглядеть, не мелькнет ли где огонек. Рядом сопел Побережный. На этот раз он не пошел в рубку. Видимо, он чувствовал себя спокойнее возле своих мешков.

Надсадно стучала машина. Несколько раз катер резко вильнул в сторону, и в свете прожекторного луча мимо, словно призраки, промелькнули бесшумные темные силуэты — встречные суда. Надвигался шторм, и суда торопились в укрытие.

Кирилл вспомнил Женькины слова. «Может, и верно, проскочили, — невольно подумал он. — Может, болтаемся уже где-нибудь в Охотском, чем черт не шутит!» Потом он почувствовал, как перемещается центр тяжести, и понял, что они поворачивают. И почти сразу же он увидел далеко впереди дрожащие красные сполохи, похожие на зарево от пожара.

— Дружок твой старается, — сказал над ухом Побережный.

Зарево то разгоралось, то притухало и вдруг оказалось совсем близко. Красные отблески осветили захлестывавшие пирс волны и одинокую фигуру Женьки, колдовавшего у бочки с соляром. Поодаль лежали в снегу собаки.

Из рубки высунулся старшина:

— Не подойти, Дмитрич! Глянь, что накат делает! Сунемся — изуродует, как бог черепаху!

— А зачем подходить, — ответил Побережный. — Ты держись рядком, Петя, а мы ментом перебросим мешки.

— А сами? — спросил старшина.

— У тебя переночуем, что нам сделается.

— Ну смотри, — сказал старшина.

Кирилл, молча слушавший этот разговор, не разделял мнения Побережного. Одно дело — спокойно выгрузить мешки на пирс, и совсем другое — переправлять их по воздуху. Тут можно было и просчитаться.

— Шеф, — сказал он, — я понимаю, что риск — дело благородное, но, по-моему, лучше прокантоваться до утра.

— Кантуйся, — ответил Побережный. — А я не хочу. Ты прогноз слышал? Может, неделю придется груши у Петьки околачивать. А так — хоть Женька мешки рассортирует. Петр! Дай-кось трубу свою!

Он взял протянутый старшиной мегафон и, уйдя на нос, стал что-то кричать Женьке. Волны швыряли катер, но Побережный на своих ногах-тумбах стоял неколебимо.

Выслушав Побережного, Женька так шуранул в бочке, что столб пламени вырвался из нее, как из жерла вулкана. На пирсе стало светло словно днем.

— Порядок, — сказал Побережный, возвращаясь и отдавая старшине мегафон. — Ты только держи как следует, Петр. Все от тебя теперь зависит.

— Я держу, — сказал старшина. Широко расставив ноги, он стоял у штурвала, навалившись на него своей широченной грудью, похожий на флибустьера перед abordажем.

— Давай, — сказал Побережный Кириллу. — Добросишь?

Кирилл молча кивнул головой. Взяв первый мешок, он встал у борта и приготовился бросать. Мешки были нетяжелые, от силы по пуду, и Кирилл нисколько не сомневался в том, что добросит.

У пирса волны были выше и круче, чем в проливе, и «жучок» подкидывало, как на батуде. Напружинив ноги, Кирилл выждал, когда очередная волна подхватила катер, и, едва он только завис, перед тем как плюхнуться обратно, Кирилл с силой бросил мешок. Точно выпущенный из баллисты, плотный бумажный куль описал крутую траекторию и упал на пирс. Там его тотчас подхватил Женька. Не оборачиваясь, Кирилл принял из рук Побережного второй мешок, и вся процедура повторилась в точности. Наконец остался последний, пятый мешок. Взяв его, Кирилл прикинул расстояние до пирса — ему показалось, что оно увеличилось. Знаками он велел старшине подвести катер поближе и размахнулся. И когда уже думал, что дело, в сущности, сделано — то ли сплеховал старшина, то ли подвел глазомер, — почувствовал, что не добросит. Пытаясь удержать в руках мешок, Кирилл сделал шаг вперед, к борту, и, потеряв равновесие, покатился по скользкой палубе. Он успел зацепиться за что-то на ней, но подхватить вырвавшийся из рук мешок ему не удалось. Задержавшись на мгновение у борта, мешок мягко, как тюлень в полыню, соскользнул в воду.

Кирилл еще не успел прийти в себя, когда услышал сильный всплеск — будто за борт сбросили бревно. Он оглянулся и увидел на палубе полушубок Побережного, а самого его — барахтающегося в волнах со злополучным мешком над головой. Еще Кирилл увидел

Женьку, который бежал от нарт, на ходу разматывая веревку.

— Круг! — заорал старшина, бешено крутя колесо штурвала. — Круг бросай!

Кирилл, как кошка, метнулся к рубке, сорвал с нее красно-белый спасательный круг и, прицелившись, кинул его Побережному. Круг блином скользнул по воде и закачался на волнах рядом с Побережным. Тот одной рукой ухватился за него.

Но это было еще не все. Набиравшие разбег волны неумолимо, метр за метром, тащили Побережного к пирсу, и Кирилл понимал, что, если сейчас, сию же минуту не помочь Побережному, его не спасет никакой круг: еще до того, как тело сведут судороги, волны сплющат шефа о бетон пирса в лепешку.

Кирилл беспомощно оглянулся. Сознание собственной вины заставило его позабыть обо всем на свете. Уже не сознавая, что делает, он начал срывать с себя полушубок. Кинуться в эту проклятую воду, утонуть, но помочь Побережному!

— Стой! — закричал старшина, увидевший, что Кирилл сейчас тоже сиганет за борт. — Стой, дурак!

Наполовину высунувшись из рубки, он одной рукой сграбастал Кирилла, а второй продолжал крутить штурвал, разворачивая катер почти на месте. Звякнул телеграф. «Жучок» вздрогнул и, словно пришпоренный, понесся вдоль обледенелой стены пирса, почти задевая ее бортом. Это был рискованный маневр, но старшина, видно, знал, что делал. Был единственный шанс спасти Побережного — встать между ним и пирсом, и старшина решил использовать его.

Кирилл понял это.

— Пусти! — рванулся он.

— Прыгнешь — убью, — предупредил старшина, разжимая пальцы.

Но Кирилл уже не нуждался в подобных предупреждениях. Подбежав к борту, он вцепился в леерную стойку и перегнулся через борт, готовясь подхватить Побережного. Он знал, что катер не может сбавить скорость — тогда их сразу швырнет на пирс, — и думал только об одном: не промахнуться.

Катер взлетел, провалился, и сразу же рядом с собой Кирилл увидел протянувшуюся ему навстречу руку

Побережного. Свесившись так, что волны окатывали его с головой, Кирилл схватил эту руку. Его рвануло и стало раздирать, словно на дыбе. Это продолжалось минуту, может быть, полторы. Потом напряжение ослабло — наверное, они проскочили пирс, и старшина сбавил ход.

Кирилл подтянул Побережного к борту.

— Возьми мешок... — прохрипел Побережный. — Я сам...

Он рывком выбросил из воды свое грузное тело и лег животом и грудью на палубу. Ноги Побережного продолжали висеть за бортом, но он как будто не чувствовал этого, хватал ртом воздух, отплевываясь от воды, которой успел порядочно наглотаться.

— Давай в машину! В машину давай! — кричал из рубки старшина.

— погоди ты! — не поднимая головы, сказал Побережный. — Дай очухаться!

Он наконец-то весь вылез на палубу и, сняв сапоги, стал выливать из них воду.

— Кирилл! — позвал он.

Кирилл, относивший мешок в рубку, подошел. Он ожидал упреков, ругательств, чего угодно. Но Побережный ни словом не попрекнул его.

— Тащи мешок в машинное, — сказал он. — Посмотри, что там. Хорошо бы газеты. Высушим, за первый сорт сойдут. Ну а коли письма... — Побережный не договорил, махнул рукой.

Катер уходил от пирса. Некоторое время был виден Жеңька, увязывавший мешки, потом костер на пирсе потускнел, скрылся во мраке, и, только присмотревшись, можно было различить слабое дрожащее свечение, которое вскоре пропало совсем.

В мешке оказались газеты. Они даже не промокли, только верхние, и повеселевший Побережный тут же разложил и развесил их по всему машинному отделению.

Мотористу, явно недовольному его действиями, Побережный сказал:

— А ты, дух, молчи. Не заржавеют твои железки. Дал бы лучше чего-нибудь на зуб. Небось сам тут гонишь.

Моторист подумал и достал из аптечного ящика за-

масленную бутылку и стакан. Побережный зубами вынул пробку и понюхал горлышко.

— Смотри ты! — удивился он. — Казенный! А закусить у тебя не найдется?

— Рукавом закусите, — сказал моторист.

Побережный не обиделся.

— И на том спасибо, — сказал он. — Держи-ка, Кирилл.

Ночь наваливалась на океан.

Примостившись на железном ящике для инструмента, Кирилл слушал ритмичное чавканье двигателя и думал о странных вещах, происходивших в мире.

Неизвестно где, скорее всего в другом полушарии, стоял возле своей пушки китобой с белыми ресницами и бровями. Спал и видел во сне кирпич и арматуру инженер, когда-то мечтавший летать. Всматриваясь в ночную темь, стоял у штурвала бородатый старшина. Гнал собак Женька. Корпел над неисправным манометром смотритель маяка Сорокин. На куче ветоши храпел в углу нахлебавшийся воды, чуть не утонувший Побережный. И все эти люди, даже чумазый моторист, хранивший в аптечке отнюдь не медицинский спирт, были в той или иной мере причастны к его, Кирилловой, жизни. И еще к тому, что объединяло их вместе и по-научному называлось бытием и что было на самом деле чем-то безнадежно запутанным и сложным, чему Кирилл никак не мог подобрать точного определения.

8

Кириллу снился сон. Будто он сидел в классе на своей парте и списывал домашнее задание у закадычного дружка Левки Петлякова. Звонок уже прозвенел, вот-вот должна была войти Вероника Витольдовна, а Кирилл все не мог переписать упражнение. Наконец дверь открылась, но вместо Вероники Витольдовны в класс вошел Побережный. Кирилл очень удивился и под партой толкнул Левку, но тот никак на это не прореагировал. Кирилл посмотрел на других учеников и увидел, что, кроме него, никто в классе не удивился приходу Побережного, хотя все прекрасно видели, что это не Вероника Витольдовна, и знали, что она никогда не

ходит в сапогах. Между тем Побережный сел за стол и раскрыл журнал. У Кирилла екнуло под ложечкой: он знал совершенно точно, что сейчас Побережный вызовет его. Близоруко щурясь и пачкая чернилами пальцы — точь-в-точь как это делала Вероника Витольдовна, — Побережный долго заполнял журнал. Потом закрыл его, отодвинул на край стола и оглядел притихший класс. «Ануфриев, — сказал он, — читайте и объясняйте нам домашнее задание». И чего никогда не случалось, Кирилл растерялся. Позабыв встать, он опять толкнул Левку, чтобы подсказывал, и забормотал что-то о временных формах французского языка. «Встаньте!» — попросил его Побережный. Но у Кирилла почему-то ноги сделались ватными. «Встань, Ануфриев!» — повторил Побережный и вдруг не выдержал и закричал: «Вставай!..»

Кирилл открыл глаза и увидел над собой шекастое лицо шефа.

— Вставай, соня, — сказал Побережный. — Трясу, трясую его, а он ни мур-мур. Царство небесное проспишь.

Кирилл блаженно улыбнулся. У него было такое ощущение, будто он прокатился на «машине времени». И пока он плескался под рукомойником, это ощущение не оставляло его, радостно и щемяще перехватывая дыхание.

На крыльце закрипел снег, стукнула дверь в коридоре, и в комнату вошел Женька. Вид у него был несчастный: он который день болел ангиной, ничего не мог есть и говорил шепотом. Горло он замотал какой-то тряпкой, накрутив ее до самого подбородка, отчего осанка Женьки приобрела сходство с осанкой слепого — Женька все время задирает голову.

— Вот чудики! — сказал Побережный. — Одного вилами не подымешь, другой как петух. Ты-то чего спозаранился?

Женька полез за пазуху и вытащил оттуда клочок бумаги.

— Чуть не забыл, старик. — Женька говорил, мучительно кривясь и вытягивая шею, как будто что-то глотал. — Приедешь, найди там Сашку Колесова, радиста. Он тебе вот эти лампы даст. Я тут записал на всякий случай.

Кирилл взял бумажку и спрятал ее в карман.

— Варнака нет, — сказал он. — Я вчера кормил; гляжу — нет.

— Придет, — сказал Женька. — Будем запрягать, сам придет. А так зови — не дозовешься. Любит шастать. Кустарь-одиночка.

— Есть будешь, кустарь-одиночка? — спросил Побережный, открывая банку тушенки и вываливая мясо на сковородку.

— Мерси, шеф. Вот умру скоро, тогда будете смеяться.

— Да разве я смеюсь? Горло горлом, а есть надо. Ну, тогда хоть чайку попей, оно смягчает. Говорю, попробуй молока с маслом — так нет, нос воротит. Ну и валяйся еще неделю!

Побережный пошуровал в печке и поставил на конфорку сковородку.

— Хорошо бы тебе обернуться сегодня, — сказал он Кириллу. — Завтра, глядишь, на Шумный бы съездил. А на следующую зиму хоть зарежься, а вторую нарту надо. Горе с одной.

— Шеф, — сказал Кирилл, — надеюсь, вы не забыли наш уговор?

— Чудной ты, ей-богу! — усмехнулся Побережный. — Думаешь, на тебе свет клином сошелся? Уйдешь ты — другой такой же объявится. Был бы хомут, а шея всегда найдется.

Кирилла задела такая откровенность.

— Вы утилитарист, шеф, — сказал он.

Побережный попробовал тушенку, обжегся, передвинул сковороду на другую конфорку, а на освободившееся место поставил чайник.

— Не знаю таких и знать не хочу, — ответил он. — Мне почту возить надо. Я за это деньги получаю. — Он был неуязвим.

— Ладно, пока вы тут бодаетесь, я к собакам схожу, — сказал Женька. — Приходи, старик.

— А чай? — сказал Побережный.

— Не прокиснет. Приду, мы еще покейфуюем.

Он ушел, оставив после себя кисловатый запах плохо просушенной меховой одежды.

Кирилл тоже не стал задерживаться. Проглотив наспех надоевшую тушенку, он запил ее чаем и оделся.

— Позвони, как приедешь, — сказал Побережный, выходя вместе с ним на улицу. — Слышишь?

Да не засиживайся там, мешки сдашь и поворачивай оглобли.

Женька уже засветил в каюрне коптилку и, сидя на корточках, разбирал смерзшуюся упряжь.

— Надо ее домой уносить, старик, — сказал он. — Ты потрогай, как железная. Натрут собаки холки.

Кирилл про себя чертыхнулся. Вчера он собирался захватить упряжь с собой, но проискал Варнака и забыл.

Они стали запрягать собак: Женька одну сторону, Кирилл — другую. Собаки зевали во всю мочь, потягивались. Точно из-под земли появился Варнак. Он подошел к своему месту и стал ждать, когда на него наденут алык.

— Явился, прохиндей, — сказал Женька. — Ты, старик, в следующий раз не ищи его. Я первое время тоже бегал, высунув язык. А утром смотрю — приходит. Тютелька в тютельку, как солдат из увольнения. Черт с тобой тогда, думаю, гуляй, раз время знаешь. Винтовку возьмешь?

— Клади, — ответил Кирилл. — Может, куропатки попадутся.

Потом они принесли груз и увязали его.

— Где поедешь? — спросил Женька. — Через овраг или берегом?

— Еще не знаю. Посмотрю, как тропа.

— Если через овраг, не ввались в полынью. Ее под снегом не разглядишь.

— Знаю, — сказал Кирилл. Он оглядел собак и взялся за ломик.

— Не забудь про лампы! — уже вдогонку просипел Женька.

Кирилл махнул рукой, что должно было означать: «Не забуду!»

Рассвет, словно вода акварельную краску, размывал очертания сопки и предметов по сторонам, сглаживал дорогу — она казалась без выбоин и морщин. Но Кирилл ехал по ней не впервые и знал, что расслабляться нельзя, можно запросто перевернуться. Натянув на голову капюшон малицы, он внимательно следил за извилинами наезженной за зиму тропы, отмечая про себя ставшие привычными дорожные приметы. Проскочили

старый японский дот, мелькнули в стороне заваленные снегом игрушечные домики метеостанции. Темные окна, трубы без дыма — спят еще в домиках. Там, куда он едет, наверное, тоже еще спят. Наверное, и всех-то бодрствующих сейчас на острове он да Женька с Побережным. А завтра снова: мешки за спиной, визг полозьев, струи поземки в лицо, тягуны, надсадное собачье дыхание, проваливающийся наст и сухой, как песок в пустыне, снег под ним. Очень трудно ехать по такому снегу. Он не уминается, не поддается никакому сжатию, и собаки будто плывут по нему, переваливаясь через заструги, как через волны. И нельзя прочно поставить ногу, когда идешь за нартами, — под ней нет опоры, нога по колено уходит в крупнозернистую сыпучую массу, в которой не остается даже следов. Посмотришь назад — кажется, что проехали не нарты, а проползло на брюхе какое-то неведомое пресмыкающееся. Шестьдесят километров нужно отгрохать сегодня: тридцать до рыбозавода и столько же обратно. Правда, десяток можно выгадать, если махнуть через овраг. Но хрен редьки не слаще: под снегом в овраге полно воды. Провалишься — вымокнешь до пупа... Не дал все-таки доспать шеф. И сон перебил. Такой четкий, выпуклый сон. Интересно, чем бы все кончилось — выкрутился бы он или Побережный вклеил бы ему двойку? Ведь надо же присниться такому! Уникальнейший все же продукт серое вещество. Куда там электронной машине! Ту пока запрограммируешь, чокнуться можно, а здесь ничего программировать не надо, все давно заложено. Сегодня, например, он повидал Левку, веснушчатого меланхоличного «Ко-ко», который не раз вытаскивал его, Кирилла, за уши на контрольных и экзаменах. «Ко-ко» Левку прозвали давно, наверное, еще в пятом или шестом классе. «Как будет по-французски петух, скажет нам, — перемазанный чернилами пальчик Вероники Витольдовны описал в воздухе замысловатую кривую и остановился на Левке, — скажет нам Лева Петляков». Левке в это время было не до петухов. Он решал геометрию. Он встал и рассеянно посмотрел перед собой. Мир математических символов еще прочно владел его сознанием. «Лё кок», — шепнули сзади, и этот чуть слышный звук вывел Левку из задумчивости. Он тотчас представил себе голенастого предводителя суетливого куриного племени и, не

моргнув глазом, ответил: «Ко-ко». Класс покатился с хохоту, Вероника Витольдовна изумленно раскрыла глаза... Он всегда был немного чудака, этот Левка. У него редкая профессия — он прекрасно делает чучела. Надо будет привезти ему что-нибудь из курильской фауны, какую-нибудь сову.

Сопки расступились, открылась ровная поверхность круглого, как чайное блюдце, озера. На берегу стояло несколько сараев с навесами вдоль стен — собачьи летние «квартиры». Здесь, по рассказам Женьки, собаки жили с июня по октябрь, здесь каюры ловили и вялили для них рыбу, здесь же обучался молодняк.

Обычно, когда Кирилл ездил с Женькой, они устраивали у сараев перекур. Но сегодня Кирилл не хотел здесь останавливаться: пустые, молчаливые сараи не вызывали у него приятных чувств. Что-то кладбищенское — тоскливое и неживое — было в самом виде этих временных строений, в посвисте ветра, врывающегося в зиявшие темнотой щели в стенах, в шелесте прошлогоднего тростника на берегу. Казалось, стоит только остановиться, и сараи заскрипят ржавыми петлями, распахнут свои двери, и из них ползет на свет божий всякая нечисть, которая затаилась в темных углах, под полом и крышами — везде.

Ытхана, вознамерившегося по привычке свернуть к сараям, Кирилл послал окриком вперед, и упряжка пронеслась мимо навевавшего тоску места.

Быстро светало. Собаки, до той поры казавшиеся темной однородной массой, были видны теперь по отдельности; различимее стала и дорога, и Кирилл уже не напрягал глаза, чтобы определить, яма впереди или просто густая тень. Предоставив собакам возможность бежать как им хочется, Кирилл поудобнее расположился на нартах и стал дожидаться того момента, когда нужно будет скомандовать собакам поворот. Он уже решил, что поедет берегом. В овраге и в самом деле можно было застрять, а путь по берегу, хотя и был длиннее, избавлял от всяких случайностей. Там был только тягун, правда, большой, но всего лишь тягун. Одолеет его — и шпарь под горку чуть не до самого завода. Красота! Нарты катятся так, что обгоняют собак, и те, чтобы не попасть под полозья, сами отпрыгивают в сторону и освобождают дорогу. А какая не успеет, та иной раз прямо в нарты вскочит, а то и вовсе из алыка

вывернется. Чаще всего коренникам достается, потому-то они, как спуск, то и дело оглядываются и даже бегут боком.

Мелькнула бесшумная тень, пролетела белая полярная сова. Раскинув в стороны крылья, она как бы подпрыгнула в воздухе и опустилась на кочку. И сразу слилась с ней. Так и будет сидеть весь день. Сорвется иногда, схватит зазевавшуюся мышь или горностаю и опять усядется. А говорят, что совы не видят днем. Видят, и еще как видят!

Кирилл вспомнил свое намерение привезти Левке сову. Пожалуй, если постараться, они с Женькой могут сделать неплохое чучело. И Левка был бы рад, но почему-то не хочется доставать винтовку и ни за что ни про что убивать красивую птицу. Охотником, наверное, нужно родиться. Да и какая это охота — грохнуть сидящую на кочке сову? Она даже не знает о том, что ее могут грохнуть, думает: бегут собаки, ну и пусть себе бегут. Вот если встать сейчас самому, совушка испарится в минуту, метнется и пойдет на бреющем, виляя из стороны в сторону, как бумажный змей.

У развилки Кирилл притормозил нарты, снял малицу, кинул ее на мешки. Через пять минут будет жарко и в телогрейке — начинался тягун.

— Вперед! — скомандовал он, и собаки, понимавшие, что эта остановка не для них, и потому не позволявшие себе хоть на короткое время расслабить втянувшиеся в работу мышцы, рывком стронули нарты и, озлобляясь и возбуждая себя, потащили их вверх по накатанному до блеска склону.

Кирилл, старавшийся не сбиться с темпа, подбадривал и понукал собак, поддерживая в них ту озлобленность в работе и тот накал, без которых ездовые собаки не собаки.

— Пошел! Пошел, звери! — кричал он, зная, что сейчас собаки не обижаются на него за эти крики, что сами они не лают и не воют только потому, что от лая быстро устаешь, а так бы они полаяли и повыли, на то они и собаки.

Солнце, всходявшее за спиной, осветило сопки, и нарты, и собак, оживило странно оцепеневший, неподвижный воздух, окрасило облака, тоже неподвижно висевшие над островом. Только в одном месте, там, где

кончался тягун и начинался не менее длинный пологий спуск, облака шевелились, как будто их кто-то пытался сдвинуть с места.

Кирилл знал, что откроется ему, когда нарты окажутся там: стометровая отвесная стена и море под ней, забитое всегда туманом и тучами. Женька, например, уверяет, что это и есть тот самый Провал, о котором говорится в айнской легенде. Женька фантазер, но место действительно мрачное. Глянешь вниз — и тянет к себе бездна, и хочется поскорее отойти от края и не слышать тяжелого, низкого шума внизу, в котором пропадают все привычные звуки. Но Провал Провалом, а Побережный рассказывал, что, когда десантники брали остров, здесь сидели прикованные к пулеметам японские смертники. Картина тоже не из приятных, тем более когда самому надо идти на эти пулеметы...

Собаки неожиданно шарахнулись в сторону, словно испугались чего-то, и, сбившись в кучу, завyli, как по покойнику. Не видя того, что могло бы их так напугать, Кирилл остановился и посмотрел вперед. Там ничего не было. Тогда он оглянулся по сторонам и почувствовал, как у него по коже пошел мороз: на небе, как раз над Провалом, стояла стая чудовищных псов и, раскрывая громадные пасти, беззвучно выла в пространство.

«Псы, — остолбенело подумал Кирилл. — Гончие Псы!» Не спуская с видения глаз, он, как лунатик, сделал несколько неуверенных шагов вперед, и в тот же момент рядом с воющей сворой на небе появилась фигура человека, такая же чудовищная, как и собаки. Несмотря на расстояние и искаженный вид призрака, Кирилл сразу узнал его. Это был он, Кирилл, собственной персоной!

Кирилл облизнул пересохшие губы. Теперь ему стало понятно, что происходит. Мираж! Обыкновенный мираж! Физика от начала и до конца! Собаки Эттуланги и Тынгей здесь ни при чем — там, на небе, он видит самого себя и свою упряжку.

Кирилл рассмеялся. Ну и денек выдался! Сначала Побережный со своим нелепым перевоплощением, теперь это. Эх, жаль, нет Женьки! Такие вещи существуют на свете специально для него. А может, Женька сейчас тоже видит Псов? Не обязательно же быть имен-

но в этом месте. Видели же, кажется, в Германии битву при Ватерлоо.

Собаки продолжали выть, и Кирилл прикрикнул на них. Потом подошел к Ытхану и опустился перед ним на корточки. Призрак на небе проделал то же самое, причем облака странно заколебались, словно призрак обладал плотью.

Ытхан дрожал, как перед схваткой, и глухо рычал. Шерсть на его загривке стояла дыбом. Чтобы успокоить собаку, Кирилл стал чесать Ытхану за ушами. Пес положил голову ему на колени, но не жмурился, как обычно, а, не мигая, смотрел на своих двойников в небе, и в глазах пса видны были ужас и лютая злоба.

— Ладно, — сказал Кирилл, поднимаясь, — посмотрели — и хватит. Нам еще о-ё-ёй сколько топать!

Он растащил собак по местам и скомандовал:

— Кса! Вперед, звери!

Но собаки не пошли. Поджав хвосты, они оглядывались на Кирилла, скулили, а некоторые легли. Один Ытхан, которому команда, видимо, напомнила о его ответственности, рванулся вперед.

— Дела! — сказал Кирилл. — Похоже, барбосы не на шутку перетрусили.

Он поглядел на небо. Призраки по-прежнему находились там и не думали убираться.

И тут Кириллу пришла в голову дикая мысль.

— Минуточку, — пробормотал он, подбегая к нартам и доставая из-под мешков винтовку. — Посмотрим, как они на это прореагируют.

Он передернул затвор и, прицелившись в тех, на небе, выстрелил. Трескучий звук, отдаваясь звонким эхом от скал, сотрясая воздух, покатился над островом. Эффект превзошел все ожидания: Кирилл ясно увидел, как фантомы, словно живые, дернулись и стали медленно терять очертания.

— Ага, — сказал Кирилл, — не понравилось!..

Уже не целясь, он раз за разом стал нажимать на спусковой крючок, и пули, как когда-то стрелы Тынгея, находили свои жертвы, одного за другим сбрасывая Псов в гудевший под ними Провал. Когда кончилась обойма и грохот смолк, там, где только что был мираж, остались лишь медленно колыхавшиеся, иссеченные пулями облака.

Кирилл опустил винтовку. Возбуждение улеглось, и он вдруг почувствовал усталость и что-то похожее на раскаяние. Это было смешно, но ему казалось, что он расстрелял живых псов. Он спрятал винтовку подальше от глаз и молча погнал собак на вершину тягуна.

9

Третий день ждали самолета. Третий день Женька с утра подгонял нарты, Побережный и Кирилл сидели в них, и они ехали к посадочной площадке. Она находилась наверху, в сопках, и представляла собой узкую, приглаженную бульдозерами полосу земли, один конец которой нависал над морем, а другой, как ручей в песках, терялся в болотистой низине, начинавшейся сразу за будкой. Самолетам, прилетающим на остров, приходилось очень точно рассчитывать пробег, иначе можно было и «посыпаться», как выражались летчики.

Здесь они подолгу сидели в тесной будке с громким названием «аэровокзал», от нечего делать курили, прислушивались, не идет ли самолет, и смотрели, как Ген-а-радист, он же механик, кассир и начальник «аэро-порта», терзает радиостанцию.

Но самолет не прилетал. То не было погоды в Петропавловске, то Гена отказывал в приеме.

Побережный сердился и ругал Гену.

Утром, когда ехали, Побережный сказал:

— Сегодня уж точно прилетит. Погодка как по заказу.

Погода и в самом деле была что надо: ни ветра, ни облаков, чистое голубое небо, на которое непривычно было смотреть.

— Летит! — встретил их Гена. — Полчаса уже в воздухе!

Время еще было, и они без суеты покурили и только после этого вышли на улицу.

«Аэровокзал» располагался в конце полосы, у низины, самолеты обычно подруливали сюда. Потом им оставалось только развернуться — и разгоняться, пока не начнут действовать всякие там подъемные силы. Здесь же стоял бульдозер, на котором все тот же Гена расчищал свои владения от заносов, и валялись бочки с горючим.

Самолет показался минут через двадцать, зеленый грузовой Ли-2. Как и положено, он сделал над посадочной площадкой круг и стал снижаться. Он так долго шел над полосой, что Кирилл подумал: промажет. Но все прошло как по писаному: взвихрив снег, самолет коснулся полосы, подпрыгнул и скрылся в облаке снежной пыли. Когда оно рассеялось, Ли-2 уже был на земле и, медленно вращая винтами, рулил к «аэровокзалу».

Винты крутнулись в последний раз, и самолет остановился. Из дверцы высунулась стремянка, по которой неторопливо слез пожилой летчик в унтах и кожаной куртке.

— Привет папанинцам! — крикнул он.

— Ба, никак Малахов прилетел! — сказал Побережный. — А говорили, что он грохнулся!

Побережный, как танк, двинулся навстречу летчику.

— Саня, друг бриллиантовый! Жив?

— Живой, Гриша! Что нам сделается!

— А мне в Питере бухнули, что ты...

— Слухи, Гриша, слухи, — весело блестя глазами, сказал Малахов. — Невежественные люди распускают. Ну было дело, было... Обошлось. На брюхо сел. А ты-то как? Сто лет не виделись.

— Да мне что, по земле хожу... Чем торгуешь нынче?

— Витаминами! Полста ящиков приволок, апельсины-мандарины всякие. Возьмешь ящичек? Пока рыбокоп там чухается.

— Сейчас подъедут, — сказал Побережный, будто не слыша, что ему говорят. — Семен тоже тут, как сыч, три дня сидел. Почты много?

— Второй знает, я не был, когда загружался. Петров! Сколько у нас почты? Гриша вот интересуется.

— Триста кг, — сказал второй пилот. Он стоял на верхней ступеньке стремянки и со скучающим видом обозревал лежащий перед ним ландшафт. — Триста кг, — повторил он. — И как только люди успевают? Тут пульту расписать некогда, а они три центнера настрочили. С ума сойти!

— А ты не сходи, — сказал Побережный, — ты лучше мешки нам давай. Полезай, Кирилл.

Они уже разгрузились, когда снизу донесся лай и на гребне показались вторые нарты.

— А вот и Сеня, — сказал Побережный, — тут как тут.

— Плакал твой ящик, — сказал летчик в куртке. — Говорил, бери сразу.

— Никуда не денется, — успокоил его Побережный. — Сеня мне сам его привезет, с доставкой на дом.

— Ну гляди, тебе виднее. Сам так сам. Значит, поехал?

— Покатил. Пока погода. В нашем деле, как и в вашем, погода — все.

— Неужто сразу допрете?

— А то как? Под горку оно ничего, потихоньку-полегоньку. Подсобим, где надо. Трое лбов, хлеб не за дарма едим.

— Ну-ну, — уважительно сказал летчик.

— Сегодня — на Почtareво, — сказал Побережный, когда они рассортировали мешки. — Пока погода. А то начнется рыданье. Где Женька?

— К собакам ушел.

— Ладно, полчасаика отдохните и трогайтесь. А я пока бумаги оформлю.

У Кирилла тоже было дело, нужно было приготовить кое-что на дорогу. Он принес из коридора пустой ящик из-под масла, разломал его и быстренько наладил печь. Сухие, промасленные доски горели, как порох, и через пять минут плита накалилась. Вскипятив воду, Кирилл остудил ее, добавил клюквенного экстракта и сахара. Получился отличный морс, который в поездках был просто необходим. Он лучше всякого пива утолял жажду и восстанавливал силы, как живая вода. «Неплохо бы, конечно, прихватить парочку апельсинов, — подумал Кирилл, — да разве с шефом сваришь кашу? Предлагали ящик — так нет, отказался. Сеня сам привезет! Держи карман шире, разбежится твой Сеня!»

Вошел озабоченный Женька.

— Ты чего? — спросил Побережный.

— Ытхан совсем расхромался, шеф. Все лапы посек до крови. Наст-то не держит как следует, а Ытхан все время впереди.

— А я сколько раз говорил — сшей бахилы. Возьми брезент и сшей. Тебе ж хоть кол на голове теши.

Женька презрительно скривился.

— Ытхан не какой-нибудь карликовый пинчер, шеф. Знаете, по Москве старушки водят, в лапотках? Думаете, я не пробовал? А Ытхан те бахилы — зубами. Это только у Джека Лондона собаки сами просили обуть их.

— Тогда замени — и дело с концом. У тебя что, собак мало?

— Нечувствительный вы человек, шеф. Я вам про попа, а вы мне про попову дочку. Конечно, замену!

— Возьми вот квитанцию. Да заставь Парамонова расписаться как следует. А то поставит закорючку, разбирайся потом. Ну, готовы?

— Айн момент, шеф, — сказал Женька. Он уселся у печки и стал переобуваться.

Побережный смотрел на него с нетерпением.

— Шеф, — сказал Женька, — надо бы нам устроить большой выходной. А, шеф? Страна давно перешла на пятидневку, а мы все по старинке вкалываем. А у меня собаки. Они морально изнасились, шеф.

— У тебя язык не изнасился?

— Я серьезно. Собаки окончательно озверели. Подтверди, старик.

Побережный досадливо отмахнулся.

— Нужны мне его подтверждения, как рыбе зонтик! Ты мне уже всю плешь проел с этим износом, парень! Целое лето баклуши бьешь со своими собаками, и все износ, износ!

— Конечно, — сказал Женька — за меня дядя работает. Вам не стыдно, шеф? — Он встал, притопнул унтами. — Подарили бы лучше портянки, чем обижать. Сотрудников иногда нужно премировать.

— У меня не склад, — сказал Побережный. — Я тебе уже давал одни. Куда ты их дел?

— Вспомнили! Это было давно и неправда, шеф. А потом, они были б/у, ваши портянки, и я стал мыть ими полы.

— Вот и мой. Мой на здоровье.

— Значит, не дадите?

— Тьфу! — плюнул Побережный. — Ну что ты при-

стал, как банный лист! Нету у меня портянок! Хошь, вон носки бери. Вигоневые.

Женька засмеялся.

— Я знал, шеф, что у вас добрая душа. Так и быть: вернемся — подарю вам одну маленькую штучку. — Женька сделал таинственное лицо.

— Какую еще штучку? — насторожился Побережный. — Не надо мне никаких штучек. Мне твои штучки надоели.

— Шеф никак не может забыть галифе, — сказал Женька.

— Никакие не галифе, — стал оправдываться Побережный горячее, чем следовало. — А что галифе? Если хочешь, такие же брюки.

— Не бойтесь, шеф, на этот раз это будет нечто другое. Ты скоро, старик?

— А я и не боюсь, чего мне бояться, — пробормотал Побережный. Когда речь заходила о галифе, он чувствовал себя не очень уверенно.

Кирилл закинул за плечи рюкзак с припасами.

— Пошли, — сказал он.

Как всегда, увидев хозяев во всеоружии, собаки заволновались, запрыгали, затыкали от нетерпенья.

— Придется Куцего вместо Ытхана поставить, старик. Он у него дублер.

— Сумасшедший этот Куций. Ему орешь, орешь, а он глаза вылупит и знай себе прет.

— Заполошный, это точно. Зато вожак. Любого на место поставит. Кроме Ытхана, конечно.

— Да о чем говорить! Куцего так Куцего, какая разница?

— Не скажи! Ты поставь попробуй хотя бы Варнака. Он из тебя душу вынет. И собак взбаламутит. Им нужно, чтобы впереди был вожак, а Варнак в этом смысле ни рыба ни мясо. Он в середине — на месте.

Женька, наверное, долго бы еще разглагольствовал на любимую тему, но тут из дома вышел Побережный.

— У вас совесть есть, ироды?! Чего вы резину тянете? Ждете, когда я за вас поеду?

— Все, все, шеф, — успокоил Побережного Женька. — Маленькое производственное совещание. Летучка. Закройте глаза, шеф, и нас уже здесь не будет!..

На обратном пути Женька все чаще посматривал в сторону моря, над которым, как колбасы воздушного заграждения, стали собираться раздувавшиеся туши туч, и торопил собак.

И все-таки они не успели. Вдали уже показались похожие на неолитические кромлехи выветренные каменные столбы на другой стороне пролива, когда началась пурга.

Она началась сразу, без раздумий и намеков, как бывает только в этих местах.

Ветер вдруг завыл на угрожающей ноте и, задрав шерсть на собаках, бешено погнал впереди себя поземку. Пространство наполнилось сухим шорохом и треском, словно по насту побежали мириады бойких рыжих тараканов. Вмиг сделалось темно. Потом, будто выдохнувшись, ветер стих. И ударил уже с другой стороны, в лицо, сатанея с каждой минутой.

— О-ля-ля! — сказал Женька. — Неужели прихватило? Держись, старик! Кса, Куцый, кса! Вперед!

Тощий длинноногий пес с обрубком вместо хвоста, словно понимая положение, взвыл и рванул постромки. Поддерживая порыв вожака, остальные собаки тоже залаяли и завыли. Нарты понеслись, едва не опрокидываясь на поворотах. Каким-то чудом Женька успевал ломиком вовремя подправлять их.

— Вперед! — кричал он. — Вперед, Куцый!

Спрятав лицо от хлещущих ударов ветра, Кирилл старался по ходу нарт определить приближение очередного поворота или спуска, и, когда такой момент наставал, он крепче вцеплялся в решетку нарт и напружинивал тело. Страха не было, хотя Кирилл прекрасно знал, что, если пурга разойдется, им несдобровать. При таком ветре собак хватит на полчаса. Потом они лягут, и никакая сила уже не поднимет их. А до поселка еще километров десять.

Рев пурги нарастал. В крутящихся снежных вихрях не было видно ни собак, ни даже Женькиной спины. Весь мир погрузился в белую, дико завывающую тьму.

Внезапно Кирилл почувствовал, что нарты пошли быстрее. В следующий момент они подпрыгнули, как на трамплине, и, встав торчком, начали переворачи-

ваться. Больно стукнувшись коленкой о железную дугу передка, Кирилл вниз головой полетел в снег. До слуха донеслись вой удаляющихся собак и отчаянный крик Женьки:

— Стоять, Куцый, стоять!!

Кирилл вскочил, но острая боль в ушибленном колене заставила его вскрикнуть. Как слепой вытянув перед собой руки, он стал шарить вокруг. Нарты оказались рядом. Кирилл уцепился за них и сел. Он уже понял, что произошло — оторвались и убежали собаки. Нарты кверху полозьями лежали на дне не то канавы, не то оставшегося от войны окопа. Крюк, к которому прикреплялся потяг — трос с постромками, — был вырван из передка с мясом.

Подставив ветру спину, Кирилл попробовал трезво оценить создавшееся положение.

Собак нет. Они уже далеко — несутся, движимые первобытным стайным инстинктом и предводительствуемые псом, подверженным амоку. Где-то в пурге мечется погнавшийся за собаками Женька. Догонит ли он их? А если нет — найдет ли дорогу к нартам в таком содоме?

Мысль о Женьке заставила Кирилла позабыть о ноге. Он подобрал валявшуюся в снегу лопату и, опираясь на нее, как на костыль, шагнул в клубящуюся мглу. Его тотчас опрокинуло и потащило в сторону от нарт.

— Женька-а-а! — закричал он, пытаюсь удержаться на месте.

Ветер ворвался в легкие, раздирая их на части. В груди закололо, как будто в нее забили, по крайней мере, сотню мелких обойных гвоздей. Задыхаясь, Кирилл пополз обратно к нартам.

Это было бессмысленно — то, что он задумал. Бессмысленно искать человека, когда ветер валит с ног и не видно даже собственной руки.

Кирилл вспомнил о винтовке. Она была здесь, под брезентом. Он достал ее и выпалил в воздух. Еще и еще... Ему казалось, что выстрелы трещат не громче бумажных елочных хлопушек.

Он расстрелял одну обойму и вставил другую. И опять стал палить, прислушиваясь после каждого выстрела к ревущему на все голоса мраку.

Он расстрелял уже дюжину патронов, когда его об-

остренный слух уловил посторонний, не имевший никакого отношения к пурге звук. Он был не сильнее комариного писка, но Кирилл мог бы поклясться, что это кричит человек.

Звук повторился, на этот раз ближе, и в нескольких шагах от Кирилла, как из-за раздвинутого полога, показалась высокая фигура Женьки. С трудом преодолевая ветер, Женька подошел к нартам и повалился рядом с Кириллом на снег.

— Труба дело, старик, — сказал он, дыша словно астматик. — Чуть не заблудился. Не начни ты стрелять — ушел бы не знаю куда.

— Не догнал? — спросил Кирилл, хотя и без этого все было ясно.

— Где там! Был бы Ытхан — другое дело. Тот бы остановился, а эти прут, что горбуша на икромет. И как я не разглядел эту вшивую яму?! — Женька выругался. — Ладно, — сказал он, отведя душу, — после драки кулаками не машут. Давай берлогу строить, старик. Эта свистопляска может на неделю затянуться. Ничего, жратвы у нас хватит, отлежимся. Ты что это?

— Саданулся, когда оверкиль делали.

— Здорово?

— Не знаю, не смотрел.

Вдвоем они вытащили из окопа нарты и придавили ими один край брезента. Другой закрепили ломиком, прорезав в брезенте дыру. Ветер вырывал из рук тяжелый, задубевший на морозе материал, как парус, надувал его, но они все-таки накрыли окоп. Женька хотел было углубить его, но бросил бесполезное занятие: окоп заносило на глазах. Они побросали в него вещи и сползли сами. Под брезентом было темно и тесно, но туда не так задувал ветер, и это уже было хорошо. Холода они пока что не ощущали. Порывшись в рюкзаке, Женька сказал:

— Подрубаем, старик, и впадаем в анабиоз. Это самое лучшее, что можно придумать в нашем положении.

— Ты шефу звонил? — спросил Кирилл. У него сильно болела нога. Вгорячах он не чувствовал особой боли, а сейчас она растекалась по ноге, как огонь по дереву.

— Звонил, — ответил Женька. — Сказал, что выезжаем. Шеф теперь весь телефон оборвет.

Они поели тушенки и выпили по большому глотку горячего морса. Прикуривая, Кирилл посмотрел на часы.

— Без семи два, — сказал он.

Женька ответил из темноты:

— Минутами можно пренебречь, старик. Начнем отсчет с четырнадцати ноль-ноль, как говорят люди с врожденной внутренней дисциплиной. Тебе не холодно?

— Нет. Ты посвети, я посмотрю, что у меня с ногой.

Кирилл стянул унту и задрал брючину. Женька стал чиркать спички. Они горели всего две-три секунды и светили только под носом. Женька достал из кармана какую-то бумагу, свернул ее трубочкой и поджег. Бумага горела ярче и дольше, и они провели консилиум. Нога была как нога, только колено сильно распухло, и, когда Кирилл попробовал согнуть ногу, в колене что-то явственно закрипело, как в новеньком, еще не притершемся протезе. Они решили, что, наверное, повреждена чашечка.

— Тебе бы компресс сейчас, — сказал Женька.

— Ага, — сказал Кирилл. — И массажиста бы. Оно-ре нашего.

Женька вдруг заржал:

— Постой, постой! Это ты про шефа?

— А про кого же еще? Чего это ты так развеселился?

— Гениально, старик! А я второй год, как идиот, думаю, на кого же похож шеф? А ведь даже Кучуму ясно, на кого.

Коренник Кучум был самой сильной и, по мнению Женьки, самой бестолковой собакой в упряжке, и, сравнивая себя с ней, Женька уничижал себя до последней степени.

Он опять засмеялся и придвинулся к Кириллу вплотную.

— Старик, у меня колоссальный план! Кончится эта кутерьма, мы устроим сногшибательную мистификацию! В духе Эдгара Аллана По. Боюсь только, как бы шефа не хватил кондратий. А впрочем, выдержит, он со своим здоровьем еще сто лет проживет...

Весь день и всю ночь ветер дул с таким постоянством, словно за один раз решил выдуть отпущенный на год лимит. Брезент над головой содрогался, но сорвать его с места ветер так и не смог. Он лишь гудел — басовито и зло, как гигантский, рожденный нездоровым воображением шмель.

К утру у Кирилла стала мерзнуть больная нога. Сначала он не обращал на это внимания, но нога мерзла все сильнее и сильнее.

В конце концов он не вытерпел и разбудил Женьку.

Выслушав Кирилла, Женька не на шутку обеспокоился.

— Ну-ка, разуйся, старик. Чувствуешь что-нибудь? — спросил он, ущипнув Кирилла за икру.

— Нет, — сказал Кирилл.

— А так?

— Тоже нет.

— Пошевели пальцами.

Кирилл пошевелил.

— Ну как?

— Как деревянные.

Женька чертыхнулся.

— Дело дрянь, старик. Так ты можешь запросто лишиться конечности. Нужно драпать отсюда, пока не поздно.

— Ты в уме? — сказал Кирилл. — Ты слышишь, что там творится? Я намотаю на ногу ватник.

— Не в этом дело, старик. Наматывай не наматывай — бесполезно. У тебя нарушена циркуляция крови. Где-то лопнул махонький сосудик или два и — пожалуйста! Надо идти. Двигаться, понимаешь?

Кирилл безнадежно махнул рукой.

— Мы не дойдем, Женька. По такой пурге?! Через час от нас останутся рожки да ножки.

— Это единственный шанс, старик. Больше часа ты так и так не выдержишься. А потом? Ты думаешь, эта карусель так вот и кончится?

Кирилл молчал. Женька был прав. Но Кирилл даже не представлял, как можно с его ногой пройти эти проклятые десять километров, где на каждом шагу под снегом понатыканы кочки да ямы. И ветер словно сорвался с цепи. Рано или поздно нога откажет. И тогда их уже ничто не спасет. На открытом месте не помогут ни унты, ни малицы. Он подведет Женьку под мона-

стырь... Но тогда что же? Лежать и, как прокаженному, ждать, когда начнут отваливаться руки и ноги?..

— Думай не думай, старик, — голос Женьки прозвучал глухо. Кирилл не видел Женькиного лица, но знал, что тот сейчас смотрит на него, — вылезать все равно надо...

Да, надо. Он всегда скептически относился к этому слову. Ему казалось, что необходимость выбора в девяти случаях девяти зависит прежде всего от логических просчетов самих людей. Обстоятельствам отводился всего один процент. Что и говорить, маловато. Он брал цифры с потолка...

— Давай покурим на дорогу, Женька.

— Давай. И перестань думать о своей ноге. Мы дойдем, старик, вот увидишь!..

Сумрак наступившего нового дня ослепил их. После темноты окопа глаза отказывались воспринимать даже серые тона, их заломило, как от неоновых вспышек электросварки.

Прислонившись друг к другу, чтобы не упасть под наскоками ветра, они несколько минут стояли, привыкая к свету и загораживая лицо руками. Потом плечом к плечу пошли навстречу тяжелым снежным завесам, мчавшимся по равнине с грохотом товарных порожняков. Совсем ополоумев, ветер задирали им на головы малицы.

Боль в ноге с первых же шагов отрешила Кирилла от действительности. Он сосредоточился на ней, не замечая ни ветра, ни клубящегося, как дым, снега, ни холодных водяных струек, которые потекли за шиворот, когда набившийся в капюшон снег начал таять. Перенося тяжесть тела на здоровую ногу, Кирилл с ужасом думал о том, что следующий шаг нужно начинать с больной, и каждый раз боялся, что этот шаг будет последним.

Женька под руку поддерживал Кирилла.

Оставляя в насте дыры, которые тут же заносились снегом, они, словно на дно загрязненного водоема, погружались в беспросветную серую муть. Вскоре она целиком поглотила их, перепутав всякие представления о времени и пространстве. И то и другое вдруг пере-

стало существовать; и хотя с момента, когда они покинули окоп, прошло не больше пятнадцати-двадцати минут, Кириллу представилось, будто они уже целую вечность блуждают по этой кочковатой безжизненной равнине, что они уже прошли поселок и теперь уходят от него в глубь острова.

Кирилл остановился.

— Женька! — крикнул он.

Женька обернулся, приблизив к Кириллу лицо. Оно было покрыто сплошной коркой льда и напоминало белую гипсовую маску, на которой неестественно краснела узкая щель рта. Промерзшая малица стояла на Женьке колом, из нее нелепо торчали в стороны руки. Вместо головы на плечах у Женьки покоилось подобие медного водолазного шлема, и Женька был похож на марсианского бога, изображение которого дотошные археологи обнаружили в пещерах не то Японии, не то Ближнего Востока.

Кирилл подумал, что и он, наверное, выглядит не лучше.

— Мы заблудились, Женька!

— Все правильно, старик! Смотри!

Он опустился на колени и разгреб рукой снег. Под ним на насте, точно струпья на шкуре старой собаки, виднелись пересекающие друг друга полосы — следы от нарт. По сторонам во множестве были раскиданы оставшиеся от сырой погоды размазанные слепки собачьих лап.

Женька был прав: они ни на йоту не ушли в сторону, и Кирилл не понимал, каким образом Женька ухитряется находить дорогу в этом взбаламученном до самого неба крошечке.

— Как нога, старик?

— Лучше!

— А я что говорил!

Рев пурги не ослабевал, и им приходилось кричать, чтобы услышать друг друга.

Кирилл соврал. Хотя нога больше и не мерзла, но она уже не просто болела — ее жгло огнем.

— Передохнем, старик!

Кирилл хотел ответить поговоркой, суть которой сводилась к игре слов «передохнём» и «передóхнем», но раздумал. Не хотелось лишний раз открывать рот и наглаживаться холодного, вперемешку со снегом воздуха. Ста-

раясь не сгибать ногу в колене, он, как куль, плюхнулся рядом с Женькой. Тот переменял позу и сел так, что загородил собой ветер. Возле Женьки стал быстро вырастать сугроб.

Запустив руку под малицу, Женька извлек на свет заветный термос. Рюкзак с продуктами они не взяли, он остался лежать в окопе до лучших времен, но термос запасливый Женька успел когда-то запихать за пазуху.

Морс был как нельзя кстати: Кирилл мучила жажда, а снег, который он глотал, ее не утолял. Видно, у него начиналась температура.

Женька открутил крышку и протянул термос Кириллу. Кирилл приложился к горлышку. Кисло-сладкий горячий напиток действовал как волшебный эликсир: с каждым глотком Кирилл чувствовал, что силы возвращаются к нему. Даже показалось, что поутихла боль в ноге.

— Подъем! — сказал Женька, когда термос вновь перекочевал к нему за пазуху.

Он помог Кириллу подняться, и они пошли дальше, ложась грудью на упругий, как натянутый тент, ветер.

...Близко — Кириллу показалось под боком — завывала собака. Низкий, вибрирующий вой перекрыл шум пурги и тут же угас, растворился в нем.

Кирилл поднял голову и напряг слух, стараясь определить, откуда донесся этот вой, но, кроме грохота и свиста, не услышал ничего. Ветер. Разве существует в мире еще что-нибудь, кроме ветра?..

Они лежали на середине тягуна, там, где свалился вконец обессиленный Женька, и снег заносил их.

Случилось то, что неминуемо должно было случиться, — нога отказала. На дне распада протекал ручей, дрянной, мелеющий летом ручеек, в котором даже живности никакой не водилось. Но в нем хватало камней — пудовых, обкатанных водой голышей. Под снегом их было не видно; покрытые наледью, как горшки глазурью, они только и дожидались, когда на них наступят. Нога соскользнула, и Кирилл упал как подкошенный. И больше уже не встал. Он наступал на ногу, но она подвертывалась, и он ничего не мог поделать с ней. И тогда

Женька понес его и тащил до этого места, где они лежат сейчас и где, наверное, так и останутся...

Еще бы сто метров! Если бы не было пурги, с вершины сопки они увидели бы поселок. И даже столб перед Женькиным домом, на который Кирилл загнали тогда собаки. Женька выдохся. У него не легкие, а кузнечные мехи, но все равно он выдохся. Он же не трехжильный. Как еще он донес его сюда...

Женька зашевелился.

— Вставай... — прохрипел он. — Еще немного, старик...

Это было последнее, что помнил Кирилл. Он еще чувствовал, как Женька пытается поднять его, затем свет померк, и, когда временами он что-то ощущал, в уши ему снова врывался рев ветра и мерещились разноцветные, вспыхивающие в разных местах огни. Потом они погасли, и он опять услышал вой и увидел белую собаку, мчавшуюся к ним громадными прыжками...

10

Дрова были сухие, без сучьев, и кололись как сахар. Куча поленьев росла, но Кирилл продолжал без устали махать топором. В принципе колкой можно было и не заниматься, дров у них было заготовлено до второго пришествия, но Кириллу до смерти надоело ничегонеделание. Проваливаясь месяц в постели, рассматривая потолок, тоже что-нибудь да значит. Мозоли на боках натер. Да, попали они тогда... Страшно вспомнить. Как его Женька донес — никто не знает. Нога омертвела, и пробродили они час-другой — пришлось бы заказывать деревяшку... А их искали. Все два дня искали. Шеф поднял на ноги весь поселок. Люди связывались веревками и искали. Но разве найдешь в такой буче?! Можно рядом пройти и не заметить. Если бы не Ытхан, им была бы крышка. Вот пес так пес! Действительно, цены нет, как говорит Женька.

Расколов очередное полено, Кирилл бросил топор и разогнулся: все-таки он отвык от работы за этот месяц, спина ноет. Да и нога еще не совсем прошла, болит, когда приседаешь.

Сняв шапку, Кирилл расстегнул ватник и, как в шезлонге, устроился на чурбаках.

Солнце припекало совсем не по-курильски, и за домом было тепло, точно в оазисе.

Весна брала свое: снег на сопках набряк и посинел, отчего сопки потеряли плавность линий, скрытые под снегом ручьи источили склоны, как личинки капустное поле, и Кирилл подумал, что, если дело и дальше пойдет такими же темпами, недельки через две ему нужно будет наведаться в отдел кадров в Северо-Курильск. А то как бы опять не остаться с носом.

Занятый своими мыслями, Кирилл не заметил, как к дому подошел Побережный, и вздрогнул от неожиданности, услышав над ухом его раскатистый бас:

— Жирок нагуливаешь?

— Ага, — сказал Кирилл, не меняя позы.

— Ну давай, давай... Женька не приезжал?

— Нет, — ответил Кирилл.

— Пора бы, — сказал Побережный. Он тоже снял шапку и, обмахиваясь ею, присел на козлы, отчего те во всю мочь закрипели. Лицо Побережного было красным и блестело, как медный таз, в котором вытапливали шкварки. И только в глубоких морщинах на шее да под волосами на лбу виднелась белая, не тронутая ни ветром, ни весенним загаром кожа.

— Дорога, шеф, — сказал Кирилл. — По такой размазне шибко не разбежишься.

— Дорога, — согласился Побережный. — Все равно пора бы.

Он достал расческу и причесал влажные, прилипшие ко лбу волосы. Подув затем на расческу, он спрятал ее в карман и, не глядя на Кирилла, сказал:

— А ты, парень, вот что. Если не передумал со своей рыбой, волынку не тани. Я сегодня кое с кем говорил в Курильске. Есть вакансии.

— Куда? — спросил Кирилл, оживляясь.

— А хошь куда! Хошь в китобойку, хошь за се-ледкой.

— О'кэй, — сказал Кирилл. — Завтра же сметаюсь на ту сторону.

Побережный поднялся с козел. Он был раздосадован. По-видимому, он не думал, что Кирилл так горячо ухватится за его предложение, и в душе ругал себя за то, что сам завел этот неприятный разговор. Покатав ногой чурбак, он вздохнул и, ничего больше не сказав, направился к дому.



Предчувствие близких перемен взбудоражило Кирилла. Так было всегда, еще в школе, когда перед экзаменами он ложился спать, будто спрятав в груди до отказа заведенный часовой механизм, который отсчитывал и отсчитывал секунды, приближая его с каждым ударом к чему-то неведомому. Кирилл поднял топор и с удвоенной энергией принялся за работу, прислушиваясь к звону закаленного до синевы лезвия и безотчетно радуясь этому звону.

Через час Побережный выглянул из дома.

— Ну что мне делать с этим длинным чертом? — страдальчески сморщившись, спросил он. — Три часа, а его все нет!

— Шеф! — сказал Кирилл. — Скорее всего Женька решил поохотиться. У нас совсем нечем кормить собак. Я сгоняю сейчас на берег. Женька где-нибудь поблизости.

На каюне Кирилл надел лыжи и взял на поводки двух собак посильней из оставшихся. Он часто делал так, когда нужно было срочно куда-нибудь съездить.

На берегу Кирилл остановил собак.

Был отлив, и море уже далеко отступило от берега, обнажив громадные валуны и обломки скал, покрытые скользкими мокрыми водорослями. Кучи плавника тут и там виднелись на влажно блестящем сером песке. Как воздушные пузыри, прыгали на воде пустотелые стеклянные шары — поплавки от тралов и сетей.

Кирилл осмотрелся. Женьки нигде не было видно.

— Э-эй! — крикнул Кирилл. — Женька-а!..

Бродившие по отливу чайки с пронзительными криками сорвались и закружились над берегом.

На всякий случай Кирилл проехал по берегу до конца — до того места, где дорога, обходя непропуски, круто сворачивала в глубь острова. И здесь он не увидел никаких следов Женькиного пребывания. Поразмыслив, Кирилл решил прокатиться дальше по дороге, благо погода располагала к прогулкам. Он прикрикнул на собак, и они резво потащили его по рыхлому, липнувшему к лыжам снегу.

Солнце палило вовсю, даже не верилось, что здесь может быть такое жаркое солнце. Слева прямо из моря

вырастал переливающийся под солнцем алмазный конус Алаида. В небе неподвижно, словно привязанные, висели крохотные черные точки — высматривающие добычу орланы-белохвосты.

Глядя на них, Кирилл вспомнил, как прошлым летом ездил по Военно-Грузинской дороге.

Весело ехали. В Казбеги, помнится, остановились и всем автобусом пошли в ресторан. Шашлыки ели и пили кахетинское шестой номер. Грузины, как водится, тосты говорили. Кирилл сначала слушал и пил вместе со всеми, а потом под шумок выбрался из-за стола и пошел на воздух. Над горами в синеве летали орлы, а снизу, с каменного постамента, на них глядел темноликий горец в каменной бурке и, казалось, шевелил губами, словно бы звал орлов или слагал стихи. Да. А потом на Крестовом перевале еще раз останавливались. Холодно было там, и орлов уже не было, а дымились прямо в снегу ручьи нарзанные. И опять все пили вино. Сосед по автобусу угостил Кирилла чачей. Выпил Кирилл стаканчик и прямо из ручья нарзаном запил. А сосед потом всю дорогу до самого Тбилиси бил у Кирилла над ухом в бубен и пел грузинские песни. Весело ехали...

Собаки вдруг натянули поводки и залаяли. С ходу перевалив небольшую сопку, Кирилл попридержал их: в этом месте дорога сужалась, ныряла круто на дно глубокого и тесного оврага, зажатого между двумя отвесными каменными стенами, и нужно было притормаживать, чтобы ненароком не загреметь вниз.

Однако собаки продолжали лаять и рваться вперед. Кирилл был уверен, что они почуяли приближавшиеся нарти, и ожидал вот-вот увидеть над краем оврага косматого, как медведь, Ытхана, за ним остальных собак и, наконец, усталую, но улыбающуюся физиономию Женьки. Правда, Кирилла немного удивлял тот факт, что он не слышит ответного лая, но это было объяснимо: карабкающейся из последних сил по крутому склону упряжке было просто не до этого. Не желая сталкиваться с усталыми, а потому особенно озлобленными собаками носом к носу, Кирилл отъехал в сторону и остановился. Прошла минута, за ней другая. Из оврага никто не показывался. Выругав по-прежнему подвывавших собак, Кирилл подъехал к краю и заглянул вниз. Сначала он ничего не понял, а потом почувствовал, как

у него холодеет внутри: овраг был наполовину завален тяжелыми снежными глыбами, из-под которых до Кирилла донесся жуткий звериный вой...

...Они напрасно бы ждали сегодня Женьку. Он все равно бы не приехал. Он лежал здесь, на дне оврага, погребенный под толщей тяжелых, как гранит, снежных глыб, и никто не мог сказать Кириллу, сколько времени Женька уже лежит там.

Сбросив лыжи, Кирилл кубарем скатился в овраг.

Он не знал, с какого места ему следует начинать, и действовал скорее интуитивно. Он знал только одно: нужно во что бы то ни стало побыстрее добраться до Женьки!

Обдирая в кровь руки, Кирилл принялся растаскивать в стороны шершавые, словно наждак, глыбы.

Он представлял, как все произошло.

За зиму над оврагом наметало многотонные снежные козырьки. Они нависали по обеим сторонам дороги, и в этом отношении овраг был идеальной ловушкой. Каждая пурга наращивала козырьки на несколько сантиметров, а ветер спрессовывал снежную массу до прочности бетона. Весной козырьки теряли эту прочность. Достаточно постороннего звука — крика, собачьего лая, выстрела, чтобы нарушить сомнительное равновесие. Излом свежий, как будто козырек обломился только что. Такие вещи происходят мгновенно. Женька уже спустился в овраг, когда карниз пришел в движение. Нарты успели проскочить еще несколько метров, потом их накрыло. Жив ли Женька? Собаки живы, по крайней мере, некоторые. И отсюда ли он начал? Может, Женьку отбросило куда-нибудь в сторону? А, черт! Все равно надо ковырять, пока не доберешься до чего-нибудь. А главное — торопиться. Грохнет, чего доброго, второй козырек — похоронит за милую душу всех.

Рука под снегом уткнулась во что-то мягкое. Малица? Собачий бок? Раздумывать было некогда. Кирилл потянул и выволок из-под снега собаку. Это был коренник Кучум. С ним ничего не случилось. Кирилл освободил собаку из алыка, и она, как ни в чем не бывало, запрыгала вокруг него.

Кирилл обрадовался: значит, он верно сориентировался, нарты должны быть где-то рядом!

В снегу мелькнул рыжий лоскут. Малица! Рыжих собак в упряжке не было. Кирилл с лихорадочной поспешностью стал отбрасывать снег вокруг лоскута. Потом ухватился за него и потянул. Из снега вдруг вынулась белая человеческая рука. Женькина рука. Кирилл из тысячи узнал бы эту узкую, сильную ладонь с длинными, как у пианиста, пальцами.

Он притронулся к руке. Она была твердой и холодной. Как снег, который он отбрасывал. Словно археолог погребение, Кирилл осторожно оконтурил, а затем очистил от снега бесчувственное тело Женьки.

Он лежал на спине. Глаза Женьки были полуоткрыты, и в них набился снег.

Кирилл опустился на колени и стал дышать Женьке в лицо. Снег постепенно начал таять; из глаз Женьки потекли тоненькие струйки; казалось, он плакал. Кирилл задрал на Женьке малицу и приложился ухом к груди. Сердце чуть-чуть билось.

Уложив Женьку поудобнее, Кирилл начал откапывать собак. Без них он не вытащил бы Женьку наверх.

Пот лил с Кирилла ручьем. Он сбросил ватник и остался в одной рубашке. И опять стал отбрасывать глыбы. Он работал, как раб в каменоломне, и, когда откопал собак, у него еще хватило сил взвалить на нарты негнувшееся Женькино тело.

Из собак уцелела только половина. Правая сторона упряжки, принявшая на себя основной удар лавины, была целиком выведена из строя. Две собаки так и остались лежать в снегу, остальные кое-как ковыляли. У Ытхана, наверное, была сломана лапа, он поджимал ее и не давал притронуться.

С горем пополам Кирилл отобрал пять более или менее годных собак, запряг их и погнал окриками и ударами. Сегодня он не жалел ни того, ни другого. Он всю шерстил собак и, не отрываясь, смотрел в незакрытые Женькины глаза. Снег из-под собачьих лап падал Женьке на лицо и оставался лежать на нем, не тая. Кирилл смахивал этот снег, но из-под лап летел новый и опять оставался лежать и не таял, и опять Кирилл смахивал его. Он ни за что на свете не согласился бы закрыть Женьке лицо. Он просто не смог бы сделать этого. Он смахивал снег и во всю мочь гнал собак.

Вера вышла к нему в приемную.

— Как он? — спросил Кирилл.

— Плохо, — сказала Вера. — Врачи определяют сотрясение. Под угрозой ампутации левая рука. С первым самолетом его отправят в Петропавловск.

Вера заплакала.

— Не надо, Вера, — сказал Кирилл. — Женька не умрет.

— Я не буду, — сказала Вера. — Только бы он выжил, — прошептала она. — Только бы выжил!..

Скоро ее позвали, и она ушла.

Кирилл сел на стул и стал ждать.

Входили и выходили люди. Сновали мимо молоденькие и пожилые сестры и санитарки. Иные смотрели на Кирилла, иные нет, и никто не спрашивал его, зачем он сидит здесь. И никто не мог ответить, будет ли жить на свете Женька, который лежал сейчас где-то в глубине этого чистого стерильного здания, под чистыми стерильными простынями и никак не мог прийти в сознание.

Потом приехали нарты, и Женьку вынесли в приемную. Но Кирилл так и не увидел его лица. Оно было закрыто.

Кирилл поднялся и пошел за носилками. Рядом с ним шла Вера.

На улице они увидели Побережного. Он почему-то был без шапки. Ветер топорщил его пышный седой ежик, и Побережный как никогда был похож на Бальзака.

11

Отдел кадров помещался в доме барачного типа. В полутемном коридоре вдоль стен стояли деревянные скамейки, на которых, куря и вполголоса переговариваясь, сидели люди.

Кирилл отыскал нужную ему дверь. Перед ним в очереди было трое, и он по примеру других сел на свободное место у стены.

Сегодня так или иначе решится все. Скорее всего так, потому что Побережный зря ничего не говорит. А он сказал: «Найди Афанасьева, скажи, от меня. Он устроит».

Смешной, бескорыстный шеф! Печется о деле, которое, кроме лишних хлопот, ему ничего не даст. Опять

нужно будет искать человека, кого-то уговаривать, улещивать... Шефу с его характером в интернате бы директорствовать, а он прирос к своим письмам и газетам. Для него свет в окне — мешки с почтой. Призвание, что ли, у человека такое? Впрочем, это уже к делу не относится. Лучше подумать, куда проситься. Значит, так: киты и селедка. Киты, конечно, перетягивают. Одни названия чего стоят: блювал, финвал, полосатик. Чудовища! Подумать только: один кит весит столько же, сколько двести пятьдесят слонов! Индийских, африканских — без разницы. Двести пятьдесят — и точка! Дальше. Если киты — наверняка Атлантика, айсберги. Говорят, их нумеруют. Специальные патрули есть. Подплывают к такой плавающей Джомолунгме, трафаретик наготове, ляп — дело сделано! Айсберг номер ну хотя бы триста семнадцатый. И в книжечку заносят — учет прежде всего. В общем, раздумывать нечего — в китобой! Как говорит Женька: полюбить — так королеву! Может, с Вовкой доведется встретиться. Помашем ручками...

Очередь не двигалась. Из-за двери доносились голоса — вернее, один, по тембру которого можно было догадаться, что его обладатель не привык сдерживаться.

Кирилл сходил на улицу, покурил, пощурился на выглянувшее солнце. Потом снова вернулся в коридор.

Заветная дверь наконец-то открылась, и из кабинета выскочил парень в «мичманке» и в сапогах, похожих на ботфорты.

— Нет, ты только пойми, — без всяких церемоний приступил он к Кириллу, — я этому кашалоту одно толкую, а он мне свое гнет! «Тебе, — говорит, — Вася, визу закрыли». — «Откройте, — говорю. — Кто ее закрывал? Я?» А он мне: «Морально неустойчивый ты, Вася». Ну не кашалот? Кашалот!

Выговорившись, Вася ушел, а Кирилл попытался представить себе кашалота, который сидел за дверью и закрывал хорошим людям визы.

Пока он убивал таким образом время, подошел его черед. Вступив за дверь, Кирилл понял, что экспансивный Вася все перепутал: никаких кашалотов в кабинете не было. За столом сидел самый обыкновенный человек. Без очков, без гроссбухов и, что очень удивило и озадачило Кирилла, совсем молодой. Своим видом он

дискредитировал всех начальников отдела кадров, каких только знал Кирилл.

Однако юного администратора, видимо, нисколько не волновало то, как о нем думали. Он с деловым видом записал что-то в календарь и, взглянув на Кирилла, спросил:

— Что у тебя?

Как понял Кирилл, простота обращения здесь была в обычае, и это существенным образом меняло дело. Готовясь к разговору, Кирилл давно разработал тезисы, которые должны были бы убедить любого в необходимости направить его туда, куда он жаждет, но выходило, что мудрствовать лукаво не придется. Парень за столом производил впечатление человека быстрого на решения. Поэтому Кирилл не стал распространяться, а последовал совету Побережного.

— Помню, — сказал парень, — был такой разговор. Значит, на китобойцы хочешь?

— Хочу, — сказал Кирилл.

— Правильно, — одобрил парень. — Я сам два года плавал. Люди нам всегда нужны. Как ни крути, а текучесть здесь большая. Приходят, уходят. Чего скрывать: до черта таких, которые за длинным рублем сюда едут. Покрутятся, понюхают жареного — и линяют. А у нас работать надо. Вкалывать, чтобы кости трещали. А всякие выгоды — это уже вторичное. У тебя какие документы есть?

— Трудовая, паспорт. Военный билет еще.

— Добро. Договоримся так: оставь мне эти бумажки и через недельку заглядывай. Можешь и шмотки сразу прихватить, чтобы не мотаться зря туда-сюда. Устраивает?

— Вполне, — сказал Кирилл.

— Тогда все. Привет Женьке. Как он?

— Нормально. Заикается чуть-чуть.

— Пройдет, — уверенно сказал парень. — Дмитрич собирается его летом на курорт отправить. На Камчатку. Там ключики горячие есть — от всех болезней. В общем, давай устраивай свои делишки — и милости просим.

По дороге в порт Кирилл зашел на почту и дал матери телеграмму. Подумал и написал письмо. Он просил мать не волноваться и обещал привезти ей амбры или, на худой конец, китового уса. А может, и скелет кита,

если он влезет в чемодан. Кирилл знал, что мать, как всегда, расстроится, и ему хотелось хоть шутками поддержать ее.

На пирсе он сел на штабель желтых отсыревших досок и стал ждать катер.

Дул теплый ветер. Сильно пахло вешней сырой водой. Кирилл смотрел на море, умиротворенно плескавшееся вокруг. Оно ждало его впереди, и ему еще нечего было вспоминать о нем. Здесь же, на этих ветреных и туманных островах, он оставлял частицу самого себя. Здесь оставался Побережный, их ворчун шеф, толстый пожилой человек, который, не раздумывая, мог прыгнуть за борт за мешком с газетами. Здесь оставался Женька. Неудавшийся студент, любитель всяких теорий, отчаянно смелый эпикуреец с желтыми, как зеницы льва, глазами.

Женька не прав. Нельзя сочинять себе биографию. Можно выбирать то или другое, но придумывать жизнь нельзя. И не комплексы гонят их из дому. Мир безграничен, но познаваем. И только через него можно познать самих себя. Это аксиома.

Все было как будто правильно, но что-то тревожило Кирилла. Какое-то беспокойство, как червяк, затаилось внутри. Ему должно было быть объяснение, это Кирилл знал по опыту. Нужно только найти причину.

Кирилл медленно прошелся по пирсу. Вытащил сигарету. Остановился. Мысль, пришедшая ему в голову, была простой и все объясняющей: ему нельзя уходить в море. Во всяком случае, сейчас. По отношению к Женьке и Побережному это будет предательством. Полгода, всю жестокую курильскую зиму, они жили вместе. Возили почту. Тонули и замерзали. И сейчас, когда Женька еще не поправился и Побережный остался, по сути, один, он собирается дать тягу. Его, оказывается, больше всего интересуют киты. Моби Дики и Левиафаны! Он жить не может без них!

Кирилл смял сигарету, вытащил другую. А как же начальник отдела кадров? Документы, которые он сдал? Эх, да черт с ними, с документами! Он же на всех перекрестках кричит, что надо оставаться самим собой. Вот и оставайся самим собой, Кирилл Ануфриев, краснорубашечник! Оставайся! Китов всех не выловят, а начальник отдела кадров поймет, он, кажется, толковый малый...

Подошел катер. Кирилл прыгнул на палубу.

Быстро, как в тропиках, сгущалась темнота. Над морем загорались звезды. Поодиночке, парами, целыми скоплениями. Где-то среди них мчались над землей Гончие Псы.

Кирилл попробовал отыскать их. Но вид весеннего неба был неузнаваем. Мироздание меняло свой облик, и там, где должно было находиться созвездие, зияла черная пустота.

Наступала ночь сошествия Псов на Эттуланги, ночь, когда слабому лучше не ходить по этой земле.

1970 г.



РАССКАЗЫ



ОДИН ДЕНЬ ИЮЛЯ

На рассвете капитана Фролова разбудил дежурный телефонист.

— Двадцать первый, товарищ капитан!

Позывной «двадцать первый» по кодовой таблице принадлежал командиру дивизии, он не мог звонить в такое время по пустякам, и Фролов поспешно подошел к аппарату.

— Восьмой слушает!

— Восьмой? — переспросили в трубке, и, против ожидания, Фролов услышал голос начальника штаба: — Срочно явитесь в штаб, восьмой! Повторяю: восьмому срочно прибыть в штаб!..

Резкий щелчок мембраны обозначил конец разговора.

Фролов положил трубку и, нагибаясь за сапогами, бросил через плечо:

— Морозова ко мне!

Положение командира отдельной батареи реактивных минометов резерва Главного командования обязывало Фролова ходить только с сопровождающим, и он во всех случаях, когда ему приходилось покидать батарею, брал с собой сержанта Морозова из разведвзвода. Сейчас Морозов спал в своем блиндаже, и телефонист как заведенный накручивал ручку телефона, дозваниваясь до разведчиков.

Обувшись и перепоясавшись ремнем, Фролов снял висевший над нарами автомат — он предпочитал его любому другому оружию, проверил, полностью ли набит диск, и снова вставил его на место, несильно, но точно ударив по нему ладонью.

Спросил нетерпеливо:

— Где Морозов?

— Доложили, что выходит, товарищ капитан, — извиняющимся тоном ответил телефонист.

Постоянно находясь в блиндаже, он хорошо изучил нрав комбата и по одной интонации распознавал, с какой ноги встал Фролов. Сейчас телефонист безошибочно определил, что комбат раздражен, и его извиняющийся тон был одной из нехитрых уловок, к которой он прибегал, чтобы хоть как-то погасить это раздражение.

— Долго выходит, — сказал Фролов, сознавая, что выглядит в глазах телефониста занудой и пилой, что ни в каком промедлении Морозов не виноват (человеку тоже собраться надо), что виной всему собственное настроение, усталость от бесконечных бессонных ночей, а главное — чувство острейшей тревоги за судьбу батареи.

Дивизия окружена, немцы атакуют непрерывно, а установки молчат — кончились снаряды. По сути, батарея стала обузой для дивизии, и если немцы прорвутся, выход один — взорвать установки.

Это было крайнее средство, и, как человек, не желающий идти на него и всеми силами оттягивающий роковой миг, Фролов в глубине души лелеял мысль, что все еще, может быть, обойдется, что дивизии удастся отбросить немцев и вырваться из кольца. Но как военный он отчетливо понимал беспочвенность таких мечтаний. Надеяться не на что. Дивизия обречена. Она продержится еще день, от силы два, потом немцы сомнут ее...

О том, что последует за этим, Фролову не хотелось думать. Каждый раз воображение рисовало ему одно и то же — груды искореженного металла, все, что останется от его установок, которые сейчас нужнее и дороже любого золота в мире, и эта картина вызывала у него приливы бессильной ярости, испытываемые человеком, не могущим что-либо изменить в сложившейся ситуации.

Еще более раздражаясь, Фролов перекинул автомат на грудь и вышел из блиндажа, ударив дверью кого-то, кто, видимо, намеревался войти в блиндаж.

Это был Морозов.

— Прибыл по вашему приказанию, товарищ капитан! — доложил сержант, сдерживая дыхание.

Он явно спешил на вызов, но не подчеркивал этого, как делали иные дошлые старослужащие, рассчитывавшие на похвалу от начальства, и Фролов, давно отметивший Морозова среди других разведчиков, и сейчас по достоинству оценил его непредрасположенность к показухе и готовность к немедленным действиям.

— В штадив, — коротко сказал Фролов и быстро пошел по ходу сообщения.

В штабном блиндаже Фролова ожидали трое: командир дивизии полковник Игнатьев, комиссар Рекемчук и начальник штаба подполковник Минин. Сидя за дощатым столом, они разглядывали разложенную на нем карту и о чем-то переговаривались вполголоса. На краю стола стоял графин с водой и пепельница, сделанная из обрезка снарядной гильзы и доверху наполненная окурками — по-видимому, и комдив и его помощники просидели за столом всю ночь. Об этом свидетельствовал и прокуренный насквозь воздух блиндажа, в котором тускло горели две коптилки.

— Садитесь, капитан, — сказал командир дивизии, указывая на снарядный ящик, заменявший стул. Вытащив очередную папиросу, он прикурил от коптилки и несколько раз глубоко затянулся.

— Положение серьезное, капитан. Немцы с часу на час начнут атаку, и надо безотлагательно решить, что делать с батареей, если противник прорвет наши позиции. Не скрою: такое может случиться. Дивизия обескровлена. У нас едва наберется три тысячи бойцов, в то время как у немцев втрое больше солдат, а главное — у них танки. Конечно, мы выдвинули на танкоопасные направления истребительную артиллерию и минировали подходы, но — танки есть танки. Поэтому вам следует подготовить батарею к взрыву. Я сообщил в штаб армии о нашем положении. Командующий просит продержаться хотя бы полдня. Обещает помочь, но, откровенно говоря, я не вижу, что здесь можно сделать. Что-

бы деблокировать нас, нужна по крайней мере еще дивизия.

— Батарея заминирована, товарищ полковник, — сказал Фролов. — Под каждой машиной установлен заряд тола. При угрозе захвата — взорвем.

— У меня к вам вопрос, капитан, — проговорил молчавший до сих пор комиссар. — Вам не кажется, что немцы пронюхали о «раисах»?¹ Уж больно они вцепились в нас. Как собаки в медведя.

— Я в этом уверен, товарищ полковой комиссар. Абсолютных фактов, правда, нет, но ведут себя немцы подозрительно. Например, они не бомбят нас.

— Как вы думаете, почему?

— Парадоксально, но факт — боятся разбомбить батарею. Надеются захватить установки целехоньками.

— Вот! — комиссар хлопнул ладонью по столу. — Именно — захватить! Я не допускаю подобного исхода, однако настаиваю на принятии дополнительных мер по охране установок. Вы же знаете, что немцы не посчитаются ни с чем, чтобы заполучить хотя бы одну машину.

Об этом Фролов знал. В свое время представитель высшего командования, инструктируя его по поводу сохранения в тайне каких бы то ни было данных о «раисах», познакомил Фролова с некоторыми сведениями, известными лишь узкому кругу лиц.

Оказывается, когда в Берлине стало известно о появлении в Красной Армии нового оружия, гитлеровское руководство потребовало от военного командования немедленных сведений о нем. За «раисами» началась настоящая охота. В специальных листовках, отпечатанных на русском и немецком языках, обещалась награда в пятьдесят тысяч марок любому, кто поможет в захвате «раис». Если таковым окажется немецкий военный служащий, то ему обещалось звание «героя германского народа» с вручением высших орденов и дарованием пожизненной демобилизации. Не осталась в стороне и немецкая военная разведка. Специальный отряд диверсантов, подготовленный в одной из тайных школ абвера, был на-

¹ «Р а и с ы» (от «эрэс» — реактивный снаряд) — так назывались гвардейские минометы в первые месяцы войны. Название «катюши» за ними закрепилось позже.

правлен на фронт все с той же задачей — захватить новое оружие русских.

«Возможно, — подумал Фролов, — что эти субчики и сейчас крутятся где-то около. Только и мы не лыком шиты...»

— Охрана, товарищ полковой комиссар, достаточная, — сказал он. — Единственное, о чем я прошу командование дивизии, — выделить нам, сколько можно, гранат. За остальное можете не беспокоиться, «раисы» немцам не отдадим.

— Хорошо. Верю, — сказал комиссар. — А насчет гранат...

— Будут гранаты, — отозвался командир дивизии. — Много не дадим, у самих негусто, а несколько ящиков подкинем. Я прикажу начбою. Все?

— Все, товарищ полковник.

— Тогда идите. Я буду на КП. Связь со мной проверять каждые пятнадцать минут. В случае прорыва немцев на позиции батареи подрывайте установки, не дожидаясь приказа...

Припав к стереотрубе, Фролов медленно поворачивал ее слева направо, стараясь разглядеть происходящее у передовых окопов.

Немцы начали атаку.

Пулеметная стрельба и выстрелы пушек, раздавшиеся сразу в нескольких местах, набирали силу и постепенно приближались, но ясной картины боя еще не было. Однако по гулу, который доносился все явственнее, по усилившейся дрожи земли, которая словно ожила и задышала громадными легкими, можно было определить, что на дальних подступах уже введены в действие и соприкоснулись силы, стремящиеся опрокинуть и смять друг друга.

Сколь долго будет длиться это противоборство? Верные себе, немцы введут или уже ввели в дело танки и постараются рассеять дивизию. Это их излюбленная тактика — рассекать. Прием старый, но верный, когда знаешь, что встречного танкового боя тебе не навяжут.

Фролов оторвался от стереотрубы, потер переносицу и надбровья. Боясь пропустить хотя бы одну подробность разворачивающихся событий, он так сильно при-

жимал окуляры к лицу, что резиновый валик оставил на коже глубокие вмятины. Растирая их, Фролов быстрым взглядом окинул позицию. Люди были на местах. Из окопов и ячеек по всему периметру позиции виднелись зеленые каски батарейцев. Неподалеку, положив руки на приклад ручного пулемета, расположился сержант Морозов. Он тоже надел каску и внимательно смотрел поверх бруствера, лишь изредка оборачиваясь в сторону Фролова, как будто проверяя, все ли у того в порядке.

Гул впереди нарастал, вбирая в себя все посторонние звуки и превращаясь в низкий всепокрывающий рев, но в какое-то мгновение, в секундную паузу, когда звуковые колебания наложились и взаимно уничтожили друг друга, обостренного слуха Фролова достиг хорошо знакомый железный лязг. Его невозможно было с чем-либо перепутать. Так не лязгал никакой другой механизм, созданный человеком, кроме танка.

Значит, все-таки танки!

Фролов вновь приник к стереотрубе. За те минуты, что он оглядывал позицию, перспектива разительно переменилась. Эпицентр боя приблизился и виделся теперь хорошо. Немцы атаковали крупными силами. Пехота шла цепь за цепью, а перед ней, маневрируя среди разрывов, враскачку двигались танки.

Фролов насчитал восемнадцать машин. Это были средние танки Т-IV, и они уже подходили к обширному редколесью, от которого начиналась полоса обороны дивизии. Там, в передовых окопах, вжавшись в землю, за ними следили стрелки и пулеметчики, пэтээровцы с ружьями и истребители танков, вооруженные гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Они, конечно, не могли остановить накатывающуюся на них лавину, но слева от них на пологих высотах, невидимые под маскировочными сетями, стояли сорокапятимиллиметровые пушки противотанкового дивизиона. Невнушительные на вид, даже миниатюрные, они, однако, были незаменимы в скоротечном ближнем бою. На них и полагался сейчас Фролов, соразмеряя наметанным глазом артиллериста расстояние до танков.

Передние окопы пока молчали. Стреляли лишь орудия из глубины обороны да сами немцы, последние в основном наугад, поскольку не знали расположения дивизионных огневых точек. Но скоро неведение должно

было кончиться. Танки уже подходили к границе предельно допустимой дистанции, когда нужно открывать огонь. Как только это произойдет, передний край откроет себя, и тогда немцы поведут прицельную стрельбу.

Решительная минута наступала. Стреляя с ходу, танки приближались.

Наметив для себя условную черту, дальше которой их пропускать было нельзя, Фролов ждал. Шлейфы пыли, поднятые таким количеством машин, почти скрывали от глаз следующую за танками пехоту, но временами, когда пыль вдруг рассеивалась, пехота была видна — серо-зеленая нестройная масса, старавшаяся укрыться за громоздкими телами танков. Снаряды полковой артиллерии рвали и кромсали ее, но она, словно желе, снова стекалась в единое целое.

«Пьяные, — догадался Фролов. — Нахлестались шнапса, гады!» И горячая злость от вида оголтелой ревущей орды, от сознания своего бессилия охватила все его существо. Он так ненавидел их в эту минуту, что пропустил момент открытия огня. Лишь когда захлопали ружья бронебойщиков, захлебываясь, застучали пулеметы и звонко, будто лопались большие стаканы, ударили противотанковые пушки с высот, ненависть отпустила его.

Удар был неожиданным, а потому принес ощутимые результаты: три танка сразу остановились. Два задымили черным жирным дымом, а третий елозил по земле с разорванной гусеницей, продолжая стрелять из пушки и пулеметов, пока сжигающий огонь бронебойного снаряда не вошел вторично в его камуфлированный борт.

Но, радуясь успеху, Фролов понимал, что только теперь, когда карты открыты, и начнется решающая стадия борьбы. В короткий миг немцам следовало определить точку приложения своей силы, и они проделали это с быстротой и четкостью профессионалов, перенеся огонь на позиции сорокапятков. Оттуда им грозила основная опасность, танкисты это знали и старались предупредить ее. Столбы разрывов выросли вокруг позиций артиллеристов.

Однако синие трассы выстрелов по-прежнему с непостижимой быстротой срывались с высот и неслись к тан-

кам — артиллеристы били беглым огнем. Вот встали еще три танка, но и артиллеристы тоже несли потери: раза два Фролов отчетливо видел, как подлетели кверху пушечные колеса и какие-то деревянные части, по-видимому, остатки снарядных ящиков.

И все же преимущество в этой сшибке оставалось на стороне артиллеристов. Их в какой-то мере скрывал рельеф, тогда как танки были видны как на ладони и представляли отличную цель. От полного уничтожения их могли спасти лишь решительные действия, и Фролов, прикидывая все «за» и «против», сначала подумал, что немцы еще могут отступить. Однако он тут же отбросил эту мысль. Простой расчет убеждал: направление огня орудий на высотах не сулит немцам ничего хорошего. Они слишком продвинулись вперед, чтобы возвращаться. Решись танкисты на отход — им пришлось бы пройти расстояние вдвое большее, чем то, которое отделяло их от передовых окопов, а за это время артиллеристы просто-напросто расстреляли бы танки. Рывок же вперед значительно суживал сектор обстрела и повышал шансы на спасение. Случился тот самый редкий на войне случай, когда, по стечению обстоятельств, желающий отступить не мог сделать этого.

Фролов ждал, что же предпримут немцы в этой замысловатой ситуации. У них не оставалось времени на раздумье: ритм стрельбы истребительных пушек достиг того напряжения, за которым следовали предел, гибель, и это обязывало танкистов торопиться с выбором решения. По тому, как выросли пыльные шлейфы, волочащиеся за танками, Фролов догадался: немцы увеличили скорость и, значит, решились на прорыв. Он не мог сказать, что подвигнуло их к этому — трезвый ли расчет, подобный тому, какой только что произвел он сам, или это был авантюрный ход, сделанный в опьянении и горячке боя, но Фролов почти обрадовался, увидев, что танки двинулись к линии окопов.

Его радость объяснялась просто: несмотря ни на какие расчеты, он боялся, что танки уйдут. Могла случиться любая непредвиденная заминка, любой неожиданный оборот, воспользовавшись которым немцы сумели бы выйти сухими из воды.

Теперь же, когда они «сожгли мосты» и в наступательном раже торопились туда, где, как им казалось, опасность была наименьшей, они были обречены. Тут у

Фролова не возникало никаких сомнений, ибо на этот счет у него имелась своя теория.

Он допускал, что там, за внешней линией окопов, под огнем или нет, немцы еще могли как-то управлять и распоряжаться своей судьбой; здесь же, внутри огромного кольца, носящего название «оборона», они, даже защищенные броней, оказывались беспомощными перед лицом иных законов, которых не знали и не представляли, а потому были не в силах сопротивляться им. Прорвавшись, танки могли уничтожить какое-то количество техники и убить определенное число людей, но суть от этого не менялась — в конечном итоге их все равно ждала гибель.

От этих мыслей Фролова отвлек голос телефониста, который, протягивая трубку, повторял:

— Командир дивизии, товарищ капитан! Командир дивизии!

Фролов нагнулся над аппаратом.

— Как дела, Фролов? — расслышал он сквозь треск и шум. — Почему молчишь? Как дела, спрашиваю?

Фролов в нескольких словах доложил обстановку.

— Ясно! — отозвался комдив. — Должен тебя предупредить: смотри за левым флангом! У Шарпова немцы, похоже, прорвались! Понял? Постараемся не пустить их к тебе, но ты все-таки смотри за флангом, Фролов!..

Сообщение командира дивизии хотя и встревожило Фролова, но не явилось для него неожиданностью. Он ни на минуту не забывал о том, что дивизия окружена и привычных понятий о фронте и тыле не существует. Со всех сторон был один только фронт, и вот на левом фланге его прорвали. Положение усугублялось еще и тем, что левый фланг дивизионной обороны с НП Фролова не просматривался, он был весьма отдален от позиции батареи и скрыт местностью. Ближе к нему располагался заместитель Фролова старший лейтенант Кузьмичев, и, помедлив с минуту, Фролов связался с ним.

Кузьмичев доложил, что пока не видит противника, но, судя по шуму, положение у соседей слева тяжелое.

«Надо немедленно идти к Кузьмичеву. Основная каша сейчас там. А здесь немцы, кажется, увязли».

В стереотрубу это было хорошо видно. В передовых окопах шел тяжелый бой. Танки утюжили окопы. Но ма-

шин осталось всего пять, остальные горели, подожженные истребителями и бронебойщиками. Пехота, отсеченная от танков, залегла. Зеленые фигурки ползали и перебежали в кустах и высокой траве, но, едва немцы поднимались в атаку, по ним незамедлительно начинали бить артиллеристы.

Да, ситуация перед фронтом батареи стабилизировалась, и Фролов, не мешкая ни минуты, в сопровождении незаменимого Морозова побежал к НП Кузьмичева. По мере приближения к нему гул, доносившийся со стороны левого фланга, плотнел, нарастал, и, когда Фролов наконец добежал, он уже ничего не слышал от грохота, который закладывал уши, грозя разорвать барабанные перепонки.

Заняв место рядом с Кузьмичевым и прислушиваясь к перекатам и нарастанию огня, Фролов пытался представить, что же происходит у Шарапова, смяли немцы его оборону или еще нет.

Он не знал, что в эти минуты полк Шарапова, подкрепленный батальоном пограничников, приставших к дивизии при отступлении, перешел в контратаку; что сам Шарапов руководит боем с простреленной грудью; что, преграждая путь танкам, четверо пограничников бросились под них с гранатами; что бутылками с самовоспламеняющейся жидкостью КС повар полковой кухни поджег три машины.

Ничего этого Фролов не знал, как не знал и того, что два танка из двадцати, брошенных на полк Шарапова, прорвались и сейчас полным ходом шли на батарею, выбрав это направление по чистой случайности. Чудом уцелев, ведомые людьми, почти обезумевшими от пережитого, они, как бешеные волки, вслепую рвались вперед и этим бешенством были страшны.

Из грохота, сотрясавшего воздух, танки возникли внезапно, и оттого, что за этим грохотом не было слышно работы их моторов, они казались нематериальными, созданными игрой переутомленного воображения.

Две-три секунды Фролов отрешенно смотрел на них, но уже в следующие сознание обрело работоспособность и четко определило мысль — уничтожить! Уничтожить немедленно! Внутренним чутьем и по виду этих прущих без разбору танков он угадал, что они оказались здесь в силу какого-то нелепого случая, что им неизве-

стно местоположение батареи, и, пока они не опомнились, их надо уничтожить.

Танки были не далее как в двухстах метрах. Чтобы преодолеть их, им понадобилось бы три-четыре минуты, и Фролов понимал, что этот краткий отрезок времени отныне стал мерой жизни и смерти многих из тех людей, которые располагались рядом с ним в окопах и ждали его команды.

Он бросил взгляд направо и вперед. Там, в выдвинутом из общей линии окопе, находился расчет противотанкового ружья, одного из трех, приданных батарее, и сейчас ему выпала основная роль. До сегодняшнего дня Фролову не приходилось видеть расчет в деле, и он опасался, что бронебойщиков подведут нервы. Они могли открыть огонь раньше времени, а это было равносильно гибели. Здесь следовало бить наверняка, в упор.

Но он беспокоился зря. Первый номер расчета, крепкий, плотный красноармеец (такому только и управляться с пудовым ружьем), словно ободряя товарищей, неожиданно подмигнул. Затем, прильнув к ружью, застыл неподвижно, каменно уперев локти и напружинив сильную, плотно обтянутую гимнастеркой спину.

И опять, как и час назад, Фролов наметил границу, переход которой должен был принести танкам безусловную гибель. Картина вроде бы повторялась, однако с той разницей, что теперь время сжалось, уплотнилось до предела и счет шел на секунды. Каждая из них приближала танки, и когда передний готов был проскочить установленный Фроловым рубеж, из окопа бронебойщиков выплеснулся едва заметный при свете дня огонь, и тотчас на броне танка вспыхнул короткий синий проблеск.

Танк дернулся, но продолжал идти. И это движение не было инерцией пораженной насмерть, но обладающей живучестью бронтозавра машины: пуля ударила ее вскользь. Это была контузия, к тому же легкая, от которой быстро приходят в себя. И как бы в подтверждение, из дула танковой пушки тоже блеснул огонь, и слева от окопа бронебойщиков, с недолетом, поднялся столб разрыва. Едко запахло сгоревшим толом, осколки срезали макушки кустов.

Фролов с тревогой взглянул на окоп.

Расчет был цел, и первый номер все в той же каменно-сжатой позе вел дулом ружья, подводя мушку под вы-

бранное им место на броне танка. Несколько долгих секунд продолжалось это плавно-замедленное, завораживающее движение длинного и тонкого ствола, но, когда выстрел грохнул, Фролов скорее почувствовал, чем увидел, что с этим танком покончено. Но оставался другой. Держась все время на втором плане, совершенно невредимый, он какими-то невероятными зигзагами надвигался на окопы. Трижды хлопало ружье меднолицего пэтээровца. По танку, метясь в смотровые щели, били стрелки и автоматчики, но он, точно замороженный, уже подбирался к неглубокому овражку в пятидесяти метрах от НП Кузьмичева, стреляя одновременно из пушки и пулеметов. Фролов с мгновенной, острой болью увидел, как взрывом разметало стрелковую ячейку, как, раскинув руки, повалились и остались лежать только что жившие и чувствовавшие красноармейцы.

Кто-то дотронулся до плеча Фролова. Он обернулся и встретился глазами с яростным взглядом Морозова... Держа в руках две бутылки с зажигательной смесью, сержант одной из них указал на танк:

— Разрешите, товарищ капитан!

Фролов молча кивнул. Ни на какие колебания и раздумья времени не оставалось. Требовалось остановить танк. Остановить во что бы то ни стало.

Перехватив ловчее бутылки, Морозов рассчитанным движением перебросил тело через бруствер и скользнул в высокую траву.

Он полз навстречу танку по кривой, с намерением оказаться на его пути в самый последний момент, когда из мертвого пространства можно будет метнуть бутылки наверняка, и капитан следил за тем, как чуть заметно колышется раздвигаемая Морозовым трава, как умело применяется разведчик к местности. Фролов и думать не думал о том, что грянуло как гром среди ясного неба.

Танк вдруг повернул. Заметил ли водитель ползущего человека или изменил направление случайно, Фролов не знал. Он видел лишь, что теперь танк шел прямо на Морозова, и с замиранием сердца осознал, что, если не произойдет чуда, разведчик будет неминуемо раздавлен.

Этого Фролов допустить не мог. Решаясь на крайность, он уже приготовился бежать к окопу бронебойщиков, чтобы своими руками расстрелять осатаневшую машину, но события опередили его.

Из травы поднялся Морозов.

Мертвое пространство надежно защищало сержанта, и он стоял на пути танка во весь рост, как пахарь на поле. Взмах руки бывшего молотобойца, привычного к тяжести литого металла, был разящ и точен. В упор, словно снаряд, выпущенный орудием с прямой наводки, бутылка встретила набегавший танк.

Фролов не слышал звона стекла; липкое пламя метнулось по броне, растекаясь в стороны горячими языками.

Но танк не остановился. Уже ослепший, обожженный, изувеченный, он в последнем усилии достиг стоявшего перед ним человека, и в смрадном дыму никто не увидел новый замах Морозова, и так же неразличим был тонкий звук разбивающегося о металл стекла...

Все произошло настолько быстро, что трагизм случившегося не сразу дошел до сознания Фролова. Оно еще продолжало жить страстями и накалом этого так неожиданно начавшегося поединка, не успев переключиться и зафиксировать его конец. Лишь после того как над окопами повисла вдруг тишина, в которой непривычно громко разносились слова и бряцание отставляемого на время оружия, мозг, как осколок, прорезала страшная в своей обнаженности и неприятии мысль о смерти Морозова. От нее хотелось кричать, и, чтобы укротить этот безысходный, помимо воли рвущийся из груди крик, Фролов с такой силой рванул ворот гимнастерки, что «с мясом» оторвал верхние пуговицы. Будто горошины, выщелкнутые из перезрелого стручка, они ударились о стенку окопа и отскочили в нишу для запасных дисков и обойм. Бессмысленно посмотрев на них, Фролов перевел взгляд на подбитый Морозовым танк.

Обезображенный, с темно-бурыми пятнами ожогов, он горел с шуршанием и треском, словно был деревянный. Краска, накаляясь, распухала и образовывала на броне огромные волдыри, которые лопались и тут же сворачивались в трубку, обнажая серый, в раковинах и кавернах металл. Казалось, с танка, как с некоего гада, слезает старая кожа.

Фролов отвернулся, не в силах смотреть на зрелище, вызывающее у него желание вновь и вновь стрелять в этот мертвый, но по-прежнему ненавистный остов.

Шум боя затихал. Было ясно, что первый натиск отбит, и следовало воспользоваться передышкой, чтобы

подготовиться к новой атаке. Немцы слишком долго и тщательно готовились к сегодняшнему дню, чтобы так просто отступить. Нет, они будут лезть и атаковать до тех пор, пока либо не выдохнутся окончательно, либо не добьются своего.

Фролов вернулся на батарейный НП. И, как оказалось, вовремя: не успел он отдать первые приказания, как его вызвали к телефону.

Снова звонил командир дивизии.

— Фролов? Вот что, капитан, давай мигом ко мне. Что? Потом, потом все объясню! Мигом, говорю, давай!..

В голосе командира дивизии слышались какие-то новые, незнакомые интонации, какая-то несвойственная ему взволнованность, и Фролов неожиданно почувствовал, что состояние комдива передается и ему. Предчувствие чего-то необычного, что должно было произойти в самом ближайшем будущем, охватило его.

Сдерживая волнение, Фролов с силой сжал в кулаке трубку.

— Есть! — ответил он. — Буду у вас через несколько минут!

Командир дивизии ожидал Фролова с нетерпением. Как только он появился в окопе, полковник протянул ему бумажный бланк.

— Вот, читай! — сказал он торжествующе. — Шифрограмма из армии!

Фролов взял бланк, торопливо пробежал глазами неровно написанные радистом строчки: «Высылаем боекомплект эр-эс. Обеспечьте посадочную для тяжелых самолетов».

— Ну? — спросил командир дивизии, наблюдая за реакцией Фролова. — Что скажешь?

Фролов ошеломленно молчал. Он ждал чего угодно, только не этого. Присылать самолеты с минами для «раис» сейчас, под носом у немцев, когда дивизия окружена и поблизости нет ничего похожего на аэродром, — в это надо было вникнуть. Смелость и дерзость решения, которое приняли в штабе армии, одновременно поразили и обрадовали его. Он прекрасно сознавал и риск, на который шло командование, и тот успех, которого можно было бы достигнуть, если бое-

запас удастся доставить. В последнем случае у дивизии появлялись реальные шансы прорвать кольцо и соединиться со своими.

Фролов еще раз перечитал текст шифровки, вернул бланк комдиву.

— Слушать приказ, — уже другим, официальным, не терпящим возражения тоном сказал полковник. — Вам, капитан Фролов (комдив всегда переходил на «вы», когда дело касалось принятия важных решений), возвращаться на батарею и находиться там безотлучно. Усильте наблюдение и охрану. За связь связисты отвечают мне головой. Немцы с минуты на минуту полезут опять, и я должен знать, что делается у вас на позиции. Вам, майор, — полковник повернулся к находившемуся здесь же командиру саперного батальона, — немедленно приступить к оборудованию посадочной площадки. Место согласуете с начальником штаба. К работе привлечь не только свой батальон, но и всех свободных людей — повозочных, коноводов, личный состав кухонь. Артиллеристы дадут тягачи. Через час, максимум полтора посадочная должна быть готова. Об исполнении доложить лично мне. Выполняйте! И последнее: для связи с самолетами выделить надежных бойцов-ракетчиков. Направление посадки указать тремя последовательно выпущенными зелеными ракетами.

Когда распоряжения были отданы, командир дивизии, снова обращаясь к Фролову, сказал:

— Как только самолеты разгрузят, снаряды будут доставлены на батарею. Остальное зависит от вас. Я имею в виду готовность установок к залпу. Ее надо сократить до минимума. Батарею после залпа снимать с позиций и уходить...

Фролов возвращался к себе, когда немцы начали новую атаку. На этот раз, учтя утренние ошибки и зная, что их ждет упорное сопротивление, они атаковали еще большими силами и скоро прорвались сразу в нескольких местах. Передовые окопы пали, но продвинуться дальше немцам не удалось. Батальоны и роты второго эшелона, пропуская танки, встречали немецкую пехоту рукопашной, а танки вновь и вновь напарывались на огонь истребительных батарей.

Но силы дивизии истощались. В частях оставалась едва половина состава; не лучше обстояло дело и с артиллерией. Кончались снаряды, и был момент, когда положение спасли зенитчики. Выдвинув свои двенадцать пушек на открытую позицию, они остановили танки.

А в центре обороны, невзирая на обстрел и ежеминутную возможность танкового прорыва, работали саперы. Они валили лес, тягачами корчевали пни, засыпали и трамбовали воронки. Обширная поляна, выбранная под аэродром, постепенно приобретала нужный вид. И через час с небольшим командир саперов доложил, что посадочная готова.

В штаб армии ушла срочная радиограмма.

Самолеты прилетели четверть часа спустя. Две четырехмоторные машины с тяжелым гулом проплыли над верхушками деревьев и без прикидки пошли на посадку. Немцы, уверенные в том, что дивизия доживает последние минуты, были явно ошеломлены неожиданным поворотом дел, а когда опомнились, самолеты уже приземлились. К грохоту стрельбы добавился низкий рокот невыключенных авиационных двигателей.

Фролов не видел, что происходит на поляне, но знал, что в эти минуты стоявшие наготове грузовики загружаются «эрэсами». Однако ум его работал уже в ином направлении. Он вдруг подумал о том, что данные для стрельбы, которые были рассчитаны заблаговременно, в настоящий момент устарели. Обстановка в последний час изменилась настолько, что теперь батарея не могла стрелять обычным способом. Бой шел на ближних подступах, и залп, произведенный под углом, не дал бы результатов. Слишком сократилось расстояние до цели, и, чтобы поразить ее, требовалось опустить направляющие установок ниже горизонтального положения, то есть стрелять прямой наводкой.

Фролов напряженно раздумывал. Стрелять прямой наводкой батарее еще не приходилось, хотя «технология» такой стрельбы Фролов знал. Для этого нужно было либо поставить установки на площадке с естественным уклоном, либо вырыть углубления под перед-

ними колесами машин и тем самым добиться необходимого положения для направляющих.

Площадок с естественным уклоном вблизи позиции не имелось. Оставалось одно — рыть. Рыть немедленно, не теряя ни минуты, потому что гул танковых моторов приближался неотвратно.

Связавшись с Кузьмичевым, Фролов приказал ему возглавить работы по рытью аппарелей, а затем сообщил командиру дивизии о принятом решении.

— Действуй, — ответил полковник. — Полчаса мы еще выстоим.

Дождаясь доклада Кузьмичева о готовности к стрельбе, Фролов с возрастающим нетерпением поглядывал в ту сторону, откуда должны были показаться грузовики со снарядами. Пока их не было. Видимо, что-то тормозило разгрузку, и эта задержка тяжело действовала на нервы, которые и без того были натянуты до предела.

Отгоняя тревожные мысли, Фролов в сотый раз за день прильнул к стереотрубе.

Танки медленно, но верно приближались. Прорубив брешь, они клином углублялись в нее, преодолевая все еще не утихающий заградительный огонь, маневрируя и даже останавливаясь в ожидании отставшей пехоты. Как ни медленны были эти эволюции, однако клин неуклонно продвигался вперед.

Фролов четко представлял себе то, что произойдет через несколько минут. «Танки, — рассуждал он, — окажутся в ложине, до которой немногим больше километра. Дадим им пройти еще метров двести-триста, и тогда — залп всей батареей».

С огневой позвонил Кузьмичев. Он доложил, что снаряды доставлены, а аппарели отрыты.

— Не отходи от телефона, — сказал Фролов.

Он передал Кузьмичеву новые данные для стрельбы и уже не отрывался от окуляров, дожидаясь, когда танковый клин весь выйдет на ложину.

Прошла минута, другая. Головной танк подошел к середине ложины. Выжидать дальше не имело смысла: залп, направленный в упор, должен был в любом случае уничтожить всю колонну.

Пора!

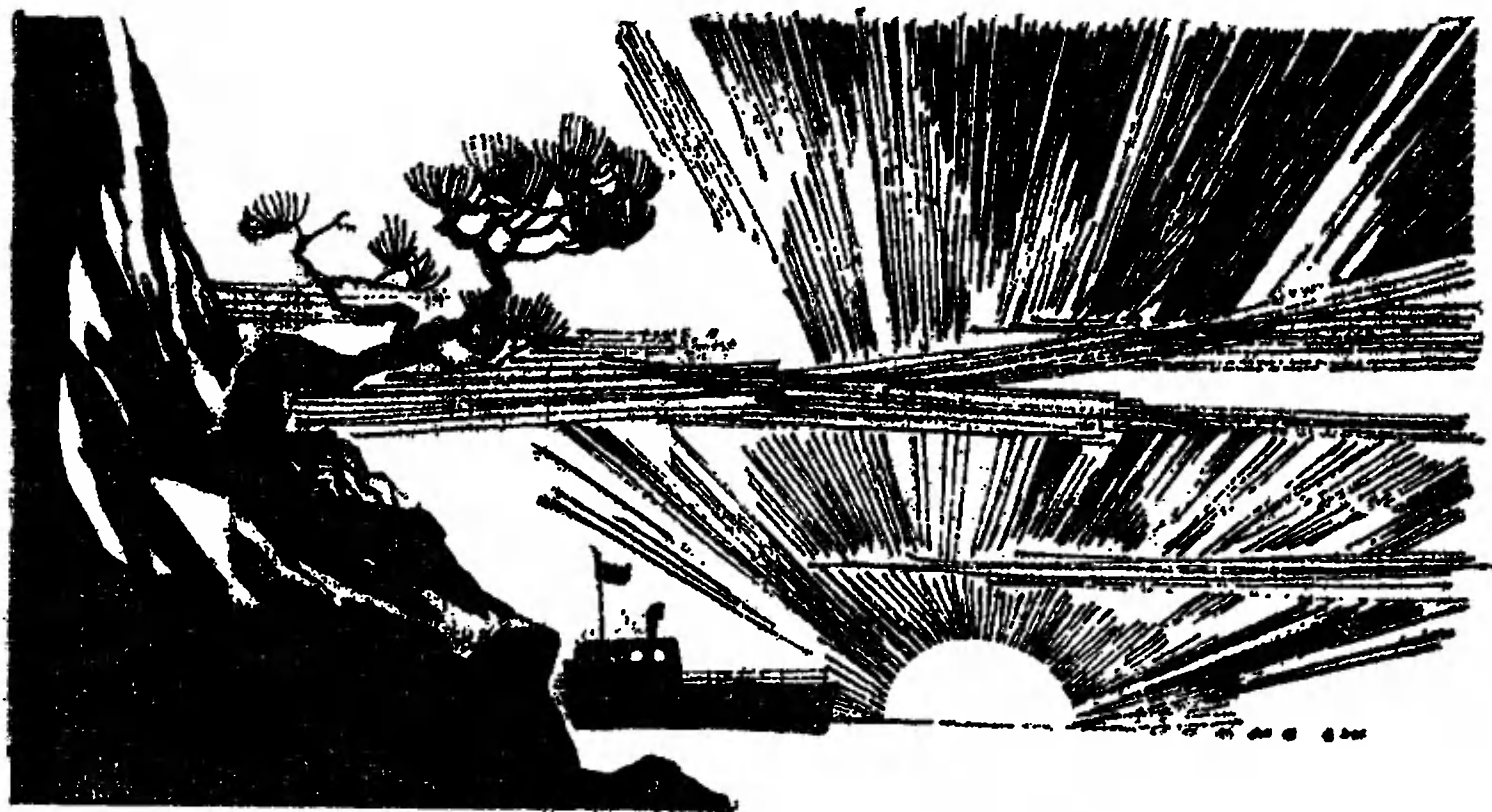
Чувствуя, как от волнения перехватывает горло, Фролов высоким голосом отдал команду:

— Расчеты — в укрытие, командиры установок — в кабины, водители — моторы! Батарея, залпом огонь!

Протяжный грохот и скрежет покрыл собой все. Клубы черно-бурого дыма поднялись над позицией и заслонили свет. Добела раскаленный поток огня, словно излившаяся из кратера магма, затопил лощину. Жар этого огня ощущался на расстоянии, и Фролов знал, что там, в лощине, сейчас плавится и обугливается все: металл, деревья, камни, земля.

Но думать об этом было некогда. Приказав поставить дымовую завесу, Фролов побежал к огневой. Вскочив в первую машину, он повел батарею в образовавшийся коридор.

Через час «раисы» были уже далеко. Машины шли на предельной скорости, и сидевшие в кузовах батарейцы время от времени оборачивались и смотрели назад, где с новой силой разгоралась стихнувшая было стрельба: следуя за батареей, дивизия втягивалась в прорыв, и оставленные заслоны сдерживали наседавших немцев, пытавшихся соединить разорванное кольцо...



НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Звонок в начале шестого утра мог означать только одно — срочный вызов.

Звонил оперативный дежурный. Он передал капитан-лейтенанту Рябову приказание комдива немедленно прибыть в штаб.

На улице было ветрено, темно и скользко. Рябов поднял воротник, глубже надвинул шапку и по привычке сунул руку в карман реглана, но фонарика там не оказалось. Видно, он еще с вечера переложил его куда-нибудь в другое место, а может, этим распорядилась жена, когда сушила реглан. Так или иначе, но возвращаться и отыскивать фонарик уже было некогда. С грехом пополам одолев полтора метра, отделявших дом от штаба, Рябов козырнул часовому и толкнул тяжелую, обитую войлоком дверь.

Капитан второго ранга Ваганов был у себя. Комнату еще не успели натопить, и Ваганов сидел за столом в шинели и шапке. Рябов доложил о прибытии.

— Здравствуй, Николай Федорович, — сказал Ваганов. Отложив в сторону бумагу, которую держал в руке, он встал и вышел из-за стола. — Получена радиограмма, у мыса Барьерного замечено неизвестное судно. — Комдив подошел к большой, вполстены, карте района и раздвинул шторы. — Кстати, на днях мне, видимо, о нем же говорили рыбаки. У них там невода стоят.

Рябов подошел к карте. Рядом с низкорослым комдивом он казался еще выше и массивнее, чем был на самом деле, а огромные яловые сапоги и реглан еще сильнее подчеркивали это.

Слушая комдива, Рябов без особого удовольствия вспомнил место, о котором тот говорил: обрывистый, гудящий от наката берег, мрачные кекуры с воротниками желтой пены, узкую длинную отмель-банку вдоль самой границы.

— Судно замечено в пять ноль-ноль, — продолжал комдив. — Сейчас пять тридцать. Через десять минут, Николай Федорович, жду твоего доклада о готовности к выходу. На корабль я уже сообщил, так что задерживаться, полагаю, не станешь. Посты предупреждены, можешь идти напрямую. Прогноз — шесть-семь баллов. Норд-ост с переходом во второй половине на ост. Вопросы есть?

— Судно военное?

— Судя по первым сообщениям — нет. Уточнишь на месте, и если что... Словом, действуй по обстановке.

У трапа Рябова встретил вахтенный. Рябов прошел на корабль и поднялся в рубку. Там уже дожидались штурман и рулевой.

— Готовьте прокладку, лейтенант, — велел Рябов штурману. — Идем к Барьерному. — И скомандовал: — По местам стоять, со швартовов сниматься!

Дробный топот ног по палубе известил Рябова, что его команда подхвачена, что люди встали по местам и ждут дальнейших приказаний.

— Отдать носовые!

Луч прожектора резко метнулся вниз, выхватив из темноты фигуры матросов баковой команды. Как мельничный жернов, загрохотал брашпиль, наматывая на барабан сброшенные с палов швартовы.

— Отдать кормовые! Вперед малый!

За кормой забурила вода. «Охотник» вздрогнул, плавно отвалил от пирса и медленно двинулся к выходу из ковша.

Облокотившись на станину машинного телеграфа, Рябов всматривался в темные стекла рубочных окон, прикидывая, как скоро развиднеется и успеют ли они до света выйти на траверз Барьерного, чтобы подойти к нарушителям незамеченными.

Слева, как вспышка спички, промелькнул огонь вы-

ходного створа, тяжело ухнула в борт первая волна открытого моря.

— Десять градусов влево по компасу, — приказал Рябов и перевел ручку телеграфа на «полный ход».

Недра корабля тотчас отозвались на изменение режима: даже в темноте можно было видеть, как вскипел за кормой бурун: переборки завибрировали — ветер с силой надавил на палубные надстройки.

— Так держать! — сказал Рябов и вышел на крыло мостика.

Он любил эти минуты мощного разгона, когда корабль, как живое существо, несет тебя, когда реально ощущаешь скорость, бег времени и свою причастность к этим абстрагированным математическим понятиям. Впрочем, другое волновало и тревожило сейчас Рябова. Он знал, что через сорок минут они повернут и пойдут по ветру. Корабль легкий, волны начнут перегонять его, подбрасывать корму и оголять винт. А это значит, что пол-узла они наверняка будут недобирать, и, если ветер усилится, им, чего доброго, придется сбавлять ход.

Мостик продувало, как аэродинамическую трубу, холод лез под реглан. Рябов вернулся в рубку и снова занял свое место у телеграфа. После мостика в рубке казалось необыкновенно тихо. А в ушах шумело, слезились набитые ветром глаза. Рябов на минуту закрыл их, и незаметно им овладело то странное, знакомое всякому часто недосыпающему человеку состояние, когда сон и явь причудливо перемежаются между собой, когда слышишь и чувствуешь все вокруг и, однако, спишь. И лишь одно сразу выводит человека из этого состояния — изменение привычного, заданного ритма, толчок извне.

Для Рябова таким толчком явилось почти незаметное усиление шума работающих на полную мощность машин. Он открыл глаза, увидел открытую дверь, а в ней штурмана.

— Товарищ командир, вышли в точку поворота. Рябов кивнул.

— Право двадцать, — приказал он.

— Есть право двадцать! — без паузы откликнулся рулевой.

Волны перестали бить в борт, настал момент равновесия, когда корабль, казалось, стоит на месте; за-

тем волны с шипением ударили в корму, притопили ее, потом подняли и вместе с собой рывком передвинули корабль. На миг он словно бы завис, бешено молотя работающим вхолостую винтом.

Рябов натянул на голову капюшон и снова пошел на мостик.

К Барьерному вышли в девятом часу утра. Рябов приказал включить эхолот и повел корабль вдоль внутренней кромки отмели. Справа за ней в каких-нибудь трех милях лежала невидимая для глаза граница, а еще дальше в сумерках зимнего утра перекачивались глянцевые нейтральные воды.

— Сигнальщики! — крикнул с мостика Рябов. — Смотреть в оба!

Однако проходило время, мерно щелкал эхолот, а никаких признаков судна-нарушителя не было. И только когда дошли до середины банки, до того места, где стояли колхозные невода, раздался наконец крик одного из сигнальщиков:

— Судно справа сорок пять!

Рябов поднес к глазам бинокль. В перекрестье заплесал размытый расстоянием небольшой моторный бот. На таких обычно ловят рыбу у берегов, но, бывает, пускаются и в более далекие вояжи. Попыхивая трубой, бот резво бежал встречным курсом по нейтральной воде. Рябов опустил бинокль, и бот сразу исчез, растворился в толчее океанских вод. Лишь изредка крупная волна поднимала его над выпуклостью океана и, подержав, снова прятала, будто накрывала шапкой-невидимкой.

Рябов кисло усмехнулся: по закону придраться было не к чему. Однако чутье пограничника подсказывало ему, что бот, ныряющий сейчас в волнах за спасительной чертой границы, и судно, замеченное два часа назад в советских территориальных водах, — скорее всего одно и то же действующее лицо. Слишком невелика была возможность встречи в этом же районе с другим судном: такие совпадения в месте и во времени следует считать редким исключением.

Рябов снова поймал в бинокль прыгающее, как поплавок, суденышко. Изменив курс, бот уходит в океан. Это лишь подтвердило подозрения Рябова: чего

ради отворачивать так поспешно? Можно бы и поздороваться. Рябов сунул бинокль в чехол и задумался.

Формально инцидент можно было считать исчерпанным: нарушения нет, а если и встретили кого, так на нейтральной воде. Там ходить никому не возбраняется. Но Рябов не спешил ставить точку.

Еще у командира он рассудил, что шпионам нечего делать на голом каменном острове, где к тому же находится погранзастава. Невод — вот что привлекло нарушителей. Такие случаи не в диковинку. Не только рыбу — невода воруют. А здешний невод сам в руки просится, стоит — удобнее не придумаешь, у самой границы. Чуть что, заварушка какая — со всех ног в нейтральные воды. Как сейчас, например. Но уйти — не значит не вернуться. Браконьеры везде одинаковы, будут кружить, что волки, дожидаясь своего часа. Тут и нужно помочь им — исчезнуть, затаиться до поры до времени...

Рассвело совсем, и отсюда, из бухточки, где укрылся корабль, Барьерный был виден как на ладони — угрюмый, весь в трещинах и развалах шестидесятиметровый утес. Снег не держался на каменной вершине утеса, и на ней отчетливо выделялся оставшийся с войны расколотый надвое железобетонный дот. Когда-то страшный, а теперь безжизненный, дот, словно череп, смотрел перед собой пустыми черными бойницами.

Цепь заснеженных гор подпирала низкое небо; с них прямо в море сползали мокрые кучи облаков. Громадные и неповоротливые, как айсберги, они не обладали их весом и плотностью — ветер рвал, трепал и разносил во все стороны серо-белую податливую массу.

Дважды, как из-за угла, корабль «выглядывал» из-за Барьерного и оба раза возвращался в укрытие — море было пустынно. Однако Рябов не унывал: не сейчас, так ночью, но браконьеры вернутся — в этом он был совершенно уверен. Он попросил принести себе чаю и в ожидании его прохаживался по рубке, поглядывал через стекло на высунувшиеся тут и там из воды усатые нерпичьи морды. Зверей разбирало любо-

пытство. Они плясали на волнах, стараясь занять места поудобнее.

Попить чаю Рябову не пришлось. В дверь неожиданно просунулся радист.

— Радиограмма, товарищ командир! — Он протянул Рябову наскоро заполненный стандартный бланк.

— Час от часу не легче! — с сердцем сказал Рябов, пробежав глазами торопливые строчки, подписанные неизвестным ему человеком, судно которого терпело сейчас бедствие где-то к норд-осту от них.

Он сжал в кулак радиограмму, обдумывая сложившуюся ситуацию.

События развивались совсем не так, как бы хотелось того Рябову. Он уже не мог по-прежнему отстаиваться под защитой Барьерного — долг моряка требовал от него немедленных действий по оказанию помощи попавшим в беду людям. С другой стороны, уходя, они оставляли район на откуп браконьерам, которые могли вернуться в любую минуту и ограбить невод без риска быть пойманными. И тем не менее Рябов ни секунды не колебался в выборе решения, и оно было тем более справедливо, что в этой части океана, лежавшей в стороне от столбовых морских дорог, они были, вероятнее всего, ближе, чем кто-либо другой, к месту аварии, если не единственным кораблем вообще.

Рябов прикинул по карте расстояние. Да, он не ошибся: два часа форсированного режима понадобится машинам, чтобы перебросить корабль в ту точку океана, где борются сейчас с водой люди. И еще неизвестно, что там — будут ли они снимать только людей или возникнет необходимость тащить и само судно. В этом случае им придется туго: ветер заходит уже сейчас, и при чистом осте, который как раз подоспее, корабль будет валять как ваньку-встаньку.

— Передайте им, — Рябов повернулся к радисту и потряс радиограммой, — идем на помощь. — Потом на обратной стороне радиограммы набросал свою. — Эту — в базу!

Неудачник болтался на волнах, как скорлупа от семечки. Едва рассмотрев его в бинокль, Рябов присвистнул от удивления: перед ним был бот, как две

капли воды похожий на тот, который они видели утром.

— Дела, — протянул Рябов. — А, помощник?

— Дела, — подтвердил тот.

И хотя еще не была ясно видна связь между событиями последних часов, Рябов помрачнел. Ему очень не понравилось такое сходство; он готов был поклясться, что за всем этим кроется какой-то подвох.

Бот приближался, Рябов без прежнего энтузиазма, с подозрительной настороженностью вглядывался в обводы чужого судна, словно по ним хотел уяснить себе причину охватившей его тревоги.

— Подходить правым бортом! Боцману подняться на мостик! Вот что, старшина, — сказал Рябов, когда боцман белкой взлетел по трапу, — пойдите сейчас на бот и выясните, в чем там дело. Какая нужна помощь, могут ли идти своим ходом.

— Есть, товарищ командир!

Суда сблизилась. На бот полетели выброски. Там их ловко поймали, вытянули швартовы из воды и стали выбирать их по мере того, как приближался «охотник». Пятерка заросших людей в блестящих от воды штормовках и высоких сапогах стояла на тесной палубе, всматриваясь в пограничный корабль.

Взвизгнули сделанные из автомобильных покрышек кранцы. В узком пространстве между судами захлопала зажатая бортами вода — «охотник» плотно, как на присосках, пристал к скользкому пузатому телу бота. Боцман перешагнул через леера и одним махом очутился на его палубе. От пятерки отделился один, как видно, шкипер, разводя руками, принялся что-то объяснять боцману. Потом они вместе прошли на корму и, согнувшись, один за другим нырнули в узкую дверь тамбура. Минут через двадцать они вновь показались на палубе.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Рябов, когда боцман, грязный и мокрый, поднялся на мостик.

— Дырка, товарищ командир, — ответил тот. — Возле самого киля дырка. Воды в трюме по колено, помпа цедит по чайной ложке в час.

— Значит, сами не дойдут?

— Рискованно, товарищ командир. И так огрузли здорово. Только... только дырка, товарищ командир, не такая какая-то, — недоуменно сказал боцман. —

Никогда не видел таких дырок, чтоб досками наружу. А эта наружу, своими руками ощупал. Вроде как бы сами себя долбанули, товарищ командир...

Рябов сжал поручни.

— Ясно! — как гвоздь забил он.

Вот оно, подозрительное сходство! Обе лайбы из одной шайки-лейки — он чувствовал это. Работают в паю: одна ворует, другая на подхвате, отвлекает. «Утром мы их спугнули, но, как говорится, коготок увяз — всей птичке пропасть. В азарт вошли. Посоветовались — придумали: сами себе долбанули брюхо. Не здорово, конечно, долбанули, больше для видимости. Не рассчитывали, что проверять станем. Думали, подцепим с ходу. Молодец боцман. С помпой тоже, конечно, трюк, качает небось за здорово живешь. А расчет прост: пока мы этих «спасаем», те без помех доделают то, что не успели ночью. А, дьявол! Ладно, не горячиться. Подумаем лучше, что можно сделать. Значит, так: два часа в загашнике у них уже есть. Да еще два, пока мы назад доберемся. Итого четыре. Дальше. Трюмы у этих посудин хоть и малы на первый взгляд, на самом деле черта вместят. На «ура» такой не набьешь. На такой полдня вручную угробить надо. Ну, положим, битком набивать они его не будут, поостерегутся все-таки среди бела дня, однако постараются отхватить сколько возможно. Это факт, а стало быть, резонно накинуть еще энное количество человеко-часов на жадность. Словом, если по-умному обставить дело, поспеем в самый раз. Вся загвоздка в этих. Пока они еще не догадываются, что мы раскусили их номер, проще всего было бы взять их к себе на борт. Только не пойдут ведь, бестии. Побоятся остаться без рации. Ведь если учуют что, с бота в любой момент дружкам сообщить успеют. Однако попробовать можно, попытка не пытка».

— Старшина, — повернулся Рябов к боцману, — сходите еще раз на бот и предложите этой публике перейти к нам. Объясните, что это необходимо для их безопасности. Только не усердствуйте. Не захотят — не надо.

Отправив боцмана, Рябов заглянул в рубку. Помощник был там.

— Как думаешь, лейтенант, какой ход у этих каравелл? — спросил Рябов.

— Узлов шесть, товарищ командир.

— Правильно. Я тоже так думаю... Шесть узлов да шесть узлов, — неожиданно пропел Рябов, барабанивая пальцами по стеклу. — А у нас втрое больше. Так, лейтенант?

— Так точно, — ответил помощник, не догадываясь, куда клонит командир.

— Теперь смотри. — Рябов согнулся над картой. — Сейчас мы здесь. Невод — вот он. Те, на втором боте, если еще не пришли туда, то, во всяком случае, где-то на подходе. Как ты сам понимаешь, бросить этих сейчас и идти к Барьерному мы не можем. Остается что? Остается тащить. Скажем, в Убойную, благо до нее отсюда не так уж и далеко. Но вот тут, — Рябов ногтем поставил на карте крестик, — мы отдадим буксир и потопаем прямехонько к Барьерному. Эти, — он кивнул через плечо на бот, — не утонут, даю тебе гарантию. Жалко буксир, но ничего не сделаешь, обойдемся запасным. Как, лейтенант?

— Не успеем, товарищ командир. Как только бросим этих, они поймут, в чем дело, и предупредят своих у невода. А тем пройти три мили до нейтралки — раз плюнуть. Нам не поможет даже тройное преимущество в скорости. Как говорили у нас в училище, корни мнимые, и задача не имеет решения.

— А банка? Банка, лейтенант? Это ты учитываешь? Учитываешь, что через два часа начнется отлив и банка обсохнет как миленькая? А на малой воде даже с такой осадкой, как у них, через банку не перескочишь. Так что в обход, в обход им придется, лейтенант. И не на зюйд они пойдут — невод-то ближе к нашему краю стоит, — с норда попробуют обогнуть баночку. Вот и прикинь теперь, успеем ли.

В рубку вошел боцман.

— Отказываются перейти, товарищ командир, — доложил он. — Говорят, не могут бросить судно.

— Ну еще бы! — усмехнулся Рябов. — Ладно, не в этом сейчас соль. Давайте берите их на буксир, старшина. Помощник введет вас в курс дела...

Ветер зашел и дул теперь в левый борт «охотника». Волны захлестывали палубу, бурля, выливались через шпигаты. Буксирный трос все чаще натягивался, осаживая корабль, как вожжи норовистую лошадь.

Широко расставив ноги, Рябов балансировал на мостике, то поглядывая вперед, на сумятицу гневных волн, то оглядываясь назад, где в облаках водяной пыли, как посадная утка, переваливался с боку на бок бот. Палуба бота была пуста, но Рябов понимал, что за ними неотрывно наблюдают сейчас из всех щелей. И старался ничем не возбудить подозрения соглядатаев.

Пока все шло по-задуманному. Правда, Рябов не знал, о чем уже дважды передавал открытым текстом бот, но успокаивал себя тем, что пока они, кажется, никакой промашки не допустили.

Минуты шли, и с каждым оборотом винта приближался момент, когда нужно будет отдать буксир. Промедление здесь не прощалось. Это Рябов сознавал, как никто другой на корабле, и с нетерпением ждал этой минуты, мысленно представляя себе назревающие события.

Каждый раз, когда Рябову приходилось попадать в сложные ситуации, ему на помощь приходил опыт — его собственный или заимствованный, чужой. Этот опыт содержал в себе бесчисленное множество способов и приемов, рассчитанных чуть ли не на все случаи жизни и помогающих выбрать оптимальное решение. Но случалось и так, что привычные схемы не помогали. Тогда приходилось искать новый ключ. Сегодняшние обстоятельства требовали именно этого.

Рябов не впервые сталкивался с браконьерами. Он и раньше ловил их. И производил досмотр. И составлял акты. Но тогда все было просто — браконьеров брали с поличным. Сегодняшний случай не походил на предыдущие. Сегодня было много неясного. Чем, собственно, располагает он? Сходством судов? Но в океане плавают сотни похожих кораблей. Предположением, что авария организована с умыслом? Но ведь не обязательно садиться на камни, чтобы получить пробоину. Судно деревянное, сработанное, наверное, еще до потопа. Оборвалась сетка с грузом — вот тебе и дыра.

Но интуитивно Рябов чувствовал слабость подобных возражений. Он не верил в совпадения и, подвергая сейчас сомнениям свои же собственные выкладки, этим самым хотел лишь исключить из них элемент случайности.

— Возьмите маяки, лейтенант, — приказал он штурману.

Впрочем, можно было бы и не определяться: Рябов и так знал, что не пропустит нужный момент, и, отдавая приказание, он действовал скорее в силу привычки.

— Через шесть минут будем в заданной точке, — доложил вернувшийся штурман.

— Хорошо, — сказал Рябов, берясь за рукоятку машинного телеграфа: шесть минут погоду не делали. — Отдать буксир! — скомандовал он и толкнул рукоятку.

С разбегу «охотник» как бы осел и, сбитый затем волной, ударившей его в скулу, стал уваливать вправо. Обвисший буксир зацепился серединой за воду, срезая верхушки волн. Бот по инерции прокатился еще немного по следу «охотника» и тоже стал уваливать под волну. Дверь рубки на боте отворилась, из нее выглянули двое, третий высунулся из тамбура на корме.

Рябов посмотрел на часы. И хотя с начала маневра прошла всего минута, ему казалось, что операция непозволительно затягивается.

«Копается боцман», — раздраженно подумал он и перевел взгляд на бот. Там, по-видимому, еще ничего не поняли и продолжали спокойно наблюдать за происходящим.

— Живее на корме! — не вытерпел Рябов.

Наконец он увидел, как буксир змеей скользнул по палубе и исчез в воде. Рябов вернул рукоятку телеграфа в первоначальное положение.

— Лево тридцать! — крикнул он рулевому в переговорную трубу.

Обернувшись, он увидел выставивший за кормой бурун, стремительно отдалявшийся бот и фигуры мечущихся по его палубе людей.

Игра в поддавки кончилась. Карты были раскрыты, и теперь выигрывал тот, кто заранее точно рассчитал все ходы.

Бот перехватили, когда он уже огибал банку. Деша сообщников явно застала браконьеров врасплох, в спешке они даже шлюпку не успели поднять на палубу — она моталась из стороны в сторону на буксире

за кормой, нагруженная широкими низкими корзинами с рыбой.

Однако бот сделал отчаянную попытку улизнуть. Не сбавляя хода, он устремился прямо на корабль, видимо, рассчитывая ошеломить пограничников своей дерзостью и под носом у них проскочить к границе.

— Дудки! — весело сказал Рябов. — Допрыгались, субчики! Ракету! — приказал он.

Но на боте, как видно, собрался отпетый народ. Не обращая внимания на предупреждение, словно это была не ракета, а обыкновенная спичка, бот продолжал идти на сближение.

Рябов понял, что ракетами таких людей не остановишь.

«Что ж, — подумал он, — тем хуже для них». И, обернувшись к помощнику, негромко сказал:

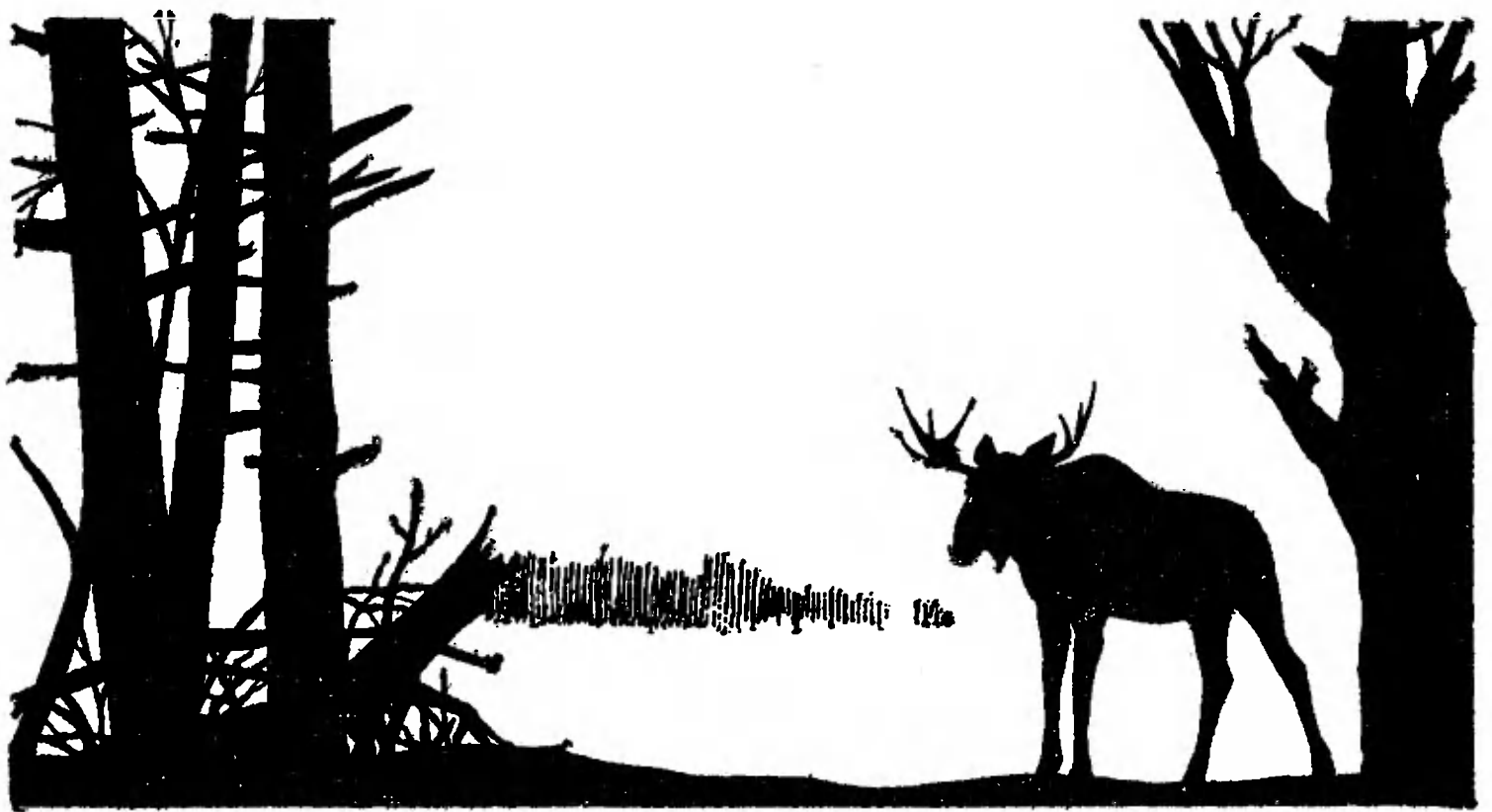
— Боевая тревога!

Только тогда на боте поняли, что зарвались. Судно резко сбавило ход, потом остановилось вовсе.

«Так-то лучше, — подумал Рябов, — задним умом все крепки».

Он не пошел на бот — и так все было ясно.

Через час досмотр кончился, обе стороны подписали акт. Сдав вахту помощнику, Рябов спустился в каюту и, не раздеваясь, лег. Но и сквозь сон он слышал за тонким металлом борта сочные всплески густой зимней воды и чувствовал рывки буксира, на котором, как загарпуненный кит, прыгал с волны на волну бот браконьеров.



ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Лязгнула запираемая щеколда, и он остался в темноте. Он не видел ее, но знал, что она есть, — слишком много жил он на свете, чтобы даже с незрячими глазами не сказать, день стоит на дворе или ночь.

Опустив тяжелую голову, он шумно вдыхал сочившиеся в щели осенние запахи, прислушивался к ночным звукам и к чему-то внутри себя. Это «что-то» волновало его, возвращало зыбкую старческую память к тем временам, когда он был молод и глаза его видели. Воспоминания были невыносимы, и он начинал дрожать мелкой дрожью и бить унавоженные доски тесного хлева.

Он не был злым от века, этот громадный лось с зубренными в бесчисленных битвах рогами, но осень всколыхнула его кровь и напомнила, как много лет провел он в темноте с той поры, когда выстрел браконьера ослепил его, оставив на месте глаз пустые кровоточащие глазницы. Конечно, он мог бы показать то место в тайге, где гниют перемешанные с лесным прахом кости незадачливого стрелка, но для него это было слабым утешением. Он разом был низвергнут в жизнь, какую сам, умей он мыслить, не пожелал бы своему заклятому врагу.

Он никогда не боялся людей. Да и как он мог их бояться, если одним ударом каленого копыта он переши-

бал хребет волку. Даже медведи и те обходили его стороной.

Встречи с людьми всегда волновали его. Людей нельзя было спутать с другими обитателями его угодий, а инстинкт подсказывал ему, что люди — порождения иного мира, таинственного и недоступного его пониманию. Но эта недоступность лишь разжигала его любопытство, когда, бывало, он часами, незамеченный, ходил за людьми по пятам, бесшумно раздвигая деревья своим могучим, кажущимся неуклюжим телом. Но тот же инстинкт предупреждал его об опасности, ибо он был все-таки зверем, а зверя и человека разделяли века ненависти и вражды. Поэтому он никогда не показывался людям открыто, а предпочитал разглядывать их из какого-нибудь укромного места. Но люди, как видно, и сами боялись его, потому что, когда, случалось, он сталкивался с ними носом к носу, они старались поспешно уйти или кричали на него, но в их голосе не было уверенности, а звучал только страх. Он смотрел людям вслед, а потом долго обнюхивал оставленные ими следы.

Запахи тоже были непривычны. В них не слышалось ни трусливой кровожадности волка, ни коварного лукавства рыси, а было скорее такое, что говорило о слабости и беспомощности перед тайгой тех, кому эти следы принадлежали.

Сам он не был таким слабым и беспомощным даже много лет назад, когда ранней весной появился на свет в глухом урочище Среднего Зауралья.

Мать облизала его, и он встал на тонкие длинные ножки и побежал следом за матерью, ничуть не пугаясь невиданного дотоле леса.

Стадо, в котором он родился, было невелико — кроме них, еще две семьи, и вожаком всех был угрюмый, устрашающего вида лось с поседевшими от времени холкой и бородой. А может, он был не так уж страшен, но дети есть дети — всегда все преувеличивают. Под стать вожаку был и отец, такой же бородатый и седой, и отличавшийся, кроме того, непоседливым, вздорным характером. С вожаком у отца не раз бывали стычки, и поэтому отец часто отделялся от стада и по нескольку дней бродил неведомо где, а когда возвращался, на его теле можно было видеть кровавые рубцы и ссадины. Это отцовское качество, наверное, унаследовал и он,

потому что, когда вырос, он так и не завел семьи, а навсегда остался бобылем-бродягой. Лишь однажды он попытался послушаться голоса крови.

К тому времени он был уже сильным, самостоятельным двухлетком. Их стадо распалось: отца задрал медведь, других затравили волки, а к матери он не питал больше родственных чувств и жил где придется, переходя из одного урочища в другое.

Кончалось лето. Холодели вода и небо, а лес переплетали тонкие серебристые паутинки. В вышине трагично трубили гуси и курлыкали журавли, направляясь в далекие чужие края.

В один из таких прохладных предосенних дней он проснулся от какого-то нового, неизведанного ощущения: что-то переполняло его и требовало немедленного выхода наружу. Он с шумом вдохнул и выдохнул воздух и неожиданно для себя ударил ногой молодое деревце. Оно дрогнуло от корней до вершины и медленно повалилось, словно подрубленное топором. Это разбудило в нем дремлющую ярость. Он задохнулся ею, зло потрянул головой и затрубил, как герольд перед турниром. Рев всколыхнул гулкую рань: стайка зимородков сорвалась с веток, на верхушке сосны перепуганно заверещала белка. Звук без задержки покатился по лесу. Где-то вдалеке его подхватили трепетные осины и понесли дальше, пока эхо не затерялось в тяжелом переплетении еловых лап. Он только собрался протрубить еще раз, когда совсем вблизи раздался ответный рев, низкий и рокочущий, и между деревьями показался силуэт громадного старого лося, очень похожего на того, который верховодил когда-то в их стаде. Может быть, так' оно и было, и в другое время он не посмел бы встретиться с таким страшилищем на узенькой дорожке, но сейчас ярость ослепила его, и он, не раздумывая, устремился навстречу званому гостю.

Ристалищем им послужила небольшая поляна, на середине которой они и сшиблись. Противник был вдвое сильнее и опытнее, и он ощутил это тотчас же после первого удара, от которого у него чуть не треснул лоб и подкосились ноги. Однако он устоял. Отскочив, он бросился на старика сбоку, но его вновь встретили рога искушенного в делах подобного рода бойца. Третий удар старик нанес сам. Его рога, как плуг целину, вспороли бок самонадеянного юнца. Следующий удар опро-

кинул его на спину, и это его спасло: соперник, видимо, не рассчитал силы удара и по инерции врезался в обступивший поляну сосняк. Пока он выдирал рога из хитросплетения зеленых силков, поверженный поднялся на ноги и пустился в бегство. Он не видел уже, как из чащи вышла стоявшая там все это время комолая лосиха и подошла к победителю. Лосиха положила свою голову на холку седобородого, тот положил свою на спину лосихи, и они стали ласкать друг друга, как на лугу лошади.

Раненый бок заживал долго. Сначала он кровоточил, потом покрылся струпьями и сильно чесался. А к зиме от раны остался лишь неровный и твердый, как сварочный шов, рубец.

Зима заставила подумать о перемене места: прежнее было слишком низким и сырым и для зимы не годилось. Он покинул неприветливые болотистые пастбища и перебрался поближе к горам. Здесь вдоволь хватало осиновых веток и рябины, которая сейчас, прихваченная морозцем, была особенно вкусна. Здесь же он повстречал чужое стадо из шести взрослых лосей и примкнул к нему, благо собратья не имели ничего против этого. Впрочем, он не досаждал им; он по-прежнему неплохо чувствовал себя в одиночестве и только к ночи приходил к стаду — вместе было сподручнее противостоять изголодавшимся волкам. Порядки у его новых знакомых мало чем отличались от тех, что когда-то бытовали в его стаде, и его это устраивало. Он меньше всего думал о вмешательстве в чужую жизнь и так же ревниво оберегал собственный покой. Всякие нарушения покоя ему были глубоко ненавистны и приводили его в ярость. Раза два он излил ее на нарушителей, внушив им должное уважение к своим принципам.

Эта зима едва не стала для него последней.

Однажды он, как всегда, уединился, чтобы полакомиться рябиной. Выбрав подходящее место, он принялся за дело: головой пригибал к земле тонкие пружинистые стволы и дочиста обгладывал горьковато-сладкие, хрустящие на зубах верхушки. Так переходил он от дерева к дереву, когда внезапно его насторожил подозрительный шорох наверху. Он перестал есть и поднял голову. Но его слабые, как у всех лосей, глаза не различали ничего, кроме заснеженных сосновых сучьев. Обоняние тоже ничего не подсказывало ему. Но он знал,

что рядом затаилась неведомая опасность — слух еще ни разу не подводил его. Сейчас слух говорил, что шорох не был случайным. Он выжидал, поводя во все стороны длинными ушами. Шорох не повторялся. Лишь с ветки на ветку перепархивали яркогрудые жирные снегири, прилетевшие полакомиться ягодами. Он успокоился и двинулся дальше. В следующее мгновение он увидел тень метнувшегося на него с высокой сосны упругого рыжего тела. Инстинктивно он пригнул голову. Тяжелый плотный ком скользнул по шее, раздирая до крови кожу, и плюхнулся в снег прямо у его ног. Раздалось яростное шипение, и ком, неуклюже переваливаясь в глубоком рыхлом снегу, запрыгал по направлению к деревьям. Это была рысь. Он хорошо знал этого хищника. Распластавшись на суку, рысь могла часами подкарауливать добычу. Чаще всего ее жертвой были молодые неопытные лоси, которым зверь перегрызал аорту. Обычно рысь не промахивается. Но сейчас она явно сплеховала. Одним прыжком лось настиг ее и обрушил на дикую кошку сокрушительный удар передней ноги. Наверное, он сразу перешиб кошке хребет, потому что она судорожно забилась в снегу и истошно, противно замыкала. Боль от царапин и запах хищника еще больше возбудили лося. С хриплым придыханием он стал топтать врага, и скоро от рыси осталось лишь месиво из костей и шерсти.

Урок не прошел даром. Больше он никогда не полагался на случай, а, едва услышав подозрительный шорох, уносился прочь.

Он матерел. Шерсть его стала густой и жесткой и приобрела неменяющийся рыжевато-бурый цвет. Лишь холка да отраставшая борода были темнее остального тела.

Несколько раз у него отпадали и вновь вырастали рога. Когда это случилось впервые, он был удивлен и немного напуган. Перед этим рога, особенно их основания, сильно зудели, и он то и дело останавливался и терся лбом о деревья. Потом зуд прекратился, но однажды во время бега он вдруг почувствовал, что правый рог у него шатается. Ощущение было столь непривычным, что он с ходу остановился. Толчка оказалось достаточно. Рог хрустнул и отвалился. Дня три он держал голову косо и все время тряс ею, пока не отвалился и второй рог. Правда, рога скоро отросли и стали еще

больше, но первое время он чувствовал себя без них очень неуверенно.

Он давно уже распрощался и со вторым стадом и опять перебрался на новое место. На этот раз он выбрал окрестности небольшого озера. Здесь ему нравилось. Озеро сплошь заросло водяным перцем, а по берегам хватало малины. То и другое он любил. А если добавить, что ко всему прочему он любил еще и водные процедуры, станет ясно, как был доволен он вновь избранным местом.

На озере и состоялась его первая встреча с человеком, существом, не виденным им раньше, доставившим ему впоследствии непереносимые муки.

Он пришел на озеро поплавать. Было ясное спокойное утро, время, когда его почти никто не тревожил и которое он особенно любил. Он с шумом вошел в тихую воду и долго плескался и плавал. Потом подошел к берегу и стал обрывать малину. И как тогда, с рысью, его оторвал от этого занятия шорох в кустах. Высоко вскидывая ноги, он бросился из воды на берег, чтобы укрыться в спасительном лесу. Но остановился: вместо рыси или медведя он увидел человека. Вид этого существа, показавшегося из-за кустов, меньше всего ассоциировался в его представлении с какой-либо опасностью. Любопытство взяло верх, и, вместо того чтобы уйти, он остался и стал с интересом наблюдать за человеком. Тот занимался каким-то своим делом. А когда обернулся и увидел его, подхватил что-то с земли и быстро пошел прочь, поминутно оглядываясь. Он постоял немного и двинулся следом за человеком. У кустов он обнюхал то место, где только что стоял человек, и пошел в ту же сторону. Следы вскоре привели его на большую поляну, где стоял дом, копны сена и тянулась длинная изгородь. Рядом с домом он увидел волка, который почему-то сидел на цепи. Увидев его, волк залился лаем, и тогда он понял, что это вовсе не волк, потому что те волки, которых он знал, никогда не лаяли.

На крыльце показался человек. Человек посмотрел на него и что-то крикнул. Из дома вышел еще один. Этот второй уgomонил все еще лаявшего волка, спустился по ступенькам и бесстрашно пошел к нему. Этого он не ожидал и, опасаясь подвоха, повернулся и скрылся в лесу. Как ему показалось, человек звал его, но в этот раз он не решился откликнуться на зов. Однако с этого

дня он стал частенько наведываться на поляну и каждый раз находил в траве какие-нибудь вкусные вещи. Особенно ему нравилось одно угощение. Оно было мягким, иногда теплым, пахло дымом и всегда было посолено. Люди не раз пробовали подступиться к нему, но осторожность не покидала его, и он уходил. В конце концов на него махнули рукой.

Так провел он все лето — до того рокового дня, когда его постигло страшнейшее из несчастий.

В тот день он по привычке бродил по лесу и, почуяв человека, по прямой пошел навстречу ему. В этом заболоченном углу тайги деревья росли часто. Но он шел почти бесшумно, легким скользящим шагом, осязая лес каждой клеткой своего огромного тела, и, как всегда, не стал выходить на открытое место, а остановился на краю заброшенной вырубki. Осторожно раздвинув головой ветки, он выглянул. Человек сидел на пне. И опять в его позе он не заметил ничего угрожающего. Он стал рассматривать человека и так увлекся, что вздрогнул, услышав над собой стрекотание неведомо откуда взявшейся сойки. Эта вздорная, сварливая птица всегда раздражала его. Он поднял голову и, выдавая себя, недовольно фыркнул. Лесная сплетница застрекотала еще усерднее. И почти в тот же миг раздался грохот, в морду ему плеснул огонь, и он почувствовал нестерпимую резь в глазах. Сразу озверев, он рванулся вперед и сшиб человека с ног. Боль, недоумение и страх перемешались в нем, и он с ожесточением принялся топтать сразу ставшее ненавистным хрупкое человеческое тело...

С тех пор он не знал покоя. Мир погрузился в темноту, и он метался в ней как затравленный. Он перестал видеть, и теперь все пугало его. Малейший шорох вызывал в нем панический страх, от которого он не мог спастись даже бегством. Стоило ему сделать шаг, он натыкался на дерево или оступался в яму. Лес сразу превратился в огромную западню, а сам он в парию. Над ним всеильны стали даже мухи. Забираясь в раны и разъедая их, они причиняли ему неимоверные страдания. Днем от мух нельзя было отделаться. Ночью он скрывался в чащобе, чтобы с рассветом начать свой нескончаемый путь по кругам лесного ада.

Однажды ему как будто повезло: он встретил стадо себе подобных. Он попробовал пристать к ним, но тотчас



понял, что жестоко обманулся — здоровым не нужны были беспомощные калеки. Несколько ударов рогами — и он опять остался один. Он всю жизнь стремился к одиночеству, но только теперь убедился, как оно страшно.

От невзгод он спал с тела и еле держался на ногах. Приближалась зима. Он уже не мог, как прежде, переменить место и остался зимовать на старом. Корма здесь было мало, и сколько раз, принимаясь за еду, он обнаруживал, что пробует глотать уже обглоданные ветки. И наконец настала ночь, которую он потом не мог вспомнить без содрогания.

Он ночевал тогда на болоте.

Уже выпал снег, и он лежал на нем, прислушиваясь сквозь полусон к окружавшей его неспящей тишине. Лес был полон шорохов, стенаний и воплей, но все они пока что не имели к нему никакого отношения. Внезапно все переменялось. Он ясно различил хищные, крадущиеся шаги, и горло его перехватила предчувственная смертная тоска. Если бы он мог видеть, он различил бы в темноте передвигающиеся с места на место горящие точки. Волки, эти трусливые, низкие твари, которые раньше никогда не осмеливались напасть на него открыто, сейчас обложили его плотным кольцом. Он встал, готовясь к последнему бою. Спасения не было. Он не мог одним точным ударом кинуть на землю противно пахнущую, клыкастую гадину. Для этого нужно было видеть, а его окружала тьма.

Волки медлили. Изощренный звериный инстинкт подсказывал им, что жертва обречена, но они осторожничали, ибо отлично знали силу того, на которого они устроили охоту. Не один из них носил на своем теле отметины лосиных рогов и копыт.

Наконец голод взял свое: сразу два волка прыгнули на слепого с разных сторон. Подсознательно, веками отработанным движением он подхватил одного на рога и, распоров ему брюхо, перекинул через себя. Второй успел полоснуть его клыками по шее, но удар ногой отбросил хищника в сторону. Стая без промедления набросилась на распластанные тела соратников, рыча и давясь отхваченными кусками. Это было похоже на них. Добить своих же и насытиться их кровью не считается позором у этих лесных каннибалов.

Пользуясь паузой, слепой напролом двинулся через

болото. Он знал, что передышка будет недолгой, и торопился как можно дальше уйти от страшного места.

Он выбрался на твердь и рискнул побежать размеренной тяжелой рысью, какой когда-то покрывал десятки километров в день. Это было безумием. Через несколько шагов он налетел на дерево, сук следующего распорол ему предплечье. Позади вновь послышался торопливый волчий скок. Разгоряченные погоней и вкусившие теплой крови, звери на этот раз не стали медлить. Они кинулись на него со всех сторон. Не останавливаясь, он сбрасывал их с себя, бодался и лягался, стараясь уберечь горло. Видимо, он еще кого-то покалечил или прикончил, потому что среди преследователей опять началась свалка.

Шатаясь от изнеможения, он побрел дальше, в стынувшей темноте беззвездной зимней ночи. Вскоре под ногами снова зачавкало, и, продравшись сквозь кусты, он ступил в воду. Это было озеро. То самое, в котором он так любил плавать по утрам. Мороз уже схватил воду, она загустела, но это не остановило его. Сломав тонкий ледок закраин, он погружался все глубже и глубже и остановился только тогда, когда вода стала заливать ноздри.

Первобытную картину являло собой озеро в эти минуты: осколок луны над зубьями леса, мечущиеся на берегу волчьи тени и ветвистая голова сохатого над дымящейся зимней водой.

Так простоял он до утра, и, лишь когда солнце осветило мрачную молчаливую тайгу и волки несолоно хлебавши убрались восвояси, он выбрался на берег. Покрытый кровью и наледью, он, казалось, издавал звон.

Пути назад не было. Там, за стеной ставшего чужим ему леса, его ждали голод, холод и волчьи клыки. Он понял это и из последних сил побрел в ту сторону, откуда на него пахло дымом. Он шел к тем, которые лишили его естества, но он помнил вкус отведанного из их рук хлеба и надеялся на милость. Это было все-таки лучше, чем смерть от смрадных волчьих клыков...

Теперь он жил в хлеве и ел сено, как та корова, которая сейчас по соседству с ним мирно пережевывала жвачку и которую он презирал, как презирает боевой конь старую водовозную клячу.

Он ошибся. Жизнь для него кончилась. Где-то на далеких лесных полянах в смертном бою сшибались его дикие и вольные сородичи. И даже те, кто умирал от тяжких ударов соперника, были счастливее его. Людская милость оказалась непосильным бременем. Он понял это слишком поздно...

Он опять шумно вдохнул дурманящий осенний воздух и почувствовал, как наливается молодой необузданной силой его старческий ревматический костяк. Он вскинул голову и затрубил, протяжно и яростно. Стены быстро заглушили басовитый стонущий рев, но ему все казалось, что звук несется по безбрежному лесу, угрожая, призывая, маня. Рядом шарахнулась и испуганно замычала корова, ошалело заклохотали на нашесте куры. Это сразу вывело его из себя. Он изо всех сил ударил по доскам стойла и крушил его до тех пор, пока в хлев не вбежал человек с фонарем в руках. Тогда он грудью отбросил человека к стене и, трубя, как не трубил никогда в жизни, ринулся в лес...



СЮМУСЮ, ДИКИЙ ПЕС

«Сюмусю» — слово не русское. Так называли когда-то японцы нынешний Шумшу, самый северный курильский остров; собаку же окрестили так каюры — народ кочующий, обветренный, в основном молодой, уважающий имена звучные и загадочные. Словом, как бы там ни было, Сюмусю был одичавшим псом-одиночкой, одним из тех изгоев, неуживчивый и крутой нрав которых не позволяет им жить обыкновенной собачьей жизнью. Познав вкус упряжной лямки и на своих боках почувствовав крепость каюрского остола, они уходят в сопки и живут там жизнью бродячей и полуголодной.

Впервые я увидел Сюмусю летом пятьдесят пятого в рыбацком поселке на берегу Второго Курильского пролива.

Пес появился там среди бела дня. Это было дерзостью, и, глядя на собак, со всех сторон устремившихся к нему, я подумал, что сейчас он будет наказан. К моему удивлению, ничего подобного не произошло. Словно наткнувшись на какое-то невидимое препятствие, собаки стали осаживать, царапая когтями землю. Лишь Варнак не спасовал перед пришельцем. Воинственно задрав обрубок хвоста, он вплотную приблизился к нему. Сказав несколько слов на местном рычащем диалекте, Варнак прижал единственное ухо и пружинящим шагом обошел чужака, норовя задеть его плечом.

В следующий момент я услышал крик, пронзительный, поросячий. Не верилось, что так может кричать Варнак, общепризнанный бретер и заводила, но тем не менее факт оставался фактом. Схватив Варнака за загривок, прищелец как тряпку трепал его. Потом выплюнул и вышел из круга безмолвно расступившихся собак. «Чистая работа! — восхитился я, провожая удалявшегося пса взглядом. — Интересно, чей он?»

Ответить на этот вопрос мне помог случай. Осенью этого же года я познакомился с Сюмусю поближе. Забегая вперед, скажу, что знакомство было не из приятных: большой палец на моей правой руке до сих пор не сгибается до конца.

Озеро, где я стрелял тогда уток, имеет почти правильную овальную форму; берега его пологи и открыты со всех сторон, и утки, жирующие там, чувствуют себя в полной безопасности. Приходилось прибегать к обычному в таких случаях приему — ложиться на живот, по-пластунски подбираться к уткам на выстрел. Помню, как, застрелив нескольких, я поднялся и, на ходу разминая затекшее тело, направился вылавливать добычу из воды. И не очень-то удивился, когда на берегу меня встретил рослый, лохматый и поджарый пес — мало ли собак бегало по острову. Изумило меня другое: у ног пса лежали застреленные мною утки!

— Ах ты ворюга, — сказал я псу, немного опомнившись. — Ну-ка проваливай!

Мои слова не вызвали у пса никаких эмоций. Он стоял как вкопанный и смотрел на меня спокойными и усталыми глазами человека, только что честно проделавшего трудную работу. Что-то знакомое почудилось мне в независимой позе собаки, и, присмотревшись, я узнал в ней того самого пса, который так бесцеремонно разделался тогда с Варнаком.

— А! — сказал я. — Здравствуй, разбойник! Думаешь поживиться за чужой счет? Не выйдет, — предупредил я пса, решив, однако, что одну утку ему все-таки пожертвую.

Я закинул ружье за спину и развязал вещмешок. Пес сразу забеспокоился и шагнул ко мне, ощерив большие желтые клыки. Такое нахальство меня возмутило.

— Пошел! — крикнул я и замахнулся.

Как на пружинах, пес отскочил, и я протянул руку

к утке. Свой промах я осознал поздно. Раз! — как затвор, клацнули челюсти.

Конечно, я мог тут же пристрелить его. Я имел на это полное право. Но я не стал делать этого. Я замотал руку платком и три километра до поселка бежал, думая о том, как бы не заразиться бешенством, и еще о том, как бы заполучить эту собаку.

В больнице сухожилие сшили, но с тех пор я не знал покоя. Как одержимый носился я по сопкам, лазил все буераки, заглядывал в каждую расщелину и даже, рискуя напороться на мину, в старые японские катакомбы.

Все было напрасно: мой обидчик исчез без следа.

Каюр Кулаков, которому я рассказал о встрече на озере, реагировал на это своеобразно.

— Тундра неэлектрифицированная, — сказал он мне. — Ты бы еще башку ему сунул! Это же Сюмусю! Он у Ильичева коренником ходил.

Вон, оказывается, в чем было дело! Ильичев!..

Я не знал его, но слышать о нем слышал. Он замерз за год до моего приезда на Курилы, попав в пургу.

Случай был поистине трагический: Ильичев замерз в майский день, не добравшись до места всего километр. Несколько суток отлеживался он под снегом, одну за другой убивая собак, чтобы в теплых внутренностях согревать коченевшие руки и ноги. Когда кончилась пурга и люди отыскивали Ильичева, он был уже мертв. Из девяти собак упряжки только одна осталась в живых, и ею, если не врал Кулаков, был Сюмусю. Почему он, коренник, ближе других собак находившийся к Ильичеву и, казалось бы, первым рискующий попасть под его нож? Пожалел ли каюр любимого пса или сам не дался тот в руки — так и не узнал никто. Но я по сей день уверен, что второе предположение ближе к истине.

Вот с этим-то псом и свела меня судьба.

Наступившая вскоре зима сильно затруднила мою задачу. Частые пурги не давали возможности выбраться подальше от дома, но тем не менее я каждый свободный час посвящал поискам. Более того: я разбил предполагаемый район обитания Сюмусю на условные квадраты и со скрупулезностью куперовских следопытов шаг за шагом прочесывал их. Неудачи меня не смущали, почему-то я был уверен, что рано или поздно вновь встречу с Сюмусю. В конце концов предчувствие не

обмануло меня, и я лишний раз убедился в том, что имею дело с собакой необыкновенной. Сюмусю поступил так, как если бы обладал разумом: он облюбовал для жилья старый дот японского смертника, находившийся буквально у всех под носом. Каждый день проходил я мимо вросшего в землю бронированного колпака камикадзе, не догадываясь о мудрой хитрости Сюмусю, который, свернувшись калачиком, лежал там, посмеиваясь по-собачьи над самомнением суетливых двуногих существ.

Накануне всю неделю мела пурга, и по утрам, поглядывая в полузасыпанное снегом окно, я с надеждой думал: «Завтра... Завтра кончится эта бестолковая белая карусель, и уж тогда-то я непременно отыщу неуловимого пса-оборотня».

Но как ни готовился я к этому дню, он грянул как гром на голову.

Пурга наконец кончилась, и я, быстренько наладив лыжи, отправился на очередную рекогносцировку.

Было очень тихо. Сверкали и переливались сгорбившиеся под тяжестью снега сопки. Море тяжело катило свинцовую мертвую зыбь. Далеко впереди разламывала пополам небо белая громада Парамушира.

Проходя мимо дота, я задержал шаг: мне показалось, что снег у входа зашевелился. Лиса? На всякий случай я сдернул с плеча ружье. Нет, это была не лиса, на моих глазах, как Феникс из пепла, из снега восставал Сюмусю! Свет ослепил пса, и он жмурясь стоял в двух шагах от меня.

— Сюмусю! — позвал я.

Я видел, как дрогнули его острые уши, но отвыкший от виляния хвост остался по-волчьи неподвижным, и настороженный, как взведенный курок, пес прошел мимо меня, готовый в любую минуту пустить в ход зубы или обратиться в бегство.

Теперь передо мною встала новая проблема: как поймать Сюмусю? Тенета не годились, Сюмусю был не дурак, чтобы без надобности лезть в них, капкан мог сильно поранить собаку. И тут меня осенило: я вспомнил Киша, того самого эскимоса из книжки, который, заворачивая в жир кусочки китового уса, убивал таким образом медведей. Убивать Сюмусю я не собирался, поэтому в нерпичий жир я положил самый обыкновенный люминал. Две-три таблетки, по моему разумению, дол-

жны были свалить с ног даже такого сильного зверя, каким был Сюмусю. Это была моя выдумка, и каждый раз, вспоминая о ней, я довольно потираю руки. Оставалось немного — разбросать приманку по острову и ждать результатов. Так я и сделал, а результаты сказаться не замедлили: чуть ли не каждый день я находил в сопках застывшие тушки сов, горностаев и прочей мелкой живности, польстившейся на даровое угощение, — для них доза снотворного оказалась роковой. И только Сюмусю, ради которого я заварил всю эту кашу, не поддавался дешевому соблазну и по-прежнему разгуливал на свободе. Но я не отчаивался. Интуиция охотника подсказывала мне: терпение вознаграждается. Так и получилось.

Однажды к вечеру я заметил далеко в небе пару орланов-белохвостов. Широкими плавными кругами они кружили над чем-то невидимым мне. Вскоре к ним присоединились еще два. Мне сразу подумалось, что они слетаются не зря. Когда твой ум постоянно занят какой-то одной мыслью, невольно начинаешь смотреть на вещи применительно к ней. В самом деле: в другое время я вряд ли бы обратил внимание на стаю пернатых хищников; сейчас же, сопоставив факты и зная необыкновенную способность этих птиц чують близкую пожизну, я почти не сомневался, что на этот раз наши интересы совпали. А раз так — следовало торопиться, иначе я рисковал остаться ни с чем.

Больше часу торил я лыжню в непролазном снегу и поспел вовремя: орланы еще не успели начать свое пиршество. Они все еще приглядывались к жертве, боясь попасть впросак.

Я разогнал их и подошел к Сюмусю.

Он лежал на правом боку в неглубокой ложинке, где настиг его непреодолимый, необоримый сон. А сон, наверное, был тяжелым, потому что Сюмусю сучил лапами, подергивал пупыристой верхней губой и повизгивал.

Только теперь я как следует разглядел его. Он был красив чисто мужской собачьей статью — широкогрудый, поджарый, мускулистый. Шерсть его, не такая гладкая и мягкая, как у собак, живущих под крышей, была темно-бурого цвета со светлыми подпалинами на груди и передних лапах. Такие же светлые кольцеобразные подпалины, как очки, украшали морду пса, придавая ему вид чрезвычайно свирепый. Да, он ходил в упряжке:

незарастающий, как от ярма, рубец от лямки виднелся у него на шее, а левый бок пересекал давно затвердевший шрам — след, конечно, не от собачьих клыков. Я опять вспомнил Ильичева.

Постояв над поверженным, беспомощным героем, я взвалил его на спаренные лыжи и пустился в обратный путь.

Четыре последующих дня моей жизни назвать нормальными было нельзя.

Утром я не без душевного трепета вступил в сарай, куда заточил своего пленника. Я ожидал всего, поэтому прихватил с собой заранее припасенную ради такого случая рогатину.

Я вновь просчитался. Сюмусю не обратил на меня ни малейшего внимания. Он лежал на всю длину цепи и смотрел на меня отрешенным взглядом немигающих желтых глаз.

Как сфинкс.

Как нубийский лев за решеткой зоопарка.

О, этот пес умел преподнести себя! Он знал, что за штука — цепь, знал, что находится в моей власти, а потому выбрал единственно правильную, не унижавшую его норму поведения — молчаливое презрение. Начни он вилять хвостом — я бы потерял к нему всякий интерес, кинься он на меня — я бы угостил его рогатиной. По достоинству оценив его тактику, я присел перед ним на корточки, не зная, с чего начать разговор.

— Вот, брат, такие дела, — сказал я наконец. — Небось есть хочешь?

Я взял тут же стоявшую банку с тушенкой, открыл ее и выложил содержимое перед носом пса.

— На! — сказал я великодушно.

Сюмусю не пошевелился. Я посидел для приличия еще несколько минут и вышел, подумав, что ведь и среди собак встречаются стеснительные.

Целый день я работал, а вечером опять заглянул к Сюмусю. Он лежал как лежал. Мясо тоже оставалось нетронутым.

Такой поворот меня озадачил.

— Сюмусю, — сказал я, — не валяй дурака! Ты же сдохнешь!

Не знаю, как пес, а я перепугался. Собственные слова не на шутку расстроили меня. Сорвавшись с языка случайно, они очень даже просто грозили материализовать-

ся. А что, как и впрямь сдохнет? Кто знает, на что способен этот чертов пес?

В общем, было над чем задуматься.

До звезд просидел я в сарае, упрашивая, умоляя, ругаясь и грозя. Дело кончилось тем, что я в сердцах поддал ногой банку из-под консервов, плюнул и отправился спать.

— Захочешь жрать — сожрешь! — бросил я напоследок.

Ночью я дважды вставал и выходил посмотреть, но чуда не случилось — Сюмусю так и не притронулся к мясу.

Весь следующий день я просидел в сарае, питаюсь сухим пайком. При этом я громко чавкал, вслух расхваливал пищу, ронял на пол куски и вообще пускался на всякие ухищрения, лишь бы заставить Сюмусю есть. Наверное, со стороны это выглядело смешно, но мне в ту пору было не до забавы: я чувствовал, что подлый и лукавый пес проскальзывает у меня между пальцев, — не мог же я в самом деле уморить его голодом!

На пятые сутки я понял, что проиграл: Сюмусю держался на одном самолюбии. На чем свет стоит проклиная этого собачьего выродка, я открыл сарай и расстегнул цепь.

— Иди, — чуть не плача от злости, сказал я, — чтобы духу твоего здесь не было!

Сюмусю встал, отряхнулся и, пошатываясь, вышел на улицу, а я смотрел ему вслед и едва удержался, чтобы не запустить в него поленом.

После этого случая я старался по возможности скорее забыть Сюмусю — что толку напрасно беречь душу? — и несколько месяцев прожил жизнью плодотворной и уравновешенной. Как оказалось, то было затишье перед бурей. Вскоре мне опять довелось встретиться с Сюмусю, и, если бы не явная благосклонность к нему фортуны, встреча могла бы кончиться для него печально.

Вот как это произошло.

Зима на Северных Курилах долгая. Снега на сопках лежат еще и в июне, а в марте, когда неделями не бывает солнца, туго приходится всему живому на острове. По самые крыши заносит дома, и утром невозможно открыть дверь и выйти на улицу.

В марте-то и взбудоражился поселок. И было от чего: редкий день проходил, чтобы у кого-нибудь не про-

пали курица или утка, а то и целый поросенок. Пострадавшие в один голос заявляли, что разбоем занимаются две собаки, и одна из них та, которую я зимой несколько дней держал в сарае. Находились и такие, которые прямо заявляли, будто я нарочно привадила псов.

Я отнекивался как мог, но вскоре дело приняло серьезный оборот: в один прекрасный день Сюмусю напал на почтальона. Он сбил его с ног, и только сумка с письмами, которой тот прикрыл лицо, спасла его от клыков вконец изголодавшегося пса.

Когда мне рассказывали об этом, я сразу поверил. Уж кто-кто, а я знал Сюмусю! Вечно голодный, он по примеру своих диких сородичей готов был набить утробу чем угодно. Но он едва не сделался людоедом, а этого прощать было нельзя: никто не мог поручиться за то, что в следующий раз он не нападет на кого-нибудь другого. Пожалуй, подумал я, настало время расквитаться с четвероногим дьяволом в собачьей шкуре.

Но одно дело было принять решение, и совсем другое — выполнить его. Долго караулил я Сюмусю у его нового логова, но он, почуяв, видно, неладное, не являлся. Когда же через несколько дней я вновь столкнулся с Сюмусю, со мной, как назло, не было ружья.

Я возвращался с мыса Почтарева, куда ездил по делам. Поскольку дорога предстояла дальняя, почти через весь остров, я вышел рано. Снег был сухой, и лыжи скользили легко. Чтобы сократить расстояние, я пошел берегом. От моря пахло водорослями и йодом. Над самой водой шныряли мокрые суетливые бакланы, а вдали, за полосой прибоя, как поплавки, плясали на волнах усатые нерпы.

Был конец марта. Где-то уже цвели вишни и пели жаворонки, а здесь, на этом туманном и ветренном клочке земли, еще лежали снега. Дыхание весны чувствовалось лишь в ветрах, налетающих с востока. Они приносили с собой мокрые снегопады, превращавшие все вокруг в непролазную кашу. Горбы сопки бурели. Но через день-другой ударял ветер с северо-запада, и снова земля покрывалась снегом.

Занятый своими мыслями, я перестал глядеть по сторонам, а когда остановился, чтобы перевести дух, с удивлением заметил, что все переменялось: горизонт потемнел, море из зеленого стало серым. С неба протянулась к воде широкая черная полоса, словно там, наверху,

рассыпали огромный куль с сажей. Дохнул вдруг ветер. Схватив огромную горсть сухого колючего снега, он швырнул его прямо в лицо. И стих. Из-за сопок донесся лай собак, а с моря приглушенный рокот «рыбака». Потом море взметнуло барашки. Они быстро-быстро побежали к берегу. Послышались звуки щелкающего бича — это сшибались друг с другом волны. Шел снежный заряд.

Я знал, как велика опасность быть застигнутым пургой в пути, вдали от жилого, и заторопился изо всех сил. Пригнувшись, я пошел так, чтобы ветер все время бил мне в одну щеку. Но это оказалось непростым делом: ветер часто менял направление, и скоро его было не понять — казалось, что он дует со всех сторон. Исчезло чувство времени и пространства, и я понял, что, если заряд быстро не выдохнется, мне несдобровать. Ориентироваться я уже не мог и шел наугад. Это меня, как ни странно, и выручило. Неожиданно я почувствовал, что снег подо мной просел, и я полетел куда-то вниз. Я знал, что в этом районе могла быть всего одна впадина, куда я мог свалиться, — овраг. А коли так, то рядом должна была находиться каюрня, где каюры вялили летом рыбу для собак. Отыскать каюрню в белой крутящейся мгле было непросто, но мне все же посчастливилось сделать это. Дверь каюрни была полуотворена, и я предвкушал желанный отдых. Не тут-то было! Едва я переступил порог, из темноты каюрни раздалось предупреждающее рычание, и я различил, как навстречу мне с пола поднялся неведомый зверь. Я знал, что волков на острове нет, но все же, как пику, выставил перед собой лыжную палку с железным наконечником. Зверь не кидался, хотя все еще рычал. Когда через минуту глаза привыкли к темноте, я узнал его. Конечно же, это был Сюмусю!

Сюмусю был не один: позади него стояла небольшая совершенно белая собака. Это была подруга Сюмусю. Вот когда я пожалел, что со мной нет ружья. Я мог бы расправиться с супругами в одну минуту! Но порыв прошел, и я подумал, что вряд ли смог бы осуществить задуманное. Сюмусю стоял впереди подруги, загораживая ее своим телом. Он не сводил с меня глаз, и я знал: попытайся я хоть одним движением выдать свои намерения — он кинется на меня и будет рвать, добираясь до горла.

Мужество завораживает. В эти минуты я откровенно любовался псом, разом отпустив ему все грехи, зная, что никогда не нажму курок, чтобы продырявить эту, пусть даже преступную голову.

Я прислонил к стене лыжи и присел в углу.

— Ладно! — примиряюще сказал я псу. — Пользуйся моей добротой, бандюга!

Для пущей важности Сюмусю порычал еще немного и, оттеснив подругу подальше от меня, лег, по-прежнему не сводя с меня глаз.

Я часто слышал, будто собаки не выдерживают пристального человеческого взгляда. Как бы не так! Этот пес не боялся ничего на свете, и я скорее неловко чувствовал себя в его присутствии.

Так мы и смотрели друг на друга, ожидая, у кого первого сдадут нервы.

Наконец ветер стал ослабевать, потом стих совсем, и я вышел из каюрни. Сюмусю, как заботливый хозяин, проводил меня до самой двери и остановился на пороге, наблюдая, как я прилаживаю лыжи. Он хотел удостовериться, что я не обманываю его. И, оборачиваясь, я еще долго видел в дверном проеме неподвижный собачий силуэт.

На этом можно было и поставить точку, но я уже говорил, что Сюмусю был собакой необыкновенной. И он еще раз доказал это.

Как-то, уже в апреле, я сидел дома. Наступал вечер, окна посинели, но я не зажигал огня. Я никого не ждал и немного удивился, когда в коридоре раздались шаги. Кто-то остановился за дверью.

— Кто там? — окликнул я.

Ответа не было. Я встал и распахнул двери. В коридоре стоял Сюмусю. Увидев меня, он как-то непривычно засуетился и затрусил к выходу, все время оборачиваясь, словно бы приглашал за собой.

Причину такого странного поведения собаки я понял, едва лишь вышел на улицу: у дома стояла подруга Сюмусю — отяжелевшая, с сильно отвисшим, большим животом.

Сюмусю подбежал к ней и лизнул в морду, точно говоря: «Не беспокойся, все будет в порядке». Потом повернулся ко мне и... вильнул хвостом.

Я понял его. Не ради себя он поступился своей гордыней. Я открыл сарай и впустил туда псов.

Щенков я выкормил, но себе не оставил ни одного: своего знаменитого отца они напоминали разве что мастью.

Сюмусю прожил у меня все лето, а потом исчез так же внезапно, как и появился. Покинул ли он обжитые края или попал под выстрел менее щепетильного охотника — не знаю. Правда, долетали слухи, будто на соседнем острове в одной из упряжек ходит какой-то Сюмусю, но я не думаю, чтобы это был он.



ОБИДА

Беркут умирал.

Уже не в силах подобрать и сложить крылья, он неподвижно сидел в углу клетки, вобрав в плечи облысевшую и оттого ставшую безобразной голову, закрыв глаза, всем своим видом напоминая медноперую мифическую гарпию.

Зейнулла на цыпочках подходил к загородке и садился перед орлом на корточки. Тихонько звал:

— Кый-ту...

Беркут на мгновение приподнимал веки и смотрел на хозяина. Но это были уже не те глаза и не тот, полный царственного величия взгляд, которым когда-то орел мог не мигая смотреть на солнце, — это были глаза старика, прожившего долгую и трудную жизнь.

— Кый-ту! — повторял Зейнулла и, поджав под себя ноги, садился рядом с клетью на кошму. Прикрыв единственный глаз, размеренно покачиваясь назад и вперед, Зейнулла и сам в эти минуты был похож на старую большую птицу.

Они были под стать друг другу: человек и орел, оба старые, умудренные, натерпевшиеся от жизни и один от другого. И вот один из них умирал, а другой был не в силах помочь ему, ибо старость неизлечима, а даже Зейнулла не знал, сколько прожил на свете его крылатый побратим. Вместе ж они прожили двенадцать долгих лет.

В ту далекую весну, когда небу было угодно связать их единой цепью, у Зейнуллы вот так же умер его ловчий беркут. А беркучи без беркута — все равно что мулла без корана, и Зейнулла, схоронив птицу, принялся плести из конского волоса сетку. Он сплел двойную прочную сетку и однажды утром оседлал лошадь и, захватив с собой ягненка, отправился в горы. Там он привязал ягненка, закрепил кольями сетку и спрятался среди камней. Ягненок щипал траву, а Зейнулла сидел в укрытии и думал, что хорошо бы поймать молодого беркута — такой и проживет дольше и быстрее привяжется к хозяину.

Но, видно, день выдался тогда несчастливый, потому что беркут так и не прилетел, и Зейнулла снял сетку, отвязал ягненка и поехал домой. И потом еще три дня ездил в горы и просиживал там до ночи, но каждый раз ему приходилось возвращаться домой с пустыми руками. Но Зейнулла не был бы беркучи, если б не обладал терпением. Каждый раз, привязав ягненка и расставив сетку, он скрывался за камнями и, как заклинание, твердил про себя: «Пусть сегодня прилетит беркут, пусть это будет молодой беркут...» И смотрел в небо. Но в нем не появлялось ни одной точки, и Зейнулла уезжал, чтобы утром вернуться на старое место.

На пятый день аллах внял его молитвам.

Солнце уже стояло высоко, когда Зейнулла увидел орла. По широкой спирали птица спускалась к земле, потом сложила крылья и, выставив перед собой крючья лап, бросилась вниз. С быстротой молнии мелькнула по земле черная тень. Жалобно заблеял почувавший смерть ягненок, и в тот же момент беркут обрушился на него и забился в сетке, сотрясая удерживавшие ее кольца.

Зейнулла выбрался из укрытия и поспешил к ловушке, на бегу разворачивая кошму.

Увидев человека, орел раскрыл клюв и угрожающе зашипел, защелкал. Потом рванулся, но сетка крепко держала его. Круглые желтые глаза орла горели холодным бешенством, а огромные черные когти в исступлении терзали безжизненное тело ягненка.

Это был старый беркут, весь золотисто-бурый, с полосатыми метровыми крыльями, но Зейнулла уже забыл, что хотел заполучить молодого, и радовался как ребенок.

Теперь нужно было связать орла и погрузить птицу на лошадь. Сделать это оказалось непросто, потому что сетка все-таки неплотно накрыла беркута, оставив свободным одно крыло. Едва Зейнулла приблизился к птице, как она, словно палкой, ударила его по рукам этим свободным крылом и выбила кошму. Стараясь держаться подальше от крыла, а главное, от страшных лап и клюва, Зейнулла повторил попытку. Ему почти удалось накрыть беркута кошмой, но в последний момент он сам запутался ногой в ячейх сетки и упал. Совсем близко от своего лица Зейнулла увидел синевато-серый, с черным концом клюв беркута. Охотник успел закрыть лицо руками, и удар пришелся в них. Клюв, как ножницы, распорол одежду. Руке стало тепло от крови.

Зейнулла отчаянно рванулся. Ячейя с треском лопнула, и охотник быстро откатился от орла на безопасное расстояние.

Рана была пустяковой: клюв разодрал кожу, не задев ни кости, ни сухожилий. Зейнулла замотал руку цветным кушаком и палкой подтянул к себе кошму. Со следующей попытки ему удалось накинуть кошму на беркута. Навалившись на него всем телом, Зейнулла наконец-то связал его.

Первые дни Зейнулла не давал беркуту ни есть, ни пить, ни спать. Это нужно было для того, чтобы смирить орла, заставить его признать хозяина и в конце концов брать у него пищу из рук. Так было всегда — Зейнулла в совершенстве постиг древнее ремесло беркучи. Много птиц прошло через его руки, и всех он сумел приручить и заставил их служить человеку.

Сутки напролет просиживал Зейнулла у клетки своего пленника, следя за тем, чтобы тот ни на минуту не смыкал глаз. Когда же охотник чувствовал, что вот-вот сам не выдержит и уснет, он обливал беркута водой, и, пока тот отряхивался и чистил перья, Зейнулла ненадолго засыпал прямо перед клетью.

Старик знал, что без пищи орлы могут обходиться долго. А вот пить и спать они должны каждый день, и верил, что скоро беркут уже не будет шипеть и щелкать, завидя хозяина у клетки. Однако проходил день за днем, а беркут и не думал смиряться. Забившись в угол, он устрашающе вращал глазами и бросался на Зейнулла при каждой его попытке приблизиться к клетке.

«Это старый беркут, — думал Зейнулла. — Это хитрый беркут, но я все равно перехитрю его».

И он ждал, терпеливо снося все орлиные выходки.

Наконец беркут вроде бы сдался: когда на седьмой или восьмой день Зейнулла сунул ему в клетку блюдо с водой, орел не бросился, как раньше, на человека, а стал пить. Пил он долго, как лошадь, и все это время Зейнулла тихо и ласково разговаривал с ним и ворошил прутиком орлиные крылья.

«Это старый и хитрый беркут, но я перехитрил его», — радовался старик.

Теперь надо было попробовать накормить орла.

Зейнулла принес нарезанное ломтями сырое мясо и кинул кусок беркуту. Неуклюже переваливаясь, орел подбежал к мясу и в мгновение ока проглотил его. Зейнулла кинул еще кусок, а третий протянул в руке — беркут должен брать пищу из рук хозяина. Так было всегда. Но в этот раз Зейнулла просчитался: только-только он протянул руку, орел кинулся — и запястья Зейнуллы, как наручники, стиснули огромные твердые когти птицы. Зейнулла изо всех сил рванулся назад и, раздирая в кровь кожу, высвободил руку.

— У-у, шайтан! — в гневе выругался Зейнулла и, не сдержавшись, хлестнул беркута камчой, всегда висевшей у пояса.

Он тут же раскаялся в содеянном, потому что, если хочешь стать беркучи, закрой свое сердце от всех слабостей; но дело было сделано.

Страшно сверкнули орлиные глаза, и Зейнулла понял: никогда не простит ему беркут обиды.

Вопреки опасениям удар камчой будто пришелся беркуту по вкусу: он присмирел, и через несколько дней Зейнулла уже кормил его из рук, а орел проявлял явные признаки оживления, заведя или заслышав хозяина.

Дивился Зейнулла: ни разу не случилось такого на его веку, и он не знал, что подумать. Чувствовал: коварствует орел, ждет подходящего случая, и стал вдвойне осторожен и ласков с птицей. Однако орел ничем не выдавал своих намерений, и Зейнулла, успокоившись, стал готовить питомца к предназначенным свершениям.

Для начала он стал приучать орла терпимо относиться к колпачку того, которым ловчим беркутам до поры до времени прикрывают на охоте глаза. Нельзя ска-

зять, чтобы орел с удовольствием воспринял нововведение, но в то же время не стал устраивать и сцен. С другими было похуже, другие ни за что не соглашались надевать колпачок, и требовалось немало времени, чтобы приучить их к этому.

Такая покладистость орла опять насторожила Зейнулла, разбудила дремлющие в душе сомнения, и он еще раз дал себе слово, что будет следить за каждым движением коварной птицы.

Так же терпимо орел перенес и следующий этап обучения, когда Зейнулла, посадив беркута на руку, обтянутую кожаной рукавицей, приучал птицу с закрытыми колпачком глазами сохранять равновесие. Затем настала очередь испробовать орла на чучелах. Зейнулла долго тренировал его, и беркут ни разу не дал усомниться в своих способностях или нежелании продлить обучение: он послушно следовал сигналу, бросался на чучела лисиц и волков и держал их, испуская победный клекот, словно терзал не старые, набитые соломой шкуры, а живую плоть.

И наконец настал тот день, когда Зейнулла с беркутом выехали на настоящую охоту.

Нахохлившись, беркут уже привычно сидел на руке, покачиваясь в такт движению лошади. Собаки подвывали от нетерпения, и Зейнулла пустил их. Перегоняя друг друга, они рассыпались по сторонам и скоро подняли лису.

Пора! Отстегнув цепочку, удерживающую беркута, Зейнулла сорвал с его глаз колпачок. Не единожды приходилось старому охотнику совершать это своего рода посвящение в сан, и всякий раз он волновался за себя и за своего выученика.

— Айт! — скомандовал Зейнулла.

Словно только и дожидаясь желанного мига, беркут круто набрал высоту и, заметив лису, пустился в погоню. На бреющем полете он догнал мелькавшее в траве красное тело и кинулся на него. Когда Зейнулла подошел к месту схватки, орел уже прикончил лису и смотрел на хозяина победным, сверкающим взором, сдерживая рвущийся из груди клекот.

Зейнулла достал из торбы заранее припасенный кусок мяса и, сунув его орлу, отобрал у него добычу. Потом снова надел на беркута колпачок и водрузил птицу на руку. И еще двух лис взяли они в этот день,



и беркут вел себя так послушно, что окончательно рассеял возродившиеся было у Зейнуллы подозрения.

«Это очень хитрый беркут, но я перехитрил его», — думал старый беркучи.

Недолго довелось ему тешиться этой мыслью: на следующей же охоте беркут жестоко отомстил за нанесенную когда-то обиду.

Тот день начался как всегда: с утра Зейнулла напоил беркута, но есть вдоволь не дал — с набитым зобом орлы неохотно идут на дичь. Оседлав лошадь, Зейнулла усадил беркута на рукавицу, кликнул собак, и они выехали.

Лето было в разгаре, и степь уже не радовала глаз свежестью зелени. Лишь кривые саксаулы привычно чувствовали себя на покрытой трещинами земле да свистели неунывающие суслики. Призрачные марева дрожали вдали и пропадали при приближении, а на горизонте холодели белесые горы.

Уже вблизи их собаки подняли волка. Видно, только что насытившийся зверь уходил тяжелым махом, и Зейнулла понимал, что, если дать ему возможность добраться до гор, ищи тогда ветра в поле, уйдет серый.

— Айт! — крикнул охотник и сорвал колпачок с глаз беркута.

Какое-то мгновение, точно ослепленный знойным степным солнцем, орел сидел на руке, потом свечой взмыл в небо и камнем пал оттуда на человека...

Правый глаз у Зейнуллы вытек, а на лице навсегда остались глубокие неровные борозды от орлиных когтей. Охотиться Зейнулла перестал: где уж было с одним глазом ловить и приручать нового беркута? А старого больше не было в клети — отомстив, он улетел и, быть может, паря в вышине, не раз видел своими дальноркими глазами одинокого старца, сидевшего на пороге знакомого дома.

Но постепенно шоковое состояние прошло, и Зейнулла стал как бы заново приобщаться к любимому ремеслу. Правда, без орла оно приносило лишь половину моральных и материальных выгод, но это было все же лучше, чем ничего. Зейнулла стал ловить волков и лис капканами,

Часто, расставляя или, наоборот, проверяя капканы, он видел высоко в небе черные точки высматривающих добычу орлов. Иногда какой-нибудь из них, а то и сразу два складывали крылья и бросались в пике, и там, на земле, завершался последний акт извечной трагедии. Забыв о капканах, Зейнулла подолгу следил из-под руки за орлами, и часто ему казалось, что он отличает одного из них.

Минула зима. Отцвели весенние маки и тюльпаны. Опять растрескалась обожженная солнцем земля. Мир совершал привычный оборот, и Зейнулла, отправившийся однажды осматривать капканы, не подозревал, что этот мир готовит ему очередное тяжкое испытание.

Накануне старик плохо спал — болели старые раны. Разморившись от жары, он бросил поводья и, как в зыбке, покачиваясь в седле, дремал. Что испугало лошадь — мелькнувшая ли в траве тень, змея ли под копытом, — об этом Зейнулла так и не узнал, но внезапно лошадь захрапела, вскинула задом и понесла. Зейнулла, как камень из пращи, вылетел из седла, ударился о землю и угасающим сознанием еще успел уловить бешеный цокот удаляющейся наметом лошади.

Когда он пришел в себя, солнце по-прежнему стояло высоко в небе. В голове звенело, и Зейнулла никак не мог понять, что это — звон ли полуденных цикад или пересвист сусликов. Он приподнялся и посмотрел по сторонам. Лошади нигде не было, наверное, она ускакала домой. Зейнулла попробовал встать, но охнул и повалился на землю: одна нога, как видно, была сломана. Он хотел было снять сапог и тем самым облегчить боль, но нога сильно распухла, и сапог сидел на ней как на сапожной колодке. Зейнулла достал нож, разрезал сапог и осмотрел ногу. Она посинела, у щиколотки Зейнулла нащупал место перелома — шишковатый твердый выступ.

Идти Зейнулла не мог. Он попытался передвигаться ползком, но скоро выдохся. К тому же в траве была масса колючек, и руки начали кровоточить. Солнце палило вовсю, и Зейнулла начала мучить жажда. Чтобы как-то заглушить ее, он жевал траву, но сок был горьким и еще сильнее вязал во рту. Временами сознание мутилось, и Зейнулла впадал в забытие, а очнувшись, опять видел перед собой раскаленный солнечный шар. Наконец, словно смилостивившись, солнце медленно

покатилось за горизонт. Душная ночь опустилась над степью.

Вконец обессиленный, Зейнулла затаих, затаился в траве. Но покой оказался обманчивым: где-то невдалеке тьякнул шакал, ему отозвался второй, и постепенно степь наполнилась тьяканьем и завыванием. Зейнулла услышал, как шуршит окружающая его со всех сторон трава, различил стелющиеся к земле, суетливые тени. Шакалы смыкали круг. Эти трусливые хищники, промышлявшие в основном между чужими столами, и сейчас оставались верны себе, надеясь поживиться легкой добычей. Зверей собралось много, и именно многочисленность делала их храбрыми и поддерживала воинственный пыл.

Зейнулла знал, что если звери накинутся на него скопом, то ему не отбиться от них — много ли убьешь ножом? К счастью, он вспомнил о спичках и принялся за дело. Нарвав вокруг себя жухлой травы и колючек, он с превеликим трудом поджег кучу. Она долго не занималась, чадила, но в конце концов старику удалось развести некое подобие костра. Слабые дрожащие язычки едва светили под носом, но даже этого оказалось достаточно, чтобы держать на почтительном расстоянии уже порядком обнаглевших шакалов.

Опасность пришла с той стороны, откуда Зейнулла не ждал ее: его неудержимо клонило в сон, а огонь требовал неотрывного наблюдения. Чтобы обезопасить себя с этой стороны, Зейнулла прибег к жестокому, но необходимому сейчас способу избавиться от сонливости: он рукояткой воткнул нож в землю, и каждый раз, чуть только Зейнулла начинал клевать носом, острие ножа больно кололо его в подбородок. Зейнулла приходил в себя и подбрасывал в костер.

Утром шакалы ушли, растворились в рассветной дымке, но к полудню вернулись снова, и Зейнулла видел мелькавшие тут и там остроухие злые морды животных. Опять началась пытка солнцем и жаждой, а шакалы, не видя перед собой пугающего их ночью огня, осмелели вконец и перебежали с места на место чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. Зейнулла сжал нож.

Внезапно послышался свистящий звук рассекаемого воздуха; шакалы бросились врассыпную, но их настиг

тяжелый, отливающий медью ком и ударил в самую середину бегущих. Отчаянный предсмертный визг одного из шакалов слился с торжествующим хриплым клекотом: вцепившись одной лапой в глаза, а другой в спину шакала, орел крутил и ломал его, нахлестывая с боков гигантскими крыльями.

Что-то блеснуло под солнцем на лапе орла. Зейнулла напряг глаза и увидел, что птица окольцована: лапу беркута, как серебристая змея, обвивала тонкая самодельная цепочка.

Зейнулла так разволновался, что забыл обо всем на свете. Не обращая внимания на боль в ноге, он привстал и позвал спекшимися, растрескавшимися губами:

— Кый-ту!..

Шепот долетел до орла. Он вздрогнул и посмотрел по сторонам, пытаясь увидеть того, кто его звал.

— Кый-ту!.. — повторил Зейнулла.

Орел неловко прыгнул с тела шакала и, волоча по земле крылья, вперевалку пошел на зов. Иногда трава скрывала от глаз орла человека, и тогда он останавливался и вытягивал шею, будто становился на цыпочки.

Зейнулла не знал, что сулит ему эта неожиданная встреча, и на всякий случай приготовился к худшему. Трава, раздвигаемая орлом, шуршала все слышней, и наконец беркут появился из нее — огромный и страшный, как доисторический птеродактиль. Взгляды человека и птицы встретились, и человек не прочел в глазах орла ни хорошего, ни плохого. Они горели ровным желтым огнем, и Зейнулле показалось, что беркут не видит его.

— Кый-ту!.. — в третий раз позвал он.

Будто припоминая что-то, беркут склонил голову набок и уже с интересом уставился на Зейнулла. И вдруг распустил крылья, широко расставил клюв и смешно затоптался перед охотником — совсем как в старые времена, когда, бывало, требовал мяса.

«Это очень умный беркут, — думал Зейнулла, размазывая текшие по щекам слезы. — А я старый, никуда не годный ишак...»

Собрав все силы, Зейнулла пополз к тому месту, где лежал уже околелый шакал, и беркут следовал за ним, по-прежнему раскрывая клюв и показывая красный остроконечный язык.

Зейнулла ободрал шакала и накормил беркута. Сам он попользоваться ничем не мог, потому что от мяса несло таким смрадом, что старику едва не сделалось дурно. Насытившийся беркут долго чистил и расправлял перья, а потом сорвался и полетел к горам. Зейнулла проводил его тоскливым взглядом, а потом впал в полуобморок-полусон.

На этот раз он очнулся уже ночью. Первой его мыслью была мысль о шакалах. Если они появятся снова, он ничего не может противопоставить им: у него уже нет сил.

Шакалы явиться не замедлили. Теперь их привлекал еще и запах мертвого собрата, и они, постепенно наглея, как и в прошлую ночь, смыкали круг. Но едва первые из них приблизились к останкам, в темноте туго ударили крылья, и из травы навстречу шакалам выпрыгнула сгорбленная мрачная фигура беркута. Не ожидавшие отпора шакалы пустились наутек, а беркут, как соловей-разбойник, посвистав и пощелкав им для острастки вслед, завернулся, как в бурку, в крылья и застыл. Теперь Зейнулла мог быть спокоен: пока этот крылатый страж находится на посту, ему не страшны были никакие шакалы. Уже не думая ни о чем, старик натянул на голову чапан и уснул как убитый.

Если бы он мог что-нибудь чувствовать в это время, он бы увидел, как опять вернулись шакалы и как опять ринулся им навстречу недремлющий беркут. И всю ночь в степи раздавались тугие удары крыльев, яростное орлиное щелканье и бессильный визг шакалов. Потом до сознания старика донеслись лай собак, лошадиный топот, людские голоса. Его подняли и понесли, и, когда временами он открывал глаза, видел в небе планирующую в потоках воздуха птицу, и перья птицы в лучах солнца червонели и переливались золотом...

С того дня беркут и человек стали неразлучны. Они не вспоминали старых обид, ибо те были искуплены дорогой ценой, и помнили добро, ибо в их жизни его было не так уж много. Каждый из них занимался своим делом, не мешая друг другу: беркут с утра улетап, а старик плел сетки и чинил капканы. Вечером, когда прилетал орел, они садились у порога и подолгу смотрели на горы, потому что для одного из них они были родиной, а другой отдал им лучшие годы своей жизни. Кто знает, что заставило орла покинуть недоступные снежные пики

и возвратиться к дымному человеческому очагу — подступавшая ли старость, гонение ли ближних или какие другие, непонятные ему самому причины?..

И вот теперь беркут умирал.

Много смертей видел на своем веку Зейнулла и сам без трепета ждал уготованного всему живому срока, но сейчас был глубоко опечален. Умирал его единственный близкий, и Зейнулла ничем не мог помочь ему, ибо старость неизлечима.

Ночью старика кольнуло в сердце.

Он встал, засветил огонь, подошел к клетки.

Беркут лежал, распластав огромные крылья.

— Кый-ту, — с надеждой позвал Зейнулла.

Орел не отозвался. Зейнулла вошел в клетку и потрогал тело птицы. Тепло уже выходило из него. Зейнулла с трудом вытащил беркута из клетки, завернул его в кошму и пошел седлать лошадь.

Он повез мертвого друга в горы, чтобы там похоронить его.

В темноте Зейнулла вырыл могилу и осторожно опустил в нее тело беркута. Потом он зарыл яму, заровнял и закидал сверху камнями.

Так когда-то хоронили самых близких родственников его далекие пращуры.

ОБЫКНОВЕННЫЕ ШТОРМЫ НЕОБЫКНОВЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Борис Воробьев родился в 1932 году в Калининской области. Это значит — все, что он напишет впоследствии о войне, не мемуары, не личный опыт. А география его повествований не родные места, а места его работы и службы.

...А как, собственно, произошел выбор — нет, не просто профессии, потому что для писателя его дело больше чем профессия, это главная линия жизни, — у автора этой книги? Почему он так четко обозначил свое творчество вехами «приключенчества», так безоговорочно вышел на эту дорогу — на тропу странствий, штормов, крутых поворотов?

Ну, во-первых, таким человеком, конечно же, надо родиться. Есть среди нас особенные люди, которые не сами ищут приключений, а приключения ищут их. Мы можем ходить вслед за ними по той же тропе, и она будет безликой и обыденной, а для них станет путем неожиданностей и открытий.

Во-вторых, необозримые просторы нашей Родины. Они ли не располагают к странствиям, к дальним путям, они ли не самая благодарная почва для приложения сил, для работы и встреч с будничными, но героическими людьми?

И в-третьих, — литературный дар романтического склада, подкрепленный широким образованием и специальными знаниями.

...Много? Но вот совпало — именно у Бориса Воробьева, написавшего все эти рассказы и повести и продолжающего работать в том же ключе, на тех же дальних тропах и высоких точках.

У него не было войны, но была служба в армии, в суровых местах, и острова в хмурой северной области Тихого океана стали для него жизненной школой.

Но ведь не всякую школу поминаешь добром, не во всякую приятно вернуться хотя бы в воспоминаниях!.. Более того, не любая школа даст пищу воображению, историческим реминисценциям. А вот получилось так, что суровая земля, которая пережила на своем веку много жестокого, кровопролитного, была плацдармом военных схваток, решающих боев, — она и увиделась будущему писателю неожиданными красками настоящего и романтическим ореолом прошлого.

Были большие стройки в разных местах страны. Потом был исторический факультет МГУ. Была неожиданная для него самого работа на турбазе в родной Калининской области — поездки с туристами, связанные не просто с «осмотром памятников» и «просматриванием пейзажей», а с трудными маршрутами и медленным вживанием городского человека в неповторимые верхневолжские места, где сохранилось еще так много неизведанных троп.

Вот тогда, может быть, Борис Воробьев и захотел рассказать людям о том, что успел узнать и понять сам. Может быть, в первых «своих» «туристах» увидел отчасти и учеников, которым захотелось раскрыть какие-то тайны природы, приобщить к любимому им самим, может быть, он видел в них и своих будущих читателей. Этот путь кажется мне таким понятным для писателя-«приключенца».

...Можно создать целый феерический мир приключений, не покидая кабинета, такие приключения особенно экзотичны и романтизированы. Можно просто вести путевые заметки, и это интересно и поучительно, заметки такого рода внесли золотой вклад в приключенческую литературу. Выбор Бориса Воробьева пал на те часы в жизни человека, которые отмечены баллом «десять» по шкале Бофорта — штормом, атакой, безвыходным окружением, смертельным заданием — испытанием на разрыв, концентрированием всех человеческих сил — и всегда победой добра. Победа — одно из главных правил жанра приключений.

Но, показывая эти часы «пик», Воробьев делает и другое дело: он строит мир «смелых и больших людей» как мир будничной, повседневной, обязанный быть в постоянной готовности не ради славы, но ради службы, не в честь романтики, но просто потому, что еще есть на земле такие места, где XX век может внезапно кончиться, технические достижения покажутся жалкими игрушками взрослых детей, а в действие должны незамедлительно вступить сильное тело, светлая голова, мужественное сердце.

Те, кто уже испытал в жизни этот страшный миг — груды искореженного металла вместо самолета, или заглухший мотор машины посреди ледяной пустыни, или внезапно прервавшаяся радиосвязь, потеря карты, компаса... — те поймут слова «кончился XX век». Именно тогда мы впервые задумываемся: а были ли мы достойны всех этих технических достижений или они были подарены каким-то мудрецом слабым людям, не надеющимся на собственные силы? Именно тогда мы начинаем ощущать Природу, медлительную, вечную и вездесущую, следящую за нами тысячью глаз — глазами собак, орлов, деревьев... И древнее умение человека дружить с природой и глядеть в ее глаза как равный равному, как сильный сильному рождается в этот час.

Благодарность автору за то, что он так выразительно, так ярко дает нам возможность (одними лишь средствами литературы!..) пережить эти часы вместе с его героями, тоже одно из главных условий приключенческой литературы.

Но благодарность может быть разная, и сопереживание тоже: просто читательское — любопытствующее, иной раз снисходительное, вызывающее умиление и удовлетворение оттого, что вы-то, читатель, находитесь в полной безопасности! Но может быть сопереживание и другого рода, которое вызывает мастерство Воробьева: «хочу так», «могу ли я так?»

...У нас есть сомнительная привычка употреблять вместо многих понятий жаргонные словечки типа «хобби», «супермен»... Уже сложился даже штамп, что героями приключенческой литературы должны быть супермены (и как дань эмансипации — суперменши). Но героев Воробьева мне не хотелось бы обижать этим названием.

Да и какое это суперменство, когда смешноватый, даже в чем-то нелепый старик занудливо ворчит целыми днями об обязанностях доставщика почты, а однажды вдруг прыгает в ледяную воду за газетами — ну не чудак ли?..

И разве назовешь словом «мен» (то бишь человек) других героев повествований Воробьева, например, благородного Ытхана, ведь это собака. Животные живут на страницах произведений Воробьева так же полно, ярко, даже духовно, как и люди. Они у Воробьева все личности. Они независимы, неподобострастны, они работают для человека, говоря языком города, не просто «за зарплату», а по извечной необходимости службы и взаимосвязанности.

Именно на эту точку зрения Воробьев сразу же, с первых страниц любого рассказа, ставит своего читателя — и не волонтарно, надуманно, — а просто достоверностью деталей, знанием натуры. Достоверность и глубокое знание — еще одно условие приключений XX века. Современный читатель уж не позарится на «развесистую клюкву» ради занимательности. Он знает слишком много, он и повидал многое благодаря телевидению и кино, если не лично. В современной приключенческой книжке обязана быть какая-нибудь «отраслевая» информация. Иначе ее не станут читать.

И, безусловно, современный автор, конечно же, должен учитывать фактор «телезрительства» и, отстаивая литературность жанра, работать на таких высотах, которые пока доступны только литературе. Вот почему мы так строги к форме, к пластике изображительных средств, к стилю, языку, к отбору образов, деталей. Строгость и лапидарность повествований Воробьева не могут остаться незамеченными.

Нет у него любовных коллизий, женщины у него на ролях ста-

тисток — ему, собственно, интересны в жизни те ситуации, где их не должно и быть.

Эти как бы заданные самому себе четкие, но отнюдь не назойливые рамки создают оригинальность стиля Бориса Воробьева. Это сделало необходимым найти единственно верный язык — скупой, очень «мужской», форму повестей. Безупречной в этом смысле кажется мне повесть «Прибой у Котомари». Нет нужды пересказывать ее для того, кто только что ее прочел и находится под ее впечатлением. С первых же фраз автору удалось подняться — и поднять читателя — на подлинную высоту, высоту подвига, самоотречения, мужской солидарности, и сделано это исключительно средствами лаконичной прозы, которая кажется сродни сумрачной поэзии эпических повествований, северным сагам, легендам о богатырях и сверхчеловеческих их деяниях.

Именно в этой повести есть неприметное, казалось бы, место, которое является самым характерным для его героев, — это когда Баландин хочет сменить на вахте рулевого — тот устал от изматывающего перехода к месту назначения. «Спасибо, старлей. Только я штурвал, как и жену, в чужие руки не отдаю. Не обижайся». Это и есть пример самой что ни на есть личной ответственности за свое место, свой участок. Ведь мы привыкли, что в большом городе, среди городской человеческой популяции не бывает так уж незаменимых людей — так нас много, так мы похожи, и так одинаковы наши функции... Фразами нашими о дружбе и взаимовыручке не прикрываем ли мы подчас нежелание иметь эту самую только свою личную ответственность?..

Первые книжки Воробьева выходили под обложкой «Честь. Отвага. Мужество». Такое право надо заслужить — не только заслугами своих героев, но и личными делами, работой, характером, наконец.

Должно быть, именно характер автора и позволил ему быть таким естественным в описании трудностей, таким достоверным в выведении на сцену природы, таким провидящим в трагическом финале «Прибоя у Котомари».

А для юного читателя, который составляет основной адрес библиотеки приключений, такое тождество или сходство автора с его героями тоже условие. Воспитывающее, возвышающее, необходимое.

3. ИБРАГИМОВА

СОДЕРЖАНИЕ

Повести

ПРИБОЙ У КОТОМАРИ	3
ЛЕГЕНДА О ГОНЧИХ ПСАХ	99

Рассказы

ОДИН ДЕНЬ ИЮЛЯ	218
НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ	236
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ	248
СЮМУСЮ, ДИКИЙ ПЕС	259
ОБИДА	270
ОБЫКНОВЕННЫЕ ШТОРМЫ НЕОБЫКНОВЕН- НЫХ ЛЮДЕЙ. З. Ибрагимова	282

Воробьев Б. Т.

В75 Десять баллов по Бофорту: Повести и рассказы.
/Послесл. З. Ибрагимовой. — М.: Мол. гвардия,
1979. — 286 с., ил. — (Стрела).

1 р. 10 к. 100 000 экз.

В книгу вошли повести и рассказы о войне и о людях наших дней, работающих в трудных условиях Севера и Дальнего Востока.

В $\frac{70302-209}{078(02)-79}$ 246—79. 4700000000

**ББК 84Р7
Р2**

ИБ № 1936

Борис Тимофеевич Воробьев

ДЕСЯТЬ БАЛЛОВ ПО БОФОРТУ

Редактор **А. Лобанова**

Художник **В. Арсеньев**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **З. Ходос**

Корректор **З. Харитонова**

Сдано в набор 26.02.79. Подписано в печать 18.07.79. А00179.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 15.12. Учетно-изд. л. 15,7. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 10 к. Заказ 2392.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

1 р. 10 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ